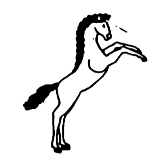
Н. П. Кондаков

ВОСПОМИНАНИЯ И ДУМЫ

Издательство «Индрик»

DEUS
CONSERVAT
OMNIA



Н. П. Кондаков

ВОСПОМИНАНИЯ И ДУМЫ

Составление,
подготовка текста и примечания
И. Л. Кызласовой

Москва 2002

ББК 85
УДК 82-94
К 642

На фронтисписе портрет Н. П. Кондакова работы Г. А. Ладыженского. Одесса. 1884 г. Картон, гуашь. ИРЛИ РАН. Литературный музей

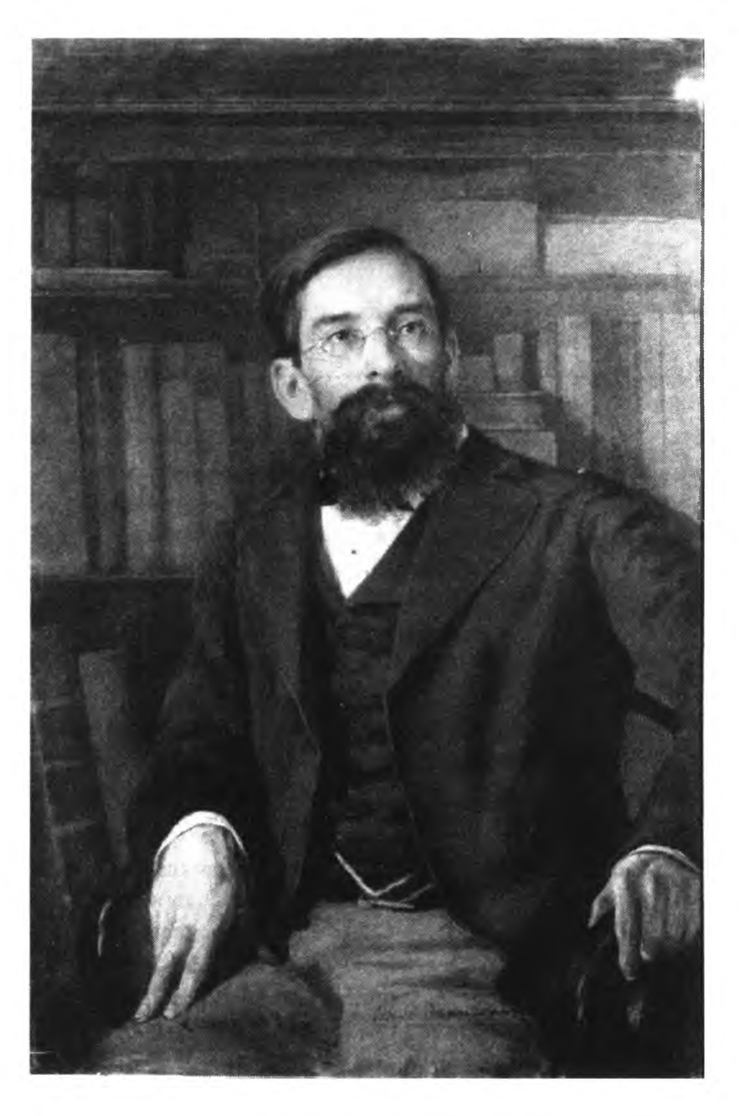
Кондаков Н. П.

Воспоминания и думы / Сост. И. Л. Кызласовой. М.: «Индрик», 2002. — 416 с.

Книга посвящена памяти великого русского ученого, академика Никодима Павловича Кондакова (1844–1925), одного из создателей науки об искусстве Византии и стран византийского мира. Впервые издаются на родине воспоминания ученого, написанные в Одессе весной 1919 г. незадолго до его отъезда в эмиграцию. Мемуары пополнены фрагментами, исключенными при подготовке пражского издания 1927 г., и небольшим текстом о В. С. Соловьеве.

В приложение включен сборник статей, изданный в Праге к восьмидесятилетию Н. П. Кондакова, и отдельные важнейшие работы, содержащие как воспоминания об исследователе, так и обобщающие оценки его научного творчества. Эти интереснейшие статьи давно стали библиографической редкостью. Их авторами были известные российские исследователи (жившие как на родине, так и в зарубежье) и европейские ученые.

ISBN 8-85759-163-5



Оглавление

И. Л. Кызласова

От составителя

Неоконченные мемуары Н. П. Кондакова (1844–1925) почти неизвестны российскому читателю. Они были изданы в Праге в 1927 г. [1] очень ограниченным тиражом и на родину автора дошли только считанные экземпляры, которые давно стали библиографической редкостью.

Воспоминания доведены лишь до конца 1880-х годов, и к основному тексту добавлено несколько страниц с двумя отдельными очерками, относящимися к 1897–1912 (1915) годам. Несмотря на это хронологическое ограничение, воспоминания могут быть смело отнесены к числу весьма примечательных образцов мемуарной литературы, созданной выдающимися представителями разночинной интеллигенции, начавшей свой жизненный путь в шестидесятых годах. «Воспоминания и думы» много говорят о своем авторе — без них нельзя понять становления и развития его личности, характера, основных особенностей миросозерцания, наконец, его редкостной «страсти к науке».

---

1 *Кондаков Н. П.* Воспоминания и думы. Прага, 1927 (Приложение к ССАВСК. Т. I). Издание украшала одна таблица с четырьмя фотографиями ученого.

Создатель воспоминаний обладал феноменальной памятью. Он прямо указал важнейшие внутренние установки, легшие в основу текста: «полную искренность» и «всю доступную точность». Отметим и особенность, характерную для менталитета его поколения, — среди возможных читателей он предполагает психологов или физиологов: именно для «объективного» анализа и написаны данные воспоминания.

Описания жизни мемуариста в Москве, а затем в Одессе достаточно подробны, но все же читателя не оставляет впечатление, что многие важные события из жизни Кондакова в этот период остались за пределами текста. Автор следовал традиции выборочного описания «нравов эпохи» на примере семьи и близких знакомых. Обращает на себя внимание отсутствие даже кратких эстетических оценок произведений искусства как в России, так и осмотренных во время поездок в Европу. Это сближает «Воспоминания и думы» с письмами ученого тех лет, например, к жене (А ИИИ АН ЧР. KI).

Стиль изложения воспоминаний прост и выразителен. Он сохраняет черты устного рассказа. Автор обладал несомненным литературным талантом, он получил первоклассное филологическое образование, сам в молодости преподавал русский язык и словесность, а в зрелые годы состоял ординарным академиком по отделению русского языка и словесности в Академии наук. Ученый рецензировал иногда произведения художественной литературы,

ему не были чужды и занятия литературным переводом и собственное литературное творчество. Он переводил сочинения Флобера, написал не дошедший до нас рассказ «Сон археолога». Мир представал перед ним в претворенных искусством образах. Вот как описан, например, в его воспоминаниях знаменитый профессор Ф. И. Буслаев, учитель автора: «это был красивый мужчина, высокого роста, с могущественной головой, тонкого духовного типа, напоминающего весьма близко традиционную голову апостола Павла, со взлысым лбом, крючковатым слегка носом, большими и отрытыми глазами и выразительным очерком губ».

Едва ли не во всех работах ученого встречаются слова или строки, несущие огромный образный заряд, они освещали текст, составляя с ним органичную ткань повествования. Если в научных трудах изложение Кондакова нередко обретало черты поэтичности, то, разумеется, это свойство души не могло не найти отражения в мемуарах. В то же время подчеркнуто критическое и явно пессимистическое отношение к действительности, не покидавшее ученого в течение всей его жизни, предельно обострилось в последние годы, особенно, начиная с 1917 г. Здесь стоит привести краткие фрагменты из его дневника 1919 г. — года создания «Воспоминаний и дум» (ЛАПНП).

Согласно дневнику ученого, он в тяжелейших условиях читал лекции и завершал свои исследования, например, 4 февраля была сделана запись: «кропал у себя через силу». Кроме того, он самоот-

верженно работал в редакции газеты «Южное слово» — ходил туда, буквально рискуя здоровьем и жизнью под проливным дождем, при ужасающем ледяном ветре, в глубокой темноте. Приведем пример: «Кругом стреляют, но пока добежал, цел» (28 ноября). Кондаков писал в газете обзоры по современному политическому положению и об отдельных вопросах, например, о Лиге наций, о речи Ллойд Джорджа по русской проблеме, о Клемансо, о позиции Германии в войне. Второй тип его статей — определялся задачами просветительскими. Это были очерки о русской истории и культуре (о Суворове, Герцене). Жаль, что мы не располагаем сведениями о статье под названием «Судьбы русской старины». Последний материал в газету был отдан 28 января 1920 г., когда шло массовое бегство из Одессы. В этом факте нельзя не видеть силу духа ученого.

Весь 1919 г. прошел в раздумьях о том, куда эмигрировать. Мучительно перебирались страны: Сербия, Польша, Франция. 3 января в дневнике была сделана запись: «начало побега», но даже тогда, в эти последние дни, прожитые на родине, сделать выбор не было душевных сил. Вот строчки из дневника: «не хочется в Сербию», «отказался ехать во Францию». Последующее устройство в Софии было в значительной мере случайным — ученый просто устал от бивуаков. Эмигрантская душевная неприкаянность уже не покидала Кондакова до конца дней; оказавшись в Праге, он мечтал, то вернуться обратно в Болгарию, то пере-

браться в Италию или Францию, и снова в Болгарию...

Жизнь в Одессе в 1918 – начале 1920 гг. близко свела Н. П. Кондакова с И. А. Буниным и его женой В. Н. Муромцевой — они «пошли в Константинополь» на одном пароходике, деля крошечную каюту. В общем с мужем дневнике Муромцева записала: «Последний раз увидела русский берег. Заплакала. Впереди темень и жуть. Позади ужас и безнадежность» [2]. Читая «Воспоминания и думы», надо постоянно помнить, что написаны они в «дни ужаса» [3].

«Воспоминания и думы» в настоящем издании дополнены четырьмя небольшими по объему, но интересными фрагментами. Три из них (в конце текста) были исключенным в свое время редакционным комитетом по цензурным соображениям, т. к. в них давалось оценка русским священникам и монахам как явлению тогдашней жизни. Четвертый фрагмент (в начале текста), посвященный семейным тайнам ученого, был изъят, по-видимому, в свое время сыном ученого, С. Н. Кондаковым. Вставленные строки выделены угловыми скобками. Честь находки данных фрагментов принадлежит

---

2 Устами Буниных: Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы / Ред. М. Грин. Франкфурт-на-Майне, 1981. Т. 1. С. 345.

3 Подробнее см.: *Кызласова И. Л.* История отечественной науки об искусстве Византии и Древней Руси: 1920–1930-е годы. По материалам архивов. М., 2000.

русской пражанке Л. Л. Копецкой [4]. Обнаружив их в 1996 г., она передала их автору настоящего предисловия, выразив мнение, что четвертый фрагмент не должен быть включен в переиздание мемуаров. Между тем, аналогичный по содержанию фрагмент, находившийся в небольшой рукописи ученого «Из моих воспоминаний», вошел в число новых архивных материалов, приведенных в диссертации Н. А. Винокуровой [5]. Потому пришлось включить данный фрагмент (из полного пражского текста) в настоящую книгу.

Согласно тем же принципам подготовленны тексты, вошедшие в приложение.

В него включены наиболее важные работы, содержащие воспоминания о Н. П. Кондакове, драгоценный фактологический материал о его научном творчестве, а также обобщающие оценки вклада исследователя в науку. Эти инереснейшие статьи

---

4 Неизданные фрагменты выделены в машинописном варианте рукописи «Воспоминаний и дум», хранящемся в ЛАПНП. Фонд Н. П. Кондакова (он не разделен на единицы хранения). См. отдельную публикацию трех фрагментов вместе с вступительной статьей, подготовленные Л. Л. Копецкой, в кн.: Мир Кондакова (в печати).

5 Рукопись ученого хранится в СПб. ФА РАН. Ф. 115. Оп. 3. Д. 21. См.: *Винокурова Н. А.* Н. П. Кондаков: жизнь и судьба российского ученого. Дис. канд. ист. наук. М., 2000 (Приложение 6/пагин.). Диссертация, в значительной степени являясь пересказом «Воспоминаний и дум» и дневников ученого, содержит массу ошибок и курьезный анализ социальных, бытовых аспектов жизни исследователя.

давно стали библиографической редкостью. Их авторы — известные российские историки и историки искусства (жившие как на родине, так и в зарубежье) и европейские ученые. Назовем самые блестящие имена: Д. В. Айналов, М. И. Ростовцев, С. А. Жебелев, Г. В. Вернадский. Последний из них стал поклонником таланта Н.П. Кондакова лишь в самые последние годы его жизни, но написал о нем больше тех, кто знал ученого в течение десятков лет — перу Г. В. Вернадского принадлежит четыре статьи [6] . Две из них читатель найдет в этой книге. Написанные с интервалом в два года (1924 г. и 1926 г.), они, наряду с известной работой В. Н. Лазарева [7] , являются самыми существенными трудами среди тех, которые охватывают всю научную деятельности Н. П. Кондакова. Самостоятельная ценность обоих статей несомненна (неизбежные смысловые совпадения в них минимальны).

Помимо текстов, написанных учениками и последователями Н. П. Кондакова, читатель найдет здесь замечательные воспоминания В. Н. Муромцевой-Буниной. Все тексты в совокупности дают цельную яркую и разностороннюю картину, позво-

---

6 Кроме издаваемых см.: *Vernadskij G.* Hommage à M. N. P. Kondakoff // Revue archéologique. 1924. Vol. XX. P. 225–226; 327–328; *Вернадский Г.* Н. П. Кондаков: К его восьмидесятилетию (1844–1924) // Slavia. Roč. III. Praha, 1924. S. 560–563.

7 *Лазарев В. Н.* Никодим Павлович Кондаков (1844–1925). М., 1925; 2 изд. в кн.: Он же. Византийская живопись. М., 1971. С. 7–19.

ляющую оценить не только личность и труды великого русского ученого, а также многое понять в истории развития науки об искусстве Византии и стран византийского мира в течение длительного периода: последней трети XIX – первой четверти XX века.

При подготовке воспоминаний сохранены примечания, составленные редакторами первого издания и С. Н. Кондаковым; часть из них дополнена нами (см. текст в прямоугольных скобках). В настоящем издании правописание приведено к современным грамматическим нормам, знаки препинания расставлены в соответствии с современными правилами пунктуации, исправлены ошибки в написании имен и унифицировано их написание также как и названия научных организаций, учреждений и т. д.

Н. П. Кондаков. Воспоминания и думы

ВОСПОМИНАНІЯ И ДУМЫ

Н. П. КОНДАКОВА

SEMINARIUM KONDAKOVIANUM

PRAGUE 1927

Предисловие

«Воспоминания и думы» Н. П. Кондакова печатаются в том самом виде, как остались среди бумаг Никодима Павловича (исключены лишь немногие фразы, где речь идет о лицах ныне здравствующих, а также несколько строк, помещение которых в печати редакция, считаясь с настроениями Никодима Павловича за последние годы его жизни, считала пока несвоевременным; пропуски всюду оговорены в примечаниях).

Следует иметь в виду, что сохранившийся текст «Воспоминаний и дум» Никодима Павловича — не рукопись автора, а запись на машинке под его диктовку.

В какой момент жизни и при каких условиях Никодим Павлович диктовал эти свои «Воспоминания» — рассказано в печатаемой ниже заметке С. Н. Кондакова.

Желчный порою и горький тон воспоминаний отчасти объясняется именно этими условиями...

Сверку корректур печатаемого текста с подлинной записью «Воспоминаний» Никодима Павловича любезно взял на себя С. Н. Кондаков. В распоряжении редакции находилась лишь переданная С. Н. Кондаковым копия подлинной записи.

Редакционный комитет

С. Кондаков

Воспоминания Никодима Павловича Кондакова

Среди бумаг покойного академика Н. П. Кондакова сохранились начатые им весной 1919 года в Одессе воспоминания о прожитой жизни. В эту тяжелую годину, вынужденный на время прекратить чтение лекций в университете, находясь под угрозой постоянных обысков и даже ареста, со всеми его тяжелыми последствиями для 74-летнего старика, он решил оглянуться на свое прошлое и уйти в него от действительности.

Долгая, интересная, трудовая жизнь выдающегося ученого, протекавшая при четырех русских царях, дала обширный материал для его острого, все воспринимавшего ума и тонкой наблюдательности.

К сожалению, воспоминания его не доведены до конца и охватывают лишь детство и юность, проведенные в Москве, и начало профессуры в Новороссийском университете[8]. А между тем более яркий период его жизни и деятельности относится

---

8 Последние страницы книги содержат краткие очерки, относящиеся к началу XX века. — *Прим. сост.*

к концу 80-х годов, когда, переехав в Петербург, он нашел там широкое поле для своей кипучей энергии и разносторонних интересов. Никодиму Павловичу был не только чужд, но даже органически непереносим тот ученый педантизм, в котором зачастую и не без основания упрекают профессоров. Наоборот, в его натуре была большая скромность, порою граничившая даже с какой-то застенчивостью, которая удерживала его от людей. Но они сами шли к нему, привлекаемые или научными интересами, или просто возможностью быть в его обществе, всегда интересном и поучительном, и людей он видел и знал великое множество и притом самых разнообразных классов и положений.

Предоставленный в детстве самому себе, он бегал по всей Москве с уличными мальчишками, вертелся в доме среди дворовых, и отсюда знание и тонкие психологические наблюдения над простым людом. Позже он имел случай их пополнить, живя на раскопках в Керчи и на Тамани среди рабочих и казаков. Университетские годы свели его с такими сверстниками, как Ключевский, Кирпичников, Корш, Гиляров, Герье и др. Затем огромный материал дали годы учительства: сотни молодых людей проходили перед его глазами, и это все была будущая интеллигенция. Профессорство и постоянные путешествия тоже обогащали его наблюдательность.

Выдающаяся научная деятельность Никодима Павловича рано обратила на себя внимание самых верхов общества, и отсюда личное и долголетнее знакомство Н. П. с великими князьями. Первым

по времени был в. кн[язь] Константин Николаевич, которого он очень ценил за ум и тонкость суждений. Встреча эта относится к 1882 г., когда Н. П. путешествовал по Италии, специально изучая итальянскую миниатюру. Труд этот, к сожалению, не был закончен, но он часто вспоминал о нем и последнее время, уже за границей, думал обработать рукопись, которую вывез из России[9]. И так, живя в ту пору в Риме, он ежедневно занимался в Ватикане, подбирая нужный материал. Случайно встретившись с известным историком Бестужевым-Рюминым, сопровождавшим великого князя, он разговорился о своей работе. Зная интерес августейшего путешественника к искусству, Бестужев сообщил ему о молодом русском ученом, вследствие чего последовало приглашение Н. П. к обеду.

«Войдя и поздоровавшись со свойственной ему отрывистой манерой, в. князь воззрился, — рассказывает Н. П., — на мои волосы.

— Почему черный? Да вы русский?

— Считаю себя таковым, — ответил слегка опешивший Н. П.

— Русских не бывает с такими черными волосами.

— Я с юга, родом из Курской губернии, возможна примесь».

Так состоялось знакомство, которое не прерывалось и в России. Живя у себя в Ореанде, в маленьком «адмиральском домике», в. князь задумал

---

[9] Эта рукопись не сохранилась в архивах. — *Прим. сост.*

выстроить церковь и зачастую приглашал Н. П. к завтраку, советуясь об архитектуре и внутреннем убранстве. По совету Н. П. церковь была построена в стиле грузинских храмов, а мозаика заказана в Венеции. Позже в Петербурге Н. П. часто встречался с в. к[нязем] Владимиром Александровичем, с которым приходилось работать по делам реформы Академии художеств, Константином Константиновичем как президентом Академии наук, Петром Николаевичем как любителем русской старины и архитектуры, принимавшим близкое участие в реставрации Бахчисарайского дворца, а последнее время с Николаем Николаевичем, увлекавшимся наряду с фарфором и древней русской иконой.

Таким образом, начиная с низов и кончая верхами общества, Н. П. имел огромный опыт для наблюдения и изучения русского человека. К этому нужно прибавить, что, хотя он постоянно находил поводы и случаи указывать на наши недостатки и, по горячности своей натуры, иногда (как и в этих воспоминаниях своих) высказывал даже горькие сожаления, зачем родился в России, он все же был до мозга костей русским человеком и притом глубоким русским патриотом в лучшем значении этого слова, дорожившим и стремившимся к чести и славе родины. Живя уже за границей и стараясь уйти в окружающую обстановку и интересы, чтобы не так остро чувствовать боль изгнания, он не переставал внимательно следить за ходом русских дел там, за рубежом, и с грустью иногда говорил, что России ему больше не видать. Легко

переносясь, благодаря своей исключительной памяти, в далекое прошлое, он художественно рисовал целые картины минувшего, в которых, под несколькими меткими штрихами, вставали как живые давно уже ушедшие на вечный покой его современники или обрисовывались целые события.

Вторую половину 17-го года Н. П. прожил в Ялте у себя в доме, продолжая работать над II томом «Русской иконы» и торопясь его закончить, хотя уже предвидел, что едва ли удастся опубликовать его в России[10]. С каждым днем жизнь становилась все труднее. Как обычно было тогда, прежде всего стали исчезать припасы, все дорожало с каждым днем, деньги быстро таяли, и пришлось начать продажу обстановки большой и некогда хорошо обставленной дачи, где столько перебывало интересных людей. Но, конечно, и этот ресурс скоро истощился, и приходилось думать о будущем. Тогда Н. П. решил возвратиться в Одессу, где скорее надеялся найти средства к существованию, и осенью того же года с грустью покинул южный берег Крыма, чтобы более туда никогда уже не вернуться.

Новороссийский университет тотчас же пригласил Н. П. как своего почетного члена читать

---

10 15–18 апреля 1917 г. Н. П. Кондаков переехал из Петрограда в Одессу, 28 августа он выехал в Москву, где пробыл до 11 октября, и лишь затем перебрался в Ялту. Ученый вновь вернулся в Одессу 9 сентября 1918 г. (См. Дневники Н. П. Кондакова 1917–1918 годов, ЛАПНП). Н. П. Кондаков. Русская икона. Прага, 1928–1933. Т. I, II, III (Ч. 1), IV (Ч. 2). — *Прим. сост.*

лекции, и снова зазвучал его голос в стенах университета, где некогда он начинал свою ученую деятельность.

Возможность опять приобщиться к академической жизни, читать лекции, которыми хотя он и всегда тяготился, но к которым имел долголетнюю привычку, скрашивала ужас всеобщей разрухи. Оторванный от привычной обстановки, лишенный своей библиотеки, собранной с такой любовью в течение всей жизни, живя в чужой квартире, у гостеприимного (недавно скончавшегося) проф. И. А. Линниченка[11] , Н. П. все же сохранял душевное равновесие, удивительную для его возраста бодрость и продолжал живо всем интересоваться, переходя от научных интересов к политике и даже житейским мелочам.

По уходе немцев в ноябре 18-го года Одессу оккупировали союзные войска, вступившие в контакт с новообразованными добровольческими организациями. Казалось, жизнь начинает принимать обычный вид. Правда, из-за отсутствия топлива, университет на зимние месяцы пришлось закрыть, но Н. П. заменил лекции беседами у себя на дому с избранным кружком своих слушателей, разбирая с ними интересную тему — «о влиянии французского

---

[11] Речь идет о рукописи книги «Иконография Богоматери», Т. III («Иконография Мадонны»). В конце 1924 г. автор продал ее Ватикану, обещавшему издать работу. Обещание не было выполнено. Ныне рукопись не значится в картотеке Ватиканской библиотеки. — *Прим. сост.*

средневековья на скульптуру порталов романских церквей сев[ерной] и средней Италии» и продолжал работу над III томом «Иконографии». Весною союзные войска приняли внезапное решение покинуть юг России и, в частности, Одессу. Произошло это в самом начале апреля 1919 года. Несколько дней, спешно грузясь, уходили военные транспорты, увозя черные войска; за ними потянулись батальоны греков, а в хвост — группы беженцев с детьми и наскоро собранными вещами; все это шло к морю на пароходы. Заходили и к Н. П. некоторые знакомые, предлагая уехать, если не за границу, то хотя бы в Крым, но он, чувствуя себя всегда далеким от политики и страшась в ту пору неизвестной беженской жизни, решил остаться в России. Он все надеялся добраться до Петербурга к своей библиотеке и работать там, а если условия жизни не позволят, то выехать через Швецию за границу.

В яркое весеннее утро 6 апреля ушли последние суда союзных войск, а вместе с ними и первая большая волна беженцев покидала, сама того не предчувствуя, навсегда Россию.

В городе чувствовалась растерянность, опустошение и томление перед неизвестностью надвигавшегося грозного времени.

Как обычно поутру Н. П. сел за работу, но общее настроение передалось и ему; слышно было, как он рвет лист за листом, не выдерживает, встает и начинает ходить по комнате. Именно в этот момент, под влиянием чувства оторванности, у него и зародилась мысль поделиться с будущими поколе-

ниями своими правдивыми воспоминаниями и переживаниями, с одной стороны, потому, что суровая действительность не позволит предаться романтизму, свойственному, по его словам, всем старикам, а с другой, он видел в них уход, хотя на несколько часов, от угнетавших мрачных мыслей о будущем. Застучала старая, разбитая машинка, предоставленная знакомыми во временное пользование, принимая неторопливую, продуманную, размеренную, как и все в его жизни было размеренно, запись, и первые же страницы увлекли его в страну воспоминаний.

Прошло несколько дней безвластия, во время которых Н. П. диктовал по утрам свои воспоминания. Но вскоре последовавшие декреты и обыски лишили его и этой возможности. Появились настойчивые слухи, что у всех частных лиц будут отбираться пишущие машинки для нужд новоиспеченных учреждений, в силу чего на день проходилось прятать машинку за большой диван и лишь с наступлением сумерек возобновлять запись. Обычно Н. П. диктовал по 6 часов, зачастую несколько отвлекаясь в сторону, наиболее ценными и интимными воспоминаниями своих переживаний и восприятий юности и молодости, которые, однако, не всегда позволял записывать, обозначая подобные части «не для читателей». Заканчивалось писание нередко, когда сумерки сменял вечер и клавиши становились еле различимы.

Зажигалась электрическая лампа, одна на три фасадных комнаты, пользование которой ему «как спецу» было разрешено. Вокруг собирались неко-

торые обитатели квартиры, пили последний вечерний чай на углу письменного стола, и Н. П. читал Тэна «Les origines de la France contemporaine», изредка прерывая его замечаниями и рассуждениями по поводу прочитанного.

К середине июня в городе был объявлен «красный террор», отразившийся и на доме, где жил Н. П. Однажды ночью «пришли» за хозяином квартиры И. А. Линниченком, которому после того пришлось скрываться, а за домом и квартирой установили надзор, вследствие чего русские знакомые Н. П-ча, в то время довольно многочисленные, опасались бывать у Н. П., и он был бы обречен на полное одиночество, если бы не навещали французские его друзья; известный всей Одессе, добрейший М. Д. вместе со своим воспитанником ежедневно бывали у Н. П., проводя вечера в бесконечных разговорах о Франции. Жизнь в постоянном ожидании не только ночных, но и дневных «неожиданных посещений» принудила его прервать свои воспоминания. 23 августа н. с. около 10 час[ов] утра пришли первые отряды добровольцев. Улица сразу ожила; все окна были настежь.

Н. П. был тоже все время у окна; взволнованно он обратился к стоящим с ним рядом и сказал вслух, видимо, свою сокровенную мысль: «ну, а если и эти уйдут, уйдем и мы с ними, больше оставаться будет невозможно». В течение дня заходили к нему некоторые из профессоров обменяться мнениями и горячими пожеланиями, и в тот же вечер была явно водружена на маленький столик, возле письмен-

ного, спрятанная доселе машинка, и Н. П. с небывалым одушевлением, с разгоревшимися глазами, продиктовал часть воспоминаний, касающихся преосв[ященного] Порфирия Успенского, а на другой день утром сел к письменному столу и написал четыре страницы второго тома «Русской иконы», о чем и сообщил окружающим, как показатель, что к нему вернулась прежняя бодрость и вера в лучшее будущее.

Дней через пять жизнь закипела ключом вокруг Н. П.; приехала с визитом Comission Interalliée и привезла первые новости с запада и кипу газет и журналов. Французы пришли к нему как известному другу Франции и Grand Officier de la Légion d'Honneur. Н. П. жадно забрасывал их вопросами, и официальный визит быстро принял вид задушевной беседы, затянувшейся на несколько часов.

С начала сентября в городе стала издаваться новая газета, в которой Н. П. поместил несколько статей, причем одна из них — «Новости с Запада» — вызвала настолько большой интерес, что многие, даже малознакомые профессора, приходили к нему обменяться мнениями и, как они говорили, «дорасспросить». 6 октября 19-го года вышел первый номер «Южного слова» под совместной редакцией Н. П-ча и акад. И. А. Бунина, причем Н. П. взял на себя ведение отдела иностранной политики; наряду с этим он читал университетские лекции по истории итальянского возрождения, и для личной жизни уже не оставалось времени. Машинка стучала под диктовку очередные, и всегда срочные, статьи, газетная

деятельность привлекала к нему массу народа или требовала его присутствия в редакции, и совершенно не оставалось нужного досуга для диктовки воспоминаний, а надвинувшаяся в декабре угроза эвакуации и вовсе заставила забыть об этом начатом «деле — безделье», как он сам называл свои мемуары.

Заграничная жизнь, до самого последнего дня, не дала Н. П. заслуженного отдыха, который предоставил бы ему возможность уйти своими мыслями в прошлое. И в Болгарии, и в Праге он считал своим нравственным долгом, прежде всего, неутомимо работать в области своей любимой науки, верным служителем которой он оставался до последнего момента своей жизни [12].

---

12 Считаю своим долгом принести глубокую благодарность г-же Е. Н. Яценко за любезно сообщенные подробности о жизни Никодима Павловича в Одессе, а также указать, что некоторые страницы воспоминаний, касающиеся пребывания в низшей и средней школе, были в 1926 г. опубликованы в 19–20 книге журнала «Русская школа за рубежом». С. К.

Воспоминания и думы

Угораздило меня
родиться в России.
А. Пушкин

Veritas odium parit.
Правда глаза колет.

Пишу я, академик Н. П. Кондаков, ученый археолог, 74-х лет, побуждаемый к тому давнишним желанием исполнить нравственное обязательство перед родиной, меня питавшей, высказать откровенно свои взгляды и мысли о русской жизни вообще и о моей, уже прошедшей, в частности. Думаю, что было бы лучше, если бы многие из нас под конец своей жизни делали то же. Разумею при этом, понятно, что желательно сохранение таких записок и даже издание некоторых. Наши воспоминания должны сопровождаться откровенным изложением личных взглядов, мыслей, дум и даже настроений, насколько все это может быть сознательным. Обычно такие воспоминания принимают романтический оттенок, и даже читатели подобных записок относятся к ним как к историческим романам второго сорта. Сознавая вполне, как трудно будет мне избежать всех крайностей романти-

ческого отношения к своему прошлому, я рассчитываю на время, когда я пишу это.

Сегодня 6-ое апреля 1919 года, день окончательной эвакуации союзных войск из южной России, и из Одессы в частности, где я теперь живу.

Сегодня или завтра большевики займут Одессу, и мне лично, как интеллигенту, придется переживать все современные фазисы русской жизни. Надеюсь, что предстоящая реальность поможет мне не быть романтиком и сказать ту правду, которую только я мог понять в русской жизни. Оглядываясь поневоле на свое прошлое и не впадая в самообольщение, могу сказать, что сознаю и внутри себя скорее склонность к пессимизму, чем к увлечениям, хотя бы историческим. Правда, моя внутренняя жизнь была всегда одинокой, я жил мечтателем, был несообщителен, в своем роде тяжкодум, многое понял очень поздно, но был всегда трудолюбив, склонен к постоянному размышлению и всегда стремился по мере своих сил к пониманию и сознательной жизни. Наконец, могу сказать, что фактически я никогда не искал популярности, и если в результате 55-летних ученых работ достиг известности, то очень мало ценил ее внутренне, в пределах России, по причинам, которые будут изложены ниже.

Мое внутреннее сознание говорит мне самому постоянно, что вне пределов обычного общежития я не чувствую себя русским человеком; мне тяжелы всякого рода совещания и заседания, хотя бы ученые, и я привык враждебно относиться ко все-

му тому, что у нас называют общественной деятельностью. Удовлетворяясь в жизни своим положением учителя, профессора, наконец, академика, я не только не искал, но и отказывался от предлагавшихся мне мест директора гимназии, декана, и даже от постов председателя, именно по сознанию личной предвзятой враждебности к тому русскому кружку или обществу, с которым мне надо было бы иметь дело. Жизнь моя прожита, и я вижу, что в этом отношении я был прав, так как я не мог бы принести какой-либо пользы в русском обществе, в силу такой своей настроенности. В то же время, сколько я себя помню, я был всегда крайне чувствителен, болезненно ощущал свою отчужденность и воспитывал в себе, благодаря этому, сурово-критическое отношение к русским людям, которых, конечно, я знал ближе всего. Всему этому способствовала и моя жизнь, также проходившая больше в размышлениях и ученой работе, чем в деятельности. Уже самая враждебность отношения к русскому обществу показывает, что я, чуждаясь его в течение жизни, чувствовал и сознавал горечь своей от него зависимости и свое бессилие что-либо в нем по-своему, как я понимал, исправить, так как сила к этому дается только любовью и жертвой — я же к этому был не способен.

Если в заключение этого моего предисловия, я скажу кратко, что передо мною прошла русская жизнь трех поколений и что я лично, если не преобразился сам за все то время, то увидал и сознал колоссальную перемену в русском обществе и в са-

мой жизни, то без дальних слов будет понятно мое личное желание и мое сознание некоторой обязанности гласно утвердить эту перемену. Разбирать ее по пунктам, как стал бы делать историк, я не в состоянии, так как наблюдал русскую жизнь в очень ограниченных сферах, хотя, правда, в ее высшей интеллигентной сфере, и потому должен ограничиться фактической частью своих личных наблюдений или воспоминаний, сопровождаемых если не мыслями, то хотя бы думами или даже тяжким раздумьем.

Родился я в Курской губ. Новооскольского уезда, в многолюдной слободе Халани, где отец мой был с матерью временно, по делам управления имениями кн. Трубецких, и откуда он сам был родом. Слобода Халань — была в то время громадным, в три тысячи душ селом, занимавшимся различными видами кожевенного мастерства, настолько обширного, что там бывала ежегодно ярмарка. Отец мой, бывший уже в то время главноуправляющим кн. Трубецких по всем их имениям, был взят из жителей села в сельскую контору, затем перешел в главную контору в Москву, к сорока годам отпущен на волю из крепостных, и жил в Москве в главном доме кн. Трубецких на Покровке. В самой Халани у него в это время жила еще мать, чистая хохлушка.

Родился я в 1844 г. 1-го ноября, назван был Никодимом во имя Печерского угодника, празднующегося 31 октября. Отец был очень набожный человек и наименовал родившегося во имя патрона

канунного дня. Слобода Халань вообще представляла собою крайне сборное население: малороссов, «черкасов», и очень возможно, что свое главное мастерство получила от выходцев с Кавказа или Дона, быть может даже алан, по имени которых и названа. Отец мой был черноволос и имел нос с горбинкою, мать же была из Москвы и имела каштановые волосы. При отъезде своем из Халани в Москву родители взяли мне няньку, чистую хохлушку, прожившую затем 12 лет, по имени Евдокию, или Явдоху. Я и мой старший брат Валерьян были черноволосы, цвета воронова крыла. Я и доселе не утратил в своем произношении малорусских черт придыхания на звуке «г», по поводу которого меня дразнили учителя гимназии.

В вопросах вековечного разлада хохлов и москалей стоял всегда на стороне первых, но всякое украйнофильство, переходящее в политику, считал всегда диким безумием лишенного смысла и стыда дикого варвара. В пору ранней молодости, будучи страстным любителем литературного чтения, знал почти наизусть Гоголя, и если мечтал, то во вкусе автора «Повестей Диканьки». В настоящее время Гоголя, вне его таланта, презираю, наряду с другими романтическими русскими писателями, о чем скажу после.

Возвратившись в Москву в 1845 г., мои родители основались на 15 лет в большой (по тогдашнему) квартире нижнего этажа дома кн. Трубецких на Покровке. После смерти моей матери — мне было тогда 12 лет, — мы занимали другие кварти-

ры в том же доме, по желанию отца все меньше и меньше размером. Скажу теперь об отце, который был в своем роде любопытным типом и пользовался всю жизнь безусловным доверием князей, авторитетом среди московских помещиков, приезжавших к нему за советами и умолявших его взять на себя управление их имениями. Это был главноуправляющий множества имений кн. Трубецких — остатка области Трубечина, человек кристально честный, скрупулезно добросовестный, нестерпимо бережливый в своем собственном имуществе и в делах своих доверителей. Детьми мы помним, как мать объясняла болезнь отца его огорчениями по поводу растрат, чинимых семьею старого князя Юрия Ивановича, а затем его сына Ивана Юрьевича и его внуков и внучек. Когда эти растраты дошли до расточительности, он вышел в отставку из своего поста хранителя и поселился в деревянном домишке, который он купил на Чистых прудах, в переулке. Несмотря на свое происхождение и на кучу занятий, одолевавших его всю жизнь в бесплодных розысках воровства управляющих по отдельным имениям, отец был в то же время великий поклонник литературы, и я еще ребенком выбегал на подъезд посмотреть приходившего во фризовой шинели историка Погодина, и помню себя мальчишкою лет пяти, как я, прочитывавши «Вечного Жида», просил, чтобы мне дали «Мертвые души». Но это литературное образование дало отцу только ту своеобразную консервативно романтическую окраску мировоззрения и слога со-

роковых и пятидесятых годов, которая отличала собою добрую половину московских разночинцев, родоначальников нашей интеллигенции пролетарского происхождения. Сколько я знаю, русская историческая критика, убого плетущаяся по указке либеральной публицистики доселе, за исключением немногих этюдов, следила почти исключительно за литературными проявлениями либеральной мысли 40-х и 50-х годов, тогда как, по-видимому, поток патриотически настроенной интеллигенции составлял громадное большинство. Оно и естественно, так как романтическая окраска и доселе составляет первую стадию литературных вкусов и пользуется расположением большинства, несмотря на свойственный русскому народу вкус к радикализму.

Лично для меня домашнее пристрастие к литературе, образованию имело особенно большое значение, и оно же было причиною того, что отец поставил своею задачею дать образование детям, проведя их через гимназию и университет, и, собственно, поэтому его освободили от крепости и он записался в купцы 3-ей гильдии, а так как в 50-х годах наши гимназии давали чин 14-го класса обучавшимся в них греческому языку, то я и мои три брата должны были поступить во 2-ую Московскую гимназию, что на Разгуляе, где тогда учили по-гречески. Отец был в то время поборником идеи освобождения крестьян, пытался, хотя бесплодно, ограждать их от произвола и зверства управителей (особенно жестокими были управляющие из немцев) и участвовал в московском отделе комиссии по освобождению крес-

тьян, в трудах коих была напечатана записка по составленному им проекту выкупа земли. На меня лично отцовские жалобы на безграничные жестокости одного управляющего по фамилии Миллер, благодаря моей болезненности, производили такое впечатление, что в один из его приездов в Москву, когда я уже был студентом и он обедал у нас, я заявил ему, что он вор и палач, что прошло, однако, совершенно благополучно для всех.

Несмотря на свои действительно высокие качества, отец был нестерпимый человек в семье, и мы все дети всегда были на стороне матери в ее разладах с отцом. Отец женился на бедной швее и взял ее, как говорили у нас во дворе, за красоту, и один из братьев моих Михаил, любимец отца, унаследовал от нее красивые черты. Несмотря на свое убогое происхождение, она сумела стать по своим манерам, привычкам и обращению несравненно выше отца. Была прекрасной хозяйкой, и, пока была жива, удерживала отца от его основной страсти, отравлявшей существование не только нашей семьи, но и всех его подчиненных, а потому за отсутствием князей, всегда живших за границей, почти всего дома. Этою страстью была его бережливость, перешедшая затем в явную скупость после смерти матери. Весь дом ходил к ней с просьбами и жалобами на отца. И в своем хозяйстве она должна была поневоле избегать каких бы то ни было расходов, так как они становились обычно предметами ссор. Во избежание расходов, именно она устраивала запасы муки, овощей и даже фруктов из

княжеских имений, получив на это разрешение, тем легче, что на месте эти овощи сгнивали и скармливались свиньям. Но и это ее хозяйничанье встречало в моем отце противодействие, так как он доводил свою служебную честность обычно до крайности. И если наша жизнь в доме была сколько-нибудь смягчена в отношениях к многочисленной княжеской дворне и служащим в конторе, то благодаря только матери, у которой зато дни были наполнены приемами бесчисленных женщин, живших в доме и тяготивших ее жалобами, просьбами и сплетнями. Последние три года ее жизни она болела чахоткой, от которой и умерла, проводя почти все свое время безвыходно на диване в гостиной. На этом же диване, уткнув голову в колени матери, проводил я все свои досуги, так как с самого раннего детского возраста отца не любил и его чуждался, <какая была собственно истинная тому причина, мне так и не удалось узнать, но думать об этом своем отчуждении от отца я стал очень рано и равно замечать все намеки, на мой счет делавшиеся. Так, помню разговор с одною женщиною, моей матери открыто выражавшей свое сожаление о том, что я чуждаюсь отца, убегаю от него из комнаты, когда он придет. Наконец, один намек, сделанный на мой счет, когда я был еще очень мал, лет 4-х, меня поразил настолько, что я его заметил и помнил, хотя совершенно этого намека не понимал. Случай, вероятно, нередкий в детской психологии, но все же любопытный. Я забежал раз в контору и, как теперь помню, стал пе-

ред конторкою своего любимца-конторщика Юрина, к нему подошел другой писец и, указывая на меня, начал острить надо мною, показывая на меня, приставать к Юрину с вопросом: «неужто ты не видишь, на кого он похож», разговор этот запал в мою голову, и только будучи уже студентом, я сопоставил мысленно этот намек с другим памятным для меня обстоятельством, которое я также в свое время не понял. Это было прощальное свидание матери с главным помощником отца по конторе, неким Волчковым. Хорошо помню, как нежно прощался он со мною, выражая удовольствие по поводу того, что я любимец матери. Словом, я с той поры стал себя считать окончательно чуждым своему отцу, чего он и не замечал или не хотел замечать. Тем же самым обстоятельством я объясняю себе и то, что> первое мое воспитание я получал не от матери, но от свой няньки, хохлушки Явдохи. И вот что сохранила о том моя детская память. Совершенно ясно помню я себя еще в то время, когда, не умея ходить, я быстро раз ползу по каменному полу из нашей квартиры, ведшей в кухню. Судя по тому, что я был крепкий ребенок, мне в эту пору могло быть не больше 3-х лет, и это свое воспоминание я мог объяснить себе только разговорами, которые я слышал о своей странной привязанности в детском возрасте к этой хохлушке. И, действительно, я помню, что эта моя нянька осталась ею даже и тогда, когда ее удалили на кухню. Я до сих пор помню целый ряд хохлацких песен, которые она мне певала приплясывая. У нее

для меня и после всегда был лакомый кусок, и она же выдерживала нередко упреки матери, что она меня пичкает перед обедом. Когда эта моя покровительница в доме уехала из него, я целиком перенес свою привязанность на мать, продолжая оставаться крайне отчужденным от отца.

Нас всех детей у отца с матерью было, собственно, 11 человек, но выжили из них только 4-ро сыновей и одна девочка, последняя, однако лишь до пятилетнего возраста. Когда я уже поднялся на ноги, я очутился на попечении своего старшего брата Михаила, который, хотя был только на год старше меня, был настолько ловчее, юрче и предприимчивее меня, что я во всех детских развлечениях и играх во всем ему подчинялся, молчаливо претерпевая от него пинки, щипки и все прочее. Он же вводил меня во все кампании для игры в лапту, пускания змеев, лазания по лестнице, по чердакам, чем занималась вся детвора домовой дворни; таскал меня на санках, пока у меня не отмерзали ноги, зимою. Принимая сам участие в боях с ребятами Главного почтамта, который в те времена около нас помещался, подвергался после того долгим попрекам со стороны матери, и особенно Явдохи, искренно ненавидевшей почтамтских, за то, что они избивали нередко и меня. Миша обучил меня отыскивать на нашем обширном дворе осколки стекла и продавать их в соседнюю железную лавку, за что мы в те времена получали по две и по три копейки, расходуя их потом на пряники. Вообще, мы жили, как тогда все жили

на Москве, кто принадлежал к среднему классу, и так, как теперь уже живет далеко не весь низший класс, т. е. в детском возрасте проводя почти все свое время на улице или на дворе. И только благодаря этому, конечно, мог произойти со мною редкостный случай, от которого я едва не погиб в возрасте немногим более трех лет. Дело было так: однажды летом меня увели купаться на Яузу; как случилось, не помню, но мало-помалу, сидя на берегу, я оказался один, поднялся и пошел домой. Дороги домой не нашел и начал бродить, переходя с места на место, по пустырям, пугаясь собак и людей, и не умея или боясь, теперь подлинно не помню, спросить дорогу домой к себе на Покровку. Возможно и то, что я твердил о Покровке и мне ее указывали, но Покровка велика, и я бродил около нее в смертельной усталости до самого вечера, когда по счастливому случаю увидал на улице хромую швею, ходившую к нам на дом, которая и привела меня домой. После мне говорили, что я долго болел и оправился не скоро.

По домашним соображениям отец решил отдать нас обоих вместе в приходское училище, хотя я был для него еще очень молод, да и старшему Михаилу, было, кажется, не полных семь лет. Его учили читать и писать раньше, а меня вовсе не учили ни тому, ни другому, и выучился я сам, тоже и тому и другому, и, может быть, поэтому я писал всегда четко, и даже в гимназии, у учителя чистописания, исполнял образцы прописей. Все это я привожу для того, чтобы высказать свое любимое

убеждение: надо возможно меньше учить и в детском, и в юношеском возрасте, но возможно больше показывать учащимся всякого рода образцы, заменяя так называемые уроки и одуряющие учеников спрашивания этих уроков чтением, демонстрациями, показом. Отвратительную педагогическую систему новейшего времени, по которой три четверти часа посвящаются на спрашивание, я считаю злодейским издевательством над молодыми умами, и вообще говоря, обращаясь к своим воспоминаниям о своей педагогической деятельности, не знаю ничего, что возбуждало бы во мне такую горечь воспоминаний, как годы моего учения и моего же преподавания в Москве, но о том после.

Два или три года своего учения в приходском училище я вспоминаю с ужасом и истинным отвращением. Доказательство ясное того, что не все то, что пройдет, бывает после мило. До чего я был молод, можно видеть из следующей анекдотической, но исторически точной, картинки. Как теперь помню, меня, малыша, учитель, по фамилии Смирнов, поставил перед собою и, тыкая мне в нос, стал спрашивать меня, сколько у меня носов и ноздрей. На чем и по чему не упомню, я сбился: кажется, говорил, что у меня одна ноздря, а учитель грозно тыкал мне в нос и заставлял меня повторять ошибку. Тем не менее меня в класс принял, в виду желания отца, чтобы мы с Михаилом учились вместе, как я после понял, чтобы сэкономить на учебниках. С той поры и до конца гимназического курса начались мои терзания из-за учебников, которые от

меня отнимал и утаскивал юркий брат, что и продолжалось вплоть до того времени, когда он окончательно обленился и выезжал только при помощи моих тетрадок. Насколько, однако, небрежно велось преподавание, можно видеть из того, что на это списывание никто не обратил внимание. Отличаясь примерным, можно сказать, страстным прилежанием, я еще и в приходском училище слыл одним из первых учеников, но тем не менее я не избегал тех повальных, всеобщих порок, какими нас устрашал нередко пьяный и остервенелый учитель. Уже впоследствии я узнал, что он был взяточник и вымогатель, и все его права на учительское звание заключались в том страхе, который он одним своим появлением в класс наводил на дикую орду мальчишек. Не могу не сказать, что преобразование приходских и уездных училищ в конце 50-х годов было, в свое время, добрым делом, но не могу не пожалеть, что затем с преобразованием в земские и городские училища в них так упала дисциплина, что ослабли и занятия.

Девяти лет я поступил с братом во 2-ую Московскую гимназию. Это была едва ли не лучшая, но во всяком случае хорошая, и такою остается доселе, помещаясь в каменном доме конца XVIII века, на небольшой площади, образовавшейся в стыке ее улиц — Разгуляя. Вся эта местность, за исключением Лефортова и Новой Басманной, населена мелкими промышленниками и мастеровыми разных цехов и фабрик, только Новая Басманная, и отчасти Лефортово, облюбленное немцами еще с

Петра, имеют хорошие дома и населены купцами. Таким образом, главный контингент учеников во 2-ой гимназии состоял из разночинцев и вообще мелкого люда, а потому нам с братом было не тяжело общение с товарищами, особенно ему, мальчику чрезвычайно общительному. Я был боязлив и застенчив, и, должно быть по молодости, никому не интересен, и приобрел приятелей только в последних классах, и теперь хорошо понимаю, почему эти приятели были из иностранцев: Спиро и Дюшен, оба имевшие замечательные музыкальные способности, тогда как я лично стал музыку любить, как следует, уже пожилым человеком. Вообще должен сказать о себе: развивался я крайне туго и медленно, физически и духовно, и до 20-ти лет не знал никаких страстей молодости, был увалень и потому был чаще всего поколачиваем, но от больших побоев меня выручал брат. Учиться я стал с необыкновенным рвением, но странно — любимым моим предметом была в первых двух классах математика. Учитель математики, поляк Вильканец, ставил мне пять с несколькими плюсами, а меня самого в образец всему классу, и я доселе помню мой собственный восторг, когда после бесплодных обращений ко многим он вызывал меня к доске, но мне осталось доселе не понятным, по какой причине из первого математиста меня потом он же развенчал, вызвавши к доске и намеренно сбивши на какой-то задаче. Правда, я продолжал получать высшие отметки, но совершенно перестал быть его любимцем. На эту роль поступи-

ли другие, которых я по всей справедливости считал гораздо слабее себя. Затем, должен сказать, когда через 12 лет я сам стал учителем в этой же гимназии, при мне же произошел в ней большой скандал: по жалобе родителей Вильканец был выгнан начальством после следствия, доказавшего, что он развращал детей. Лично я вспоминаю его как талантливого математика, который со страстью делал выкладки на доске и также страстно вызывал у учеников их тугое понимание, или говорил им о великих математиках, астрономах, особенно о Копернике. В старших классах учителем математики был Игнатий Минин, также ревностный учитель и хорошо знавший предмет, но от старости впадавший уже в детство, и бывший предметом посмешища у учеников по разным, самым глупым поводам. Он не говорил, а хрипел. Делал свои выкладки на доске быстро и не обращал внимания на то, как следят за ними ученики, признавал в классе только первую парту, и большую часть класса посвящал спрашиванию. Меня у него постигла совершенно особенная, характерная для того времени незадача; я был крайне близорук уже тогда, но в те времена гимназистам носить очки не позволялось, и вот, когда я, сидевший, правда, на первой парте и известный Минину как хороший математик, обратился к нему с просьбой стоять у доски, чтобы видеть теоремы и доказательства — он отказал мне наотрез. За меня, как я помню, просили даже после того товарищи, рекомендуя ему меня как математиста, он не позволил,

сказавши, что выход к доске может повести к шалостям. Это была большая несправедливость, тише меня вряд ли был кто-либо в классе; класс был большой до 50-ти человек, я ничего не видел и только по слуху различал алгебраические и геометрические формулы. Пробовал жаловаться отцу, но он также упорно отказывал мне в исходатайствовании у начальства разрешения носить очки, хотя сам их носил. Чтобы видеть сколько-нибудь на доске цифры, я употреблял следующий способ: к левому глазу приставлял пальцы левой ладони и смотрел в щели. Прибавлю, что Минин меня уговаривал, чтобы я снял локоть, который мне надо было ставить на стол, а я не решался ему объяснить, почему я это делаю, так как опасался, что ученики поднимут меня на смех. Очки я надел уже в старших классах, но было поздно, от математики я отстал и получал неизменно четыре.

Учителя в то время разделялись учениками на добрых и злых: и в помин еще не было либеральных и консервативных, а только иных называли «фискалами» за то, что они доводили дела до начальства. Были между учителями настоящее звери, вроде учителя географии Оссовского, находившего наслаждение в том, чтобы пугать учеников окриками и единицами. За известное число единиц и штрафное поведение изредка назначалась порка, но в отличие от приходского училища, в котором пороли на виду у всех, учеников уводили в карцер. Учась хорошо и будучи примерного и тихого поведения, я чувствовал себя в гимназии счастливым

и только обижался на некоторых учителей, подсмеивавшихся с сочувствовавшими учениками над моим именем. Затем учителя, за исключением немногих, по моему теперешнему суждению, относились к делу в общем весьма халатно, или по-чиновничьи, задавая только уроки, или забавляясь анекдотами, или ограничиваясь, как учитель истории, побасенками.

В отношении занятий я должен упомянуть с благодарностью и почтить их память — учителя русского языка в младших классах Гедике, учителя латинского языка П. И. Певницкого, греческого языка Александра Николаевича Робера и учителя русского языка в старших классах В. П. Шереметевского. Желая быть справедливым, не хочу поминать других.

Петр Иванович Певницкий, полный, пожилой мужчина, духовного происхождения, державшийся везде с особой неподвижной важностью, был знаменитостью в округе. Зная это досконально, вся гимназия от директора до последнего ученика почитали Петра Ивановича, на его отметки нельзя было ни претендовать, ни тем более жаловаться. Лишь смельчаки позволяли себе проделывать шутки для развлечения важного латиниста. И сам он был добродушен, покойно приходил в класс и, не присаживаясь ни разу на кафедру, брал в руки латинского автора и, далеко отставляя от себя книгу, начинал урок, обращаясь к ведомому латинисту со словами «кось попробуйте», ученик пробовал разбирать новый текст Цезаря, Тита Ливия и т. д., до

Горация включительно. Ученик путал, Петр Иванович наводил его, помогал, но слов не говорил, так как этот урок был уже назначен ранее для разбора и все слова ученики обязаны были подыскать. Изредка Петр Иванович над враньем ученика подшучивал, обращаясь к классу с такими замечаниями: «Цезарь вон что говорит, а Иванов вот как показывает». Эта критика была всегда добродушной, и враль смеялся вместе с другими, но Петр Иванович не позабывал и самого себя; подходило какое-нибудь особенное в тексте выражение, и, оставив книгу, расхаживая по классу, Певницкий начинал толковать, какое любопытное отступление здесь имело место. Мы, ученики, бывали, конечно, довольны такими экскурсами и, мало понимая действительные тонкости лексикона или синтаксиса, относили их огулом к самому Петру Ивановичу, и так как он нередко называл такие места «странностями», то у меня велась тетрадка с заголовком «странности П. И. Певницкого». Дурных отметок Певницкий не ставил, но заставлял учеников хотя что-либо узнавать по латыни.

На втором, после него, месте я поставлю учителя русского языка Гедике, русского немца, феноменально методичного, небывало покойного и хладнокровного и поразительно ведшего свой класс, а был он учителем младших классов. В классах его была тишина живого улья, каждый ученик был занят, и ему даже не приходилось делать какого-либо замечания, и он мог ограничиваться легкими движениями руки, замечая кому-либо, что он не так

сидит или развлекается. Он образцово учил, никогда не волнуясь и никого не порицая. Во всю свою бытность учителем он не изменил ни на йоту ни темпа в своем усердии, ни тона в своем обращении. С удовольствием вспоминаю также Петра Максимовича Минина — учителя географии, который, можно сказать, покорял учеников своею несказанною добротою: худенький, сгорбленный старичок, с необыкновенно кроткими глазами и неизменною добродушною улыбкою на устах, он ходил по классу, рассказывая нам, что знал в дополнение к ужасному учебнику. Но в то же время он искренно и постоянно страдал, как только начинал учеников спрашивать, так как всякий обман, пролазничество не находили в нем отпора, и он умел только огорчаться. Нужно сказать правду, что, несмотря на разношерстный состав многолюдных классов, в которых 12-летние подростки учились рядом с 17-летними «камчадалами», которыми неизменно наполнялись задние скамейки нередко сплошь, известная дисциплина была, так сказать, присуща гимназиям 50-х годов и расстроилась только в конце 60-х, о чем скажу после.

Эту дисциплину держали, очевидно, по традиции старые учителя, и ее не надо было заводить молодым, даже либеральные директора, которые появились в конце 50-х годов, как, например, Авилов в нашей гимназии, не были в состоянии ее испортить. Припоминая теперь, как вели себя классы и как держали себя учителя, когда я был учеником, скажу коротко, что эта дисциплина

гимназии мне напоминает порядок университетских аудиторий. Гимназий в Москве в мое время было только три, их преподаватели смотрели на себя, как профессора, убеждали учеников быть приличными и чинными по их званию, и гимназию легко было вести в порядке, не прилагая особых строгостей. Разлад учеников с учителями, дерзкие шалости и наглые дерзости суть явления позднейшего времени, когда с 60-х годов дисциплина учебных заведений разом рухнула, главным образом, как я скажу ниже, с уходом старого персонала учителей и появлением нового. Правда, и в наше время были шалости, а равно были в гимназии чудаки учителя, над которыми ученики потешались на разные лады и из которых иные были истинными страдальцами, но все же в каждом из нас, даже в среде «камчадалов», была внутренняя дисциплина, и в моей памяти врезался неизгладимо один факт, как один из высоченных и особенно буйных «камчадалов», Басов, подвергшись, наконец, наказанию розгами, моментально изменился и стал отличным учеником. Далее я помню то благоговение, каким окружали у нас двух учеников — Константина и Александра Веселовских. Александр стал впоследствии знаменитым академиком по кафедре иностранной литературы, отличался феноменальным трудолюбием. Константин был болезнен и рано умер.

Правда, эта дисциплина была одно время потрясена призывом зеленой молодежи на войну. Директор Гогель, русский немец из военных, по-

ставил было себе задачею сообщить гимназистам военную выправку; по несколько раз в неделю барабан бил тревогу, классы срывались с мест, бросались вниз, с шумом и криками, затем выстраивались в шеренги, оглушительно кричали приветствие, весною выбегали на двор для маршировки и учения строем, усвоили всех видов шаги и ружейные приемы с палками. Но тяжелый оборот войны и начавшаяся в 1853–54 годах перемена настроения в самом правительстве разом оборвала наши воинские упражнения. Директор уволен в давно ожидавшую его отставку, и на его место назначен другой — Авилов, образованный педагог и преданный своему делу человек. Я в то время переходил в 4-ый класс и стал свидетелем новых для нас педагогических забот начальства. Каждую субботу директор обходил все классы, со списками отметок, и начинал нескончаемую переборку «единичников» и «двоечников». Было крайне томительно при этом присутствовать даже тем, у которых не было грехов. Выговоры и замечания сыпались на множество виновных и сопровождались неизменно методическими поучениями в сравнительно ласковом, но сухом тоне и неизменными обращениями: «Душа моя, так нельзя более продолжать» и пр. Классы подтягивались, однако, не поэтому, а, главным образом, потому, что появлялись новые учителя, настоятельно требовавшие от нас развития, мышления, доброго отношения к другим и самим учителям и т. д. Главным из них был учитель русского языка Владимир Петрович Шереме-

тевский, ставший быстро общим любимцем. Это был необыкновенно живой, с выразительными глазами и неизменною кисловато-веселою улыбкою на лице, крошечный человечек. Большинство нашего класса стало немедленно обожать его за то, прежде всего, что чувствовало в нем его доброе сердце, но он к тому же был талантлив, любил и понимал русскую литературу. Был изумительно прост и прям, лишен всяких претензий и чужд исканий и требований. Впрочем, он стал впоследствии московской знаменитостью, как педагог и общественный деятель, — последнее в истинном смысле этого термина.

Не будучи поклонником русской натуры, я доселе считаю, что он не был чисто русский человек, хотя ясно происходил из крепостных графов Шереметевых. Мне искренно было жаль, когда он, уступив мне свое место учителя русского языка в старших классах, стал у нас же в гимназии инспектором и истинно мучился на этом посту, благодаря уже расшатавшейся через пять лет дисциплине. О нем самом и об этом упадке дисциплины скажу еще много ниже. Рядом с ним я должен поставить также любопытную фигуру Александра Николаевича Робера, своего учителя греческого языка, из обрусевших французов, одна фигура которого могла бы заинтересовать серьезного писателя или художника. Это был тоже низенький человечек, не ходивший, а бегавший маленькими шажками, с большими глазами и необыкновенно характерным, свешивавшимся у него на встопор-

щенные усы, горбатым носом с «бульбочкой» на конце, которой он посылал, от времени до времени, громадные заряды нюхательного табаку. В нашем классе греческому языку учились только трое. Большинство же учеников, желавших получить чин XIV класса, учились законоведению. Наконец, лишь остались только в двойственном числе, и при этом вторым учеником был мой старший брат. Он перестал почти совсем учиться еще с четвертого класса и, только пользуясь всеми моими тетрадками и переводами, тянулся кое-как, переходя в старшие классы. Отец принужден был даже распорядиться, чтобы я давал ему ежедневно уроки, что вовсе не было обидно брату, потому что тогда уже было решено всеми за меня, что я буду ученым. Понятно, что вся тяжесть приготовления греческих переводов легла на меня, а если я к этому прибавлю, что сам Робер преподавал в Москве с утра и до ночи всевозможные предметы и не был вовсе специалистом классиком, а больше любителем, то ясно будет, насколько вся тяжесть греческого языка ложилась на меня. Прибавьте к этому, что Робер был милейший человек, почти всегда веселый, остряк, истинно свободолюбивый, высококультурный и всем интересующийся человек, и я его слушал с истинным наслаждением. Нередко почти весь класс он рассказывал о Гарибальди, которым он увлекался так же, как Суворовым. Бывало так, что поглядев на часы, и увидав, что осталось пять минут, он все же говорил мне: «Ну, брат, валяй», — и я должен был, захватывая часть

рекреации, валять перевод главы из Фукидида. Туго приходилось мне, если шла при этом речь, но зато я настолько навострился в греческом языке, что мог читать, открывши всякий греческий текст, без всякой подготовки. Увы, прошло не более четырех лет моего пребывания на историко-филологическом факультете Московского университета, и я утратил это знание греческого языка, а почему, о том речь особо.

Любопытным и даже драгоценным для нас, учеников, был надзиратель старших классов, Аполлон Григорьевич Белопольский; это был человек необыкновенных талантов, волею судьбы попавший в надзиратели, ценитель музыки и литературы, и душевно интересовавшийся всеми делами, успехами и судьбою учеников. В то же время это был человек непоколебимой честности, соединявший с любезностью твердость характера, либеральный образ мыслей, в настоящем смысле этого слова. На Москве он был известен тем, что он сам и вся его семья спали круглый год на открытом воздухе, в комнате с открытыми окнами. Жена его отличалась таким здоровьем, что однажды, встретя ее на улице, я услыхал от нее следующее: «Можете меня поздравить. Я сегодня разрешилась от бремени». Белопольский привел в свою веру поклонения чистому воздуху художника И. Е. Репина и историка Д. И. Иловайского, правда, оба через несколько лет от этого режима отстали. Тот же Белопольский, как и В. П. Шереметевский, любили читать вслух гимназистам Гоголя, а Владимир

Петрович обладал положительным талантом художественного чтения, и для всех учеников старших классов уроки русского языка были в недели перед большими праздниками временем высокого наслаждения. Кстати, это были годы, когда ломалась и система преподавания, отменялась зубрежка, открывалось объяснительное чтение, задавалось на лето чтение писателей. Словом сказать, открывались как будто «золотые врата» русского просвещения. Увы, воспользовались этими широкими вратами весьма немногие, и уже в самом начале 60-х годов сложилась острота — «корни просвещения (русского) горьки, а плоды его кислы». Мы, однако, подростки, были очарованы этим временем, чувствовали себя студентами в VI-м классе, а я скупал себе библиотеку. На эти покупки уходили целиком те три рубля в месяц, которые платил мне отец за уроки брата, и вообще все мои доходы. Дома, не стесняясь своей аудитории, я читал вслух, применяясь к различным вкусам, Гоголя и Загоскина, и именно этим упражнением развил, насколько мог, свободную фразировку. Когда стали ставить у нас, уже в VI-м классе, под режиссерством Шереметевского, «Женитьбу» Гоголя, я, в числе других гимназистов, исполнял так сваху, что стал актером на характерные роли, и в следующем году при постановке «Ревизора» исполнял Осипа. Первым талантом оказался Спиро, будущий профессор физиологии в Новороссийском университете. Это был очень талантливый человек, который, однако, будучи ассистентом Сеченова, так и не

успел приложить своих способностей к науке. Был музыкантом, чтецом, певцом, но всю жизнь потерял на мелочи.

Сама жизнь на Москве, как мне помнится, резко изменилась. Нечувствительно, вместе с нею, переменились и обыватели; куда девалась их прежняя, мне живо памятная, запуганность, взаимная отчужденность, разрозненность классов. В силу ли собственных впечатлений или под влиянием разговора старших, особенно дворни, с которою я был в больших ладах, но я живо помню те страхи, мгновенно нараставшие на улице у всех, когда, гремя и оглашая пустынную улицу криками, проносились по Покровке чины полиции или сам полицмейстер и даже граф Закревский, генерал-губернатор, а мы, малыши, метались домой через подворотню. Живо помню, как вернувшийся домой отец шепотом сообщал о смерти Николая I-го и повел нас в приходскую церковь Воскресения, что на Барашах, приносить присягу. Улица Покровка и доселе немноголюдна и не является такою артериею Москвы, как, например, Мясницкая, а в те времена она всегда была пустынна, и я хорошо помню, что, бывало, зимою, особенно в Великом посту, идя поутру в гимназию, я не встречал ни одной живой души. Память, однако, живо сохранила мне один день, когда эта улица была наводнена толпами сбежавшегося со всех концов Москвы народа. Гнали сквозь строй солдата, совершившего святотатство в церкви нашего прихода, какое — точно я не знал, но я вместе с другими мальчиками смотрел

эту ужасную казнь с чердака нашего дома, высунувшись из растворенного слухового окна, рискуя падежем на улицу. Я помню только, что я видел плотно сжатую кучу народа на всем протяжении, какое окидывал глаз, и двигавшуюся посредине группу или ряд, в котором я ничего не различал по своей близорукости, но я помню, как долго шли у нас разговоры о клочках истерзанного мяса на спине несчастного солдата, о дикой команде, его тащившей и над ним мучительствовавшей. Подобно другим запоздалым ужасам Русской земли, этот акт русской власти возбуждал во всех, кроме страха, чувство глубокого отвращения и затаенной злобы. Будучи всегда отчужденным от своей семьи, я всегда был более близок к простонародью — нашей прислуге, домовой дворне, и могу утверждать, что никогда во всех случаях своего сближения с народом мне не доводилось слышать добрых слов о какой бы то ни было русской власти, и для меня в настоящее время ясно, что я был и раньше прав, когда не верил ничьим излияниям преданности русскому царю, хотя сам лично, враждебно ощущаю полную неподготовленность русского народа к самостоятельной политической и общественной деятельности; до конца 1916 года принципиально стоял за сохранение самодержавия и лишь за несколько месяцев до революции изменил своей натуре, стал желать революции, о чем скажу подробнее, если успею, после. Теперь же считаю нужным сообщить на всякий случай, если эти записки мои попадутся на глаза психологу или физиологу, од-

но, не перестающее занимать меня в глубине моей души, наблюдение. Считаю нужным прибавить, что, в отличие от своих соотечественников, я буду говорить об этом обстоятельстве не только с полной искренностью, но и со всею доступной мне точностью. Оговорюсь заранее, однако, что сам я продолжаю относиться к этому обстоятельству очень смутно и никаких выводов из него не делаю.

Не знаю как другие, но я внутренне знаю себя, т. е., говоря принятым философским языком, сознаю свое личное «я» с той самой поры, как помню и свою внешнюю фигуру, не по отражению ее в зеркале, так как никогда, считая себя очень некрасивым и неприятным, на взгляд других, человеком, не любил смотреться в зеркало. Так вот, с той самой поры, как я вижу как будто себя ползущим по коридору в кухню и горько плачущим — вероятно, кто-нибудь на меня наступил — стало быть, приблизительно с трех лет, я совершенно ясно сознаю в себе эту свою внутреннюю натуру, свое личное «я», никогда не менявшееся и тогда уже сложившееся. Если существует так называемое развитие, то когда же оно совершилось, если я еще ребенком, тоже лежа на полу, просил, чтобы мне дали книг для чтения, и то единственное, чем я от своего отца пользовался, были книги. Как впоследствии, имея многочисленную семью, я всегда жил один, среди своих работ, друзей и службы, так и в отдаленном детстве я настолько был чужд всего окружающего, что узнавал о нем через своего юркого брата и, кратко говоря, имел уже тогда

весь тот характер, которым отличался в старости. Таким образом, для меня лично как будто не остается даже сомнения в том, что вместе с телом внутри меня жила определенная душа, что она отличалась такими стойкими сторонами характера, духовных наклонностей, своеобразных вкусов, что это замечали все, не исключая отца; моих братьев удивляла моя страсть к чтению, а товарищи в старших классах сулили мне профессуру.

Возвращаясь к рассказу, должен признаться, что эта моя нелюдимость спасала меня от многого зла, когда я, после смерти матери, был выселен на житье в чулан, соседний с кухнею, и очутился в обществе прислуги, из которой многие экземпляры были более или менее красивыми или миловидными девицами. Я подвергался понятным опасностям для своих юных лет, и только в 20-ть лет был влюблен, и то в свою будущую жену. Я рисковал сделаться навсегда болезненным меланхоликом или вовсе нравственным уродом, если бы в то же время не было у меня, более или менее постоянно, привязанности к некоторым друзьям, а также пламенной религиозности, в силу которой я не только прислуживал в церкви, но и пел на клиросе, порою вместо дьячка, даже когда был студентом. Благодаря моей слабонервности, церковная служба и пение действуют на меня доселе так сильно, что я должен избегать продолжительных служений. К тому же жизнь моя у отца становилась все тяжелее, благодаря следующему обстоятельству: мой младший брат Яков, о котором я те-

перь скажу несколько слов, после смерти матери остался маленьким ребенком; в противоположность нам ему брали кормилиц, нянек, звали докторов во время его болезней, но затем отец обратил меня в няньку Якова, а я имел слабость, за отсутствием других привязанностей, увлечься этим занятием и сделался в своем роде образцовой нянькой, чему немало дивились в доме. Но Яков подрастал, тяжело было его учение, он так и не кончил курса, был удален из гимназии, и когда отец умер, то он получил в наследство завещанный именно ему целиком весь капитал. Отец скопил, будучи главноуправляющим имений с миллионным доходом, только 17-ть тысяч рублей, так как получал по собственному определению три тысячи рублей ассигнациями жалования. Получив эту сумму в руки, Яков стал кутить и играть на бирже, потерял все деньги, стал пить и рано умер.

За все это унылое время моей жизни, когда я находил утешение и интерес к жизни только в среде гимназических товарищей, которых изредка посещал сам, опасаясь своей дикости и невоспитанности, я имел только один месяц довольства и добрых ощущений — это были две моих поездки в одно из имений Трубецких, село Спасское Подольского уезда, в котором некогда был богатый каменный дом со службами, чудный сад, а главное — дубовые рощи, в которых я с мальчишками проводил все свое свободное время. Эти два моих выезда из дому были вызваны тем обстоятельством, что отец, уезжая на лето для ревизии мно-

гих имений, из экономии не хотел оставлять дома лишнего хозяйства, а он брал с собою в дорогу Мишу, старший же брат Валерьян и без того давно из дому ушел и жил на кондициях, как тогда говорили; Яков же был передан кому-то на воспитание. Это мое пребывание в Спасском среди природы оставило во мне доселе чарующее воспоминание, и им объясняется для меня самого моя мания — иметь при жизни угол в деревне.

Так кончил я ученье в гимназии одним из первых учеников — а у нас их было или пять или шесть, имевших почти полное пять в отметках, причем я иногда становился вторым, благодаря преследованию француза за мое тогдашнее произношение. Кстати сказать, я впоследствии, благодаря личным усилиям, усвоил себе порядочное произношение французское и немецкое и еще в гимназии пристрастился до упоения к чтению исторических книг и прямо поглощал сочинения Петра Кудрявцева, Пропилеи и вообще издания Леонтьева и выучился читать свободно по-немецки в силу желания читать историков.

Мы с братом кончили гимназию с чином XIV класса, и отец немедленно отпустил Мишу в деревню на угощение, а я остался один в квартире с кухаркой, которой по расчету были выданы на наше общее содержание скудные донельзя деньги; правда, и без того мы не привыкли к хорошему и обильному столу, и самым вкусным для нас блюдом был крупеник из гречневой каши с творогом, сменявшийся картофелем под бешамелью. Хлеба,

однако, было у нас вдоволь, пекли его дома и хорошо. Как теперь вспоминаю, с некоторой даже жуткой чуткостью ко всем подробностям, я, получив от отца три рубля за последний месяц занятий с Михаилом и отказ взять меня с собой в деревню, впал в мрачное настроение, продолжавшееся у меня несколько тяжелых дней. На эти три рубля я купил себе чаю, немного сахару и порошку какао, который я очень любил пить с молоком. Из этого отчаяния, в которое я готов был впасть, меня выручил только счастливый случай, и я с особою сердечностью вспоминаю того человека, который меня собственно выручил — это был Константин Павлович Семенов, молодой студент историко-филологического факультета, живший по соседству на Покровке со своею семьею — матерью, сестрою и теткою. Он был сын какого-то чиновника, оставившего семье небольшое состояние, которое семья проживала, дополняя его платою за уроки, даваемые сыном. Кроме того, тетушка, девица и старушка, держала в Замоскворечье табачную лавочку и тоже поддерживала хозяйство. Семенов был чрезвычайно высокого роста, необыкновенной широты в плечах, худой и угловатый, замечательно умный, точный, наблюдательный и в то же время застенчивый и строгий к себе и другим человек. Нас сблизило книголюбие и походы под Сухаревку за поисками старых и дешевых книг. Тем не менее, я бывал у Семенова редко, и, только благодаря расположению к себе этой тетушки, решился, едва ли не на другой день после отъезда отца, пойти к

ним; кстати, Семенов кончил ранее университет кандидатом и успел переехать на дачу, которую они наняли где-то за Калужской заставой, очень дешево по случаю. Это не была собственно дача, а большой каменный дом с колоннами и фронтоном — остаток подмосковного имения. Немец, барон, из обедневших прожектеров, нанял его под какую-то фабрику, но фабрики не завел и, бросив в доме семью, уехал, предоставив ей устраиваться на жительство. Семья принуждена была изыскивать средства к существованию разными путями, между прочим, сдачею многочисленных помещений дома под дачи. И вот Семеновы поселились у баронессы. Как теперь помню, я, не зная в то время никаких приличий, пришел к Семенову еще утром, был радушно им принять, и, под влиянием всего приема, для меня мало обычного, впал в откровенность, а затем, мало-помалу стараясь изобразить ему свою горькую жизнь, перешел к излияниям и стал истерически плакать. Должно быть, это продолжалось долго, так как я помню появление при этом его матушки, а затем и своего рода семейное совещание. Я был оставлен на весь день и даже на ночевку на даче, а главное, немедленно устроен в дом учителем детей баронессы Софьи Федоровны (фамилии не помню), как теперь припоминаю, с жалованьем 15 рублей в месяц на полном содержании. Высшим счастьем для меня было общение с Константином Павловичем, а равно невиданным развлечением — прогулки с ним по окрестностям и вечера, проводимые на воздухе среди разной моло-

дежи, многочисленных посетителей гостеприимного дома Семеновых, его товарищей и обитателей нашего дома. Здесь впервые я сколько-нибудь воспитался, а был я нестерпимо, в общественном смысле, неуклюж и резок, в то же время застенчив и пуглив и неповоротлив. Дружба моя с Семеновым от времени только росла вместе с моим почитанием его до, увы, ранней его смерти от злой чахотки, унесшей его в могилу не старше 25 лет. Для меня всегда останется памятным образ этого человека, как живой упрек русскому обществу. Я вновь повторяю, что это был человек замечательный, а из дальнейшего, может быть, будет видно, что такую оценку я делаю вообще неохотно. Я помню, как зимой и летом был занят он всегда чтением или работою в своей библиотеке, а в руках у него бывали нередко при этом фолианты древних классиков парижской печати XVIII века, и разбирал он в них различные тонкости стихов Катулла. И вот никто из профессоров факультета не обратил никакого внимания на него, этого тончайшего в духовном отношении слушателя, и не подумал оставить его при университете, посвятить профессуре. Правда, Семенов был горд и к профессорам с заднего крыльца не ходил и любезностей им не говорил. Семенов же был причиною того, что я, вместо занятий историей, которой я в те поры увлекался, решился слепо последовать его совету и специализироваться по истории искусства, руководясь, прежде всего, как он говорил, тем, что это предмет совершенно новый в России, никому неизвестный,

мне легче будет по нем получить кафедру, меня будут просить, а не я буду искать кафедры и т. д.

В своем выборе я никогда не раскаивался, так как в своих занятиях по истории искусства я смог, кроме эстетического наслаждения, найти и духовное удовлетворение. Конечно, впоследствии, когда в Одесском университете я сошелся почти исключительно с профессорами естественного факультета: Сеченовым, Мечниковым, Ковалевским, Головкинским, Умовым, я жалел или внутренне сокрушался, что при своей страсти к науке не избрал также естественного факультета, так как чувствовал в то время, что предмет мой никому не нужен, но это было своего рода малодушие, ибо в то же время я ясно сознавал при поступлении в университет свое внутреннее влечение к историческим наукам.

Ко времени своего университетского курса, подчиняясь отчасти влиянию новых кружков, меня охвативших, я стал радикалом и находил в этом некоторое утешение в своей тяжелой жизни. Все годы университетского курса я должен был давать уроки, совершая почти ежедневные походы с Покровки на Арбат и даже на Девичье Поле, по рублю, а иногда по полтора рубля за час. Будучи освобожден от платы, я получал также стипендию — восемь рублей с копейками в месяц, что было для меня большой находкой. Я мог расходовать на завтраки и даже обеды по 20 и 30 копеек, на расстегаи с парою чая в трактире по 25-ти копеек и даже ходить в театр, конечно, в рай, но исключительно в Малый, т. е. в драматический,

стоявший тогда на исключительной высоте. Ради того, чтобы слушать Ристори, я даже абонировался в райке на 6 ее представлений, за что и уплатил три рубля серебром. Чтобы понимать игру, я покупал, кроме того, либретто пьес и выучился читать на итальянском языке. Характерно то, что когда и во второй ее приезд в Москву, помнится года через два, я абонировался тоже в раек, но восседал уже на каждом спектакле в креслах партера, так как театр на всех представлениях Ристори — а она давала спектакли в Большом театре, привезя всю свою труппу, — бывал совершенно пустой, от партера до райка включительно. Такова русская публика — надо быть справедливым — всех русских городов, сколько я мог в своей жизни судить. Вкус к театру есть дело моды везде, не в одной России, и нуждается в рекламе больше всех остальных вкусов, но для меня лично до сих пор осталось в памяти болезненное ощущение этого первого урока; тоже было на моих глазах с изумительным трагиком Олриджем, великим трагиком Грассо и даже просто русскими труппами, приезжавшими в провинцию. О вкусах, конечно, не следует спорить, но всякому у кого сколько-нибудь развился вкус, особенно в области эстетической, следует не только наставлять других, но, как я убедился, вдалбливать другим, как то делал покойный В. В. Стасов. Правда, я лично в жизни никогда не имел охоты писать какие бы то ни было критические статьи в поучение другим, будучи враждебно равнодушен ко вкусам и мнениям русского общества и даже

окружавших меня научных кружков. Сказать, уже кстати, я стал заниматься историей искусства, несмотря на то, что все общество моего времени, начиная с 60-х годов, на протяжении сорока лет слишком, было настроено материалистично и открыто враждебно к искусству; отсюда получилось основное публицистическое направление русской живописи.

Но надо сказать, прежде всего, о Московском университете моего времени, как известно, стоявшем тогда столь высоко, как, очевидно, ни в одном периоде его существования стоять ему не доводилось. Недаром и в литературе уже составился своего рода ореол, которым этот университет гордится и доселе. Правду сказать, однако, этот ореол в значительной степени обязан своим появлением, во-1-х, патриотизму москвичей, а во-2-х, тому самому романтизму литературных воспоминаний, на который я уже указал выше, как на их основной тон. На самом деле Московский университет и в мое время в среде своей профессуры представлял много такой ветоши, что, конечно, ни один иностранный университет не потерпел бы в своих стенах. На меня лично удручающее впечатление сделало то, что я, имея только 16 лет и несколько месяцев от роду, должен был пройти ряд канцелярий и приемных, прежде нежели я получил разрешение поступить в университет. Памятно мне, как я при этом представлялся и ректору Альфонскому, восседавшему на креслах и даже не поднявшему на меня глаз в качестве высокого мандарина. Неприятно

удивило и то, как некий столоначальник правления, толстый и солидный, выдав мне, наконец, разрешение, зазвал меня из коридора в боковую комнату и потребовал «за хлопоты»; я дал ему три рубля на радостях, и он удовлетворился. Один старый служивый швейцар Московского университета изображал мне в лицах, как студенты ходят в университет в разные годы своего учения: с крайней робостью и почти на цыпочках сначала, самоуверенно и с достоинством на второй год, нахально и презрительно на последнем курсе. Говорят, что так бывает и доселе. Я, к сожалению, этого не знаю, так как, признаюсь, во время моего учения не замечал, сам же всегда относился к университету не только с почтением, но и с некоторым страхом, а затем, будучи уже профессором, не мог наблюдать студентов: на студентов мне тошно было смотреть и в аудитории, а тем более в коридорах. Говорю же об этом только потому, что среди своих товарищей студентов я знал гораздо больше искусных зоилов, чем ценителей. Между тем многие из этих зоилов не только ходили к профессорам в положенное для них время, но также забегали и в будни и зачастую с заднего крыльца, главным образом заслужив расположение дамской половины. Эти товарищи — укажу прямо на одного, славившегося у нас умением околпачивать какого угодно профессора, даже на пари — А. И. Кирпичникова, в котором души не чаяли одновременно профессора самых разнообразных кафедр. Очень понятно будет, если я скажу, что околпачивали, по преимуществу,

именно ветошных профессоров, так как все же к чести молодежи большинство ее льнуло к лучшим профессорам. Что же я должен буду сказать о теперешнем университете, при том каком угодно, на выбор, когда в нем вы обыкновенно слышите панегирики одному или двум профессорам, тогда как всех остальных студенты прямо позорят в своих разговорах друг с другом, как если бы это были их кровные враги. И современное искание популярности в профессорском кругу есть, увы, жестокая, но полная необходимость. Впрочем, об этой наглости молодого поколения я буду говорить после.

Для меня лично, с самого моего поступления и доселе, истинным ореолом окружена память профессора и в те поры уже академика, Федора Ивановича Буслаева. Хотя я слушал его исключительно по литературе — русской и иностранной, но, пользуясь его широко открытыми для студентов приемами, ходил к нему часто, брал книги, слушал его с обожанием, а уже по выходе из университета стал заниматься христианским искусством именно под его влиянием. Правда, и здесь мне нравилась известная свежесть этого отдела, едва начатого разработкой, так как меня всегда привлекало больше стремление к знанию и пониманию, чем к эрудиции и поклонению авторитетам. В лице Буслаева я должен, прежде всего, выразить полное свое согласие с [мнением о][13] варварском отношении русского общества к своим знаменитостям.

---

13 Слова вставлены составителем.

Кто, кто, а, казалось бы, уж Буслаев заслуживал быть упомянут в том календаре — «Властителей русской мысли», которые, например, печатаются по новому обычаю при месяцесловах и записных книжках. Какой только презренной шушеры в качестве писателей или артистов, адвокатов не поминают у нас там, в дни их рождений и смерти. Вы не находите только вовсе там ученых, не только что старых, но даже, например, Мечникова, как не встретите даже таких крупных лиц, как Витте или Победоносцев. Вот уже подлинно народ, которого просвещение свелось только к тому, что он чтит гистрионов, — прославленную Тургеневым Савину, как лучшую актрису на роли каторжанок, или пьяных велосипедистов Уточкина, Бутылкина и Бугаева. Однажды в разговоре с академиком А. Н. Веселовским, который был также учеником Буслаева, но затем отделился от него, выработав свою полосу в науке, притом очень обширную, говоря о Буслаеве, я предложил ему признать, что он заслуживает быть признан гениальным ученым, и получил от него полное согласие. Это был, прежде всего, человек необыкновенно талантливый, но к тому же, по счастью, удачливый в своей жизни. Я имею некоторое сходство с ним по условиям своей ученой карьеры, в том отношении, что первое время молодости также был учителем и своею ученой карьерой обязан частым поездкам за границу для изучения музеев и памятников Запада и греческого Востока. Но, тогда как в мое время эти поездки были возможны уже при небольших средствах, Буслаев

в молодости не мог бы сам исполнить того же, но ему посчастливилось найти [покровителя][14] в лице Сергея Григорьевича Строганова, пригласившего его быть учителем сына — Григория Сергеевича на время продолжительного пребывания в Италии. Будущий историк русской литературы и исследователь русского языка образовался, таким образом, разом в художественном и общеисторическом отношении и стал европейцем в истинном смысле этого слова. Здесь не место оценивать все то, что сделал он для русской археологии, но нельзя обойти молчанием его исторической роли в ходе русского просвещения. Дело в том, что Ф. И. Буслаев был настоящим западником, но не мог примкнуть к тому общему направлению русских западников 40-х и 50-х годов прошлого века, которые в своем крайнем западничестве относились с критической враждой ко всей русской старине. Известно, как высмеивали Буслаева в юмористическом журнале «Свисток» фельетонисты под диктовку Добролюбова и Чернышевского. В то же время Буслаев не мог иметь ничего общего и с лагерем славянофилов, и его любимым заключительным словом на лекциях было обычно сопоставление характерного тождества мыслей и взглядов в литературных произведениях Запада от XII и XIV веков с русскими памятниками XVII века. Буслаев читал нам одновременно русскую литературу и западную, что было тем более интересно, что на факультете не было вовсе

---

[14] Слово вставлено составителем.

кафедры иностранной литературы. Каждая почти его лекция, происходившая в большой аудитории, заканчивалась рукоплесканиями. Она была целиком написана превосходным буслаевским слогом и прочитывалась громко, с чувством и толком. Лично я не знал более красивого чтеца. Это было нечто среднее между русской манерой чтения лекций, простой, чуждой выражения, отвечающей содержанию без всякого построения, а потому лишенной заранее убедительности, и манеры французской, дающей в конце концов какую-то светскую или научную проповедь. Насколько нас очаровывали лекции Буслаева и Леонтьева, настолько же холодно относились мы к лекциям С. М. Соловьева, хотя каждая из них была построена систематично и искусно, но была лишена для нас той живой занимательности, какой обладал Буслаев. Это были два совсем разных человека на кафедрах; Соловьев представлял собою своего рода делопроизводителя или государственного секретаря, бесстрастным голосом, с закрытыми глазами, прочитывавшего протоколы исторических дел; Буслаев же читал об испанском Сиде с оживлением настоящего каталонца. К тому же это был красивый мужчина, высокого роста, с могущественной головой, тонкого духовного типа, напоминавшего весьма близко традиционную голову ап. Павла, со взлыслым лбом, крючковатым слегка носом, большими и открытыми глазами и выразительным очерком губ. Подчиняясь общему закону, Буслаев старался подчеркнуть природные особенности своей физионо-

мии, обладавшей редким в России продолговатым и правильным, книзу суженным овалом, или подстригая свою бороду или даже оставляя одну эспаньолку. В объяснение своего сравнения маски лица Буслаева с головой ап. Павла, я должен сказать, что византийцы, создавшие этот тип, наряду с типом ап. Петра, характерного греческого рыбака, в лице ап. Павла отметили тип патриция восточных провинций Римской империи — намеренно забывая, что бывший Савл, став апостолом, добывал себе хлеб производством матрасов. Всех нас удивляла и занимала в то же время странная манера буслаевского разговора. Ф. И. в ответе ли на вопрос или начав разговор, приставая ли к беседующим, всегда начинал свои ответы отрывочными словами, вне порядка, или даже междометиями: «да, да, да», «нет-с, нет-с» и проч. И так говорил он долго, как вдруг, словно из ряда нахлынувших в его мозгу мыслей, он останавливался на одной, к нему возвращался привычный дар слова, и он поражал вас тонкостью своего ответа. Что же было, когда его осаждал нередко десяток студентов? Был он приветлив, хлебосолен и гостеприимен до конца дней своих, даже, когда совсем ослепши, сидел недвижно в своем кресле и только слушал собеседников. Также гостеприимна была его первая жена, урожденная Сиротинина, имевшая вид английской леди по своему одинаково приветливому обращению со всеми. Как теперь помню, в квартире Буслаева, у Неопалимой Купины, за длинным, собранным из ломберных столов, столом толпились,

большинство стоя, немногие сидя, со стаканами чая у различных закусок все вместе — и профессора, писатели и художники, дамы и студенты. И Федор Иванович настойчиво угощал всех, предлагая то или другое, подавая папиросы, закуривая сигару. При мне было: он поучал кого-то собственным примером: «я-с и курю все, и папиросы и сигары, и нюхаю-с» — следовал заряд в нос на глазах собеседника. «Да-с, в жизни надо всем пользоваться, что есть хорошего: и водку пить и красное вино, если можно достать, то итальянское». Так жил и так действительно поступал, расходуя все, что получал, не делая никаких сбережений и в отставке довольствуясь своей пенсией. Библиотека была у Буслаева громадная, особенно драгоценная по своим лицевым рукописям и художественным изданиям. Книги закупал он особенно во время выездов своих за границу; именно ради своих расходов на книги, он, помимо чисто научных работ, занимался изданием русской грамматики, исторической хрестоматии, дававших ему для того достаточные средства. Всякой политики, а тем более университетской, чуждался, всяких постов избегал, а когда на моей памяти принял ненадолго место учебного инспектора в одном из женских учебных заведений, быстро с него ушел, тотчас не поладив с начальницей. Заканчивая это свое посильное слово о незабвенном для меня учителе, я должен сказать, что лучший очерк его личности каждый сам может составить, прочитав его «Воспоминания», которых, однако, никто не нашел доселе

нужным перепечатать из «Вестника Европы», где они были напечатаны [15]. Помню также хорошо, сколько ни был я знаком, мне никогда не довелось с ним спорить, да и он сам, в отличие истинно русских людей, не был спорщиком, от споров уклонялся, хотя говорил с волнением то, что он думал.

И самые отповеди были всегда краткие. Я помню две следующие, ручаясь в то же время за фактическую точность выпадов Буслаева. Московский университет задумал произвести в почетные доктора Алексея Николаевича Веселовского, ставшего широко известным в журнальной литературе своими этюдами о Мольере. Веселовский был очень милый москвич, но далеко не был ученым в отличие от своего ученого брата. Буслаев возражал факультету и, как он мне сам рассказывал, выразился так: «Господа-с, я завтра пришлю вам своего дворника; сделайте его, пожалуйста, почетным доктором». Конечно, затем сконфузился и ушел. Стал он Председателем Общества Любителей Российской Словесности, и вот приносят ему программу литературного вечера, и он видит там фамилию... «Это кто такой? — спрашиваю я». «А это известный писатель, были его очерки Сибири, знаете, был ссыльным, теперь возращен». Буслаев задумался и в тот же день послал отказ от звания

15 Прим. ред. Здесь память изменила Никодиму Павловичу. Воспоминания Ф. И. Буслаева были изданы отдельной книжкой в Москве в 1897 г. В. Г. фон-Боолем. [Прим. сост.: *Буслаев Ф. И.* Мои воспоминания. М., 1897. VIII + 387 с.]

председателя: ссыльный был ему вовсе неизвестен, и он, выражаясь его словами, «не хотел быть хозяином литературного заседания, на котором представляют не писателей, а ссыльных». Мягкость характера Феодора Ивановича была известна всей Москве, и в университетском совете ему тяжело было бывать. Та же мягкость мешала ему открыто порицать в русской жизни накопленную веками мерзость и [позволяла][16] довольствоваться чрезвычайно малым, даже в умственном отношении. Нечего говорить и о том, до чего он был непритязателен в жизни. Главные его развлечения состояли в опере, которой он наслаждался, как юноша. Раза два он приглашал меня на Лукку, певшую в Москве, помнится в 70-м году, и сидел в ложе позади всех; никакими уговорами я не мог убедить его сесть, если не впереди, то хотя рядом. «Нет, говорит он, я слушаю оперу, вовсе закрывши глаза, и тогда истинно наслаждаюсь: не могу видеть, как певица, открывая по правилам широко рот, поет партнеру прямо в нос».

Жизнь его была устроена так: на каждое утро работа на два-три часа, но ежедневно; затем завтрак и прогулка перед обедом, но какая! Феодор Иванович ехал на извозчике на бульвар в ясную погоду, летом и зимой, гулял по бульвару и без усталости возвращался домой пешком. Бывая в Италии, он летом шел на осмотр музеев или церкви с пледом в руках и надевал его, входя, ибо в

16 Слово вставлено составителем.

церквах и музеях летом в Италии холодно и очень легко простудиться. Затем обедал, немного отдыхал, пил чай, за чаем принимал знакомых — поутру допускал к себе только для занятий и никогда не заводил длинных разговоров, как то делают все русские люди. После чая садился за работу, затем ужинал и читал или слушал чтение романов, прочитывая массы книг, а под конец даже имел при себе чтицу. С сожалением расставаясь с памятью незабвенного для меня человека, припоминаю его фразу, в последнее с ним свидание. «Благодаря Бога-с я прожил хорошо и приятно, много хороших людей знал и многим наслаждался, и, если бы Господь Бог даровал мне вторую жизнь, я бы ему сказал: „Очень рад, я готов повторить ее!“». В этом я только с ним радикально не согласен: я принял бы предложение с благодарностью, но с одним условием: не в России.

На втором месте по природной даровитости ставил я тогда и теперь Павла Михайловича Леонтьева, знаменитого оракула в истории русского классицизма. Увы, и ему не следовало бы родиться в России. Это был человек тончайшего аналитического ума, который с одинаковым совершенством разбирал умопомрачительные тонкости Тацитовского текста, расходы по изданию крупной газеты, расходы учителя среднеучебного заведения, выгоды и невыгоды различных печатных шрифтов. Все это исполнял он с непоколебимым усердием и полным хладнокровием, и мало того, со второй половины своей жизни, как нераздельный владыка, в

областях высшей властью ему вверенных. Но все его невероятные труды и усилия походили, собственно, на удары тонкой дамасской сабли по корявому полену: отскакивали во все стороны щепки, но пропала и сама сабля. Уже и то наводит грусть, что его имя обречено в памяти нашей интеллигенции на проклятие, и можно даже поблагодарить судьбу за то, что оно ныне предано забвению. Студенты его не любили, но боялись, а профессора чуждались, он был для них слишком умен и тонок. Это был низенького роста горбун с большою головою, плотно вдавшейся в плечи, озаренной двумя большими глазами, ярко горевшими из-под очков, длинные волосы — шевелюра гетингенских ученых — падала ему на плечи и спину и, жестикулируя костистыми и угловатыми пальцами в воздух, он, бывало, стоя неподвижно на кафедре, развивал перед нами историческую или филологическую теорию. Начиная медленным прерывистым голосом и как будто надсаживаясь над длинным периодом, он не сразу овладевал выражением своей мысли. Он читал нам начало Римской истории по Нибуру, влагая в их исследование гораздо более идейных мыслей, чем у самого Нибура имеется, как то я узнал после. У меня до сих пор в памяти целая лекция, посвященная пуццолане, основной почве римской Кампании и столь известной по ее приложению к древнейшим памятникам Рима и галереям римских катакомб. Также воодушевляясь, излагал он теорию римских коммиций и основ государственного права. Но что было его исключи-

тельною силою — это страсть и способность к тончайшим толкованиям понятий, содержащихся в слове, будь оно латинское, греческое или русское: читая нам «Жизнь Агриколы» Тацита, он разбирал каждое отвлеченное понятие в этом граненом тексте глубочайшего писателя, природные алмазы народных слов, проходя сквозь его тончайший анализ, выходили перед нами, наподобие словесных брильянтов. Увы, те же воспоминания мне говорят, что разве только двое или трое из его слушателей воспринимали плоды этого анализа и наслаждались его исполнением. Это мне напоминает мою собственную неудачу в гимназии, когда, пробуя заинтересовать учеников розысками корней, суффиксов и приставок в русском слове, я тоже находил даже для этой простой задачи не более двух-трех процентов участвующих. Быть может, просто говоря, и вся чудовищная незадача классицизма, введенного в систему средних учебных заведений, обязана отсутствию контингента способных воспринять эту систему в ее основном духовном содержании. К сожалению, Леонтьев, читавший только на старших курсах, был как раз в мое время весь захвачен «Московскими Ведомостями», публицистической борьбою с польским восстанием, и мог посвящать нам очень мало времени, так по Тациту он всего-навсего прочитал 4 лекции. Впоследствии он и вовсе не находил времени для чтения лекций, будучи безбожно завален бездельником Катковым по всем делам «Русского Вестника» и «Московских Ведомостей». Будучи, однако, че-

ловеком строгих правил, а также ревнуя о своем добром имени, Леонтьев решился прекратить лекции в университете, уступив свое жалованье, но оставшись все-таки профессором. Вся политическая шушера в корпорации московских профессоров как бы дожидалась этого случая, чтобы устроить Леонтьеву грандиозный скандал с тем единодушием, которое всегда находят у себя русские партии, хотя бы в их среде, по русскому обычаю, не было и трех человек, между собою согласных. Говорят, будто Леонтьев был жестоко обижен произведенным скандалом и кому-то из своих врагов выразился об этом прямо: «Вы лизнули моей крови». Когда, затем, под влиянием политических видов русского правительства после 1881 года, задумано было уничтожение университетской автономии, фирма Каткова и Леонтьева приняла в этом деле живейшее участие и наклонила дело выработки нового устава по такому спуску, который привел к окончательному разорению русских университетов, о чем, однако, я должен буду сказать подробнее в своем месте, равно как и о том злостном участии той же фирмы в деле водворения классицизма в России. Здесь, однако, я должен установить один для меня совершенно ясный факт — нарождения самой идеи нового устава университетского, а равно и классической системы именно в Москве на почве блестящей профессуры Московского университета.

Чтобы этот исторический факт был опознан и другими в его полноте и значении, я должен сказать об этом более подробно, а в данном случае это

будет потому совершенно здесь на месте, что именно Леонтьев является самым блестящим представителем того принципа московской профессуры, который был в 50-х и 60-х годах поддерживаем с особым блеском. Конечно, этот принцип проводили не менее блистательно профессора: Грановский, Кудрявцев, Крюков, Ешевский и впоследствии Герье и многие др., но они не возводили его в прочную и ясную систему. Никто, как Леонтьев, не отдал всю свою жизнь на усвоение высших результатов немецкой философии и германской филологии. Известно, как мало оставил он после себя самостоятельных работ, но еще более важно то, что он принципиально в деле профессуры ставил выше всего преподавание науки, а не ученые труды. Отсюда требование продолжительной подготовки, притом под руководством немецких университетов, отсюда это [стремление][17] сохранить, хотя бы в пределах одного или двух факультетов, ту образовательную школу, которую, по его мнению, должен был порождать в стране европейский гуманизм путем классической системы. В 80-х годах заговаривали уже о представлении профессорами программ в факультете, и одно время казалось, что правительство в своем позорном страхе перед двумя-тремя либеральными болтунами, лишит профессорские кафедры права на научные занятия. Что было еще более дико, в 1911 году питомцем Московского университета и его профессором —

[17] Слово вставлено составителем.

классиком А. Н. Шварцем был предпринят своего рода жандармский поход на университеты с целью передачи всего дела подготовки русских ученых в руки немецких профессоров. Правда, что и Шварц сравнительно с Леонтьевым был полным научным и человеческим ничтожеством.

Свою характеристику московской профессуры закончу краткими отзывами о других профессорах. Мало кого можно помянуть из них вполне добрым словом. Профессор греческой элоквенции Меньшиков был настоящая ветошь, в свое время знаток греческих авторов, особенно трагиков, он читал нам преимущественно Эсхила, силясь дать понятие его высоких красот, но, лишенный дара слова, переводил нескладно и топорно, а когда он пробовал представить нам лай Эриний или высокопарную царскую речь — выходила комедия. Мы были жестокими критиками выжившего из ума старца и сопровождали его объяснения водевильными возгласами с лавок. И хотя я сам был тихим студентом и врагом всяких выходок, но, возмущенный тупостью лектора, учинил в аудитории Меньшикова своеобразное представление: я сел на парту под его кафедрой и жестами подражал его движениям, следя за интонациями его голоса, то поднимая обе руки вверх грозным движением, то молитвенной просьбой, то повелением, то гордым отказом — аудитория отвечала мне рукоплесканиями и свистом. Обеспокоенный Меньшиков таки увидал немую сцену под своей кафедрой, но не сказал ни слова. Он рад был и тому, что его слушали, и сту-

денты этим пользовались. Ему подавали даже кандидатские сочинения; по отзывам авторов, стоило только на бумагу плюнуть, плевок подписать фамилией и отнести Меньшикову. Он сам тонким голосом однажды, зазвавши нас всех к себе на вечер с угощениями и танцами, сообщил, что, к сожалению, квартира его была так тесна, что книги пришлось отправить в чулан за кухней. Его скоро, впрочем, убрали.

Но нечем добрым помянуть и другого профессора греческого языка Пеховского, который на первом курсе с самого начала нам стал преподавать взгляд на греческий язык с точки зрения лингвистики и сравнительного языкознания. Большинство из нас совершенно не знали греческого языка и не могло даже читать Ксенофонта, но Пеховский, нисколько этим не смущаясь, делал на лекции такие замечания: «Вы знаете Курциуса, ну, Вы это забудьте». Большинство не знало ничего до такой степени, что, когда одному из моих товарищей я объяснил, что он напрасно смешивает некоторые глаголы, то он с убеждением мне на это заметил: «Это уже тонкости. Их и сам Пеховский не знает». Кто знал что-нибудь, тот по желанию Пеховского забыл действительно.

Добрым и чрезвычайно усердным лектором был Г. А. Иванов, которого, однако, студенты прозвали «дама в рыбьем чине».

Более видным человеком был большой оригинал в своем роде — профессор славянских наречий Осип Максимович Бодянский, облюбовавший наш

курс и читавший нам ряд лекций по истории Болгарии, славянскому народоописанию и равно занимавший нас переводами с польского, чешского и сербского языков. Это был полтавский уроженец, чистокровный хохол не без хитрости, но в то же время истинный подвижник науки, как он ее понимал. Всех остальных профессоров он считал или поверхностными, или неосновательными учеными, а равно из всех наук признавал лишь те, которые относились к славянству и России; что же касается студентов, то понимал их как молчаливых слушателей, ни к чему не подготовленных и ничего не знающих. Наш курс, им облюбованный и в конец замученный его чтениями, от которых мутился разум, изнемогал слух и зрение и ныли пальцевые кости от 2-х часового писания, наконец, возмутился. Согласившись со старшим курсом, который одновременно с нами слушал славянское народоописание, мы среди года вдруг перестали посещать его лекции. Бодянский вытерпел такое поношение около недели, затем, придя на лекцию и прочитав ее, он обратился к нам с кратким, но сильным поучением, гласившим, что если мы что-либо имеем против его чтений, то должны объяснить ему приватно, и он готов изменить содержание или форму его чтений, но если мы вовсе не хотим его слушать, то ему больше ничего не остается, как покинуть кафедру и «пойти в дровосеки». Мы знали от других профессоров, что уважаемый Осип Максимович, действительно, кроме книжных занятий, умел только колоть дрова, чем и занимался для

моциона. Правду сказать, Бодянский был ученый XVII века в том типе, какой знала, например, Польша, — собиратель фактов, а не их критический исследователь, и подавлял слушателей массою неразобранного материала, а равно и тяжестью не переваренных им самим исторических теорий и построений. К выпускному экзамену по его предмету мы готовились, как я хорошо помню, 9 дней и 9 ночей, и в последний день, начав друг друга переспрашивать, мы, оказалось, все перезабыли и ни в зуб толкнуть не могли на такие ехидные вопросы по истории, как, например, Болгария от такого-то до такого-то года. Ужас наш перед неистовым Бодею был так велик, что, идя на экзамен, иные из нас не могли даже прочитать вопроса. Но Бодянский был добродушен, а к тому же в самом начале экзамена успел одному из своих ассистентов доказать, что прав в затронутом вопросе не он, а студент, а потому после этого он уже стал студентов одобрять и похваливать, излагая сам ответ на вопрос. Провалил он при этом на экзамене всего только двух человек, а остальных выпустил, но с поучением, очевидно, припомнив нам нашу выходку.

Уже на старших курсах стали слушать мы философию, вернее общий курс ее истории, у Панфила Даниловича Юркевича. Он появился в Московском университете еще в 1863 году по особому приглашению Каткова и Леонтьева и прочел ряд публичных лекций, имевших своею темою полемику с материализмом и атеизмом, или, как тогда уже было принято выражаться, по тургеневскому

термину, с русским нигилизмом, какие бы разновидности он не принимал. На эти публичные лекции были выдаваемы билеты и студентам, и мы тогда немало дивились тому блестящему, невиданному в университете съезду московской знати, аристократии и всех следивших за модою людей, для которых отведен был актовый зал, едва вмещавший тысячи съезжавшихся слушателей. Как велико было затем разочарование всех поклонников Юркевича и равно и его самого, когда он перешел затем к чтению официальных профессорских курсов. Из 20-ти обязательных слушателей на его лекциях появлялось едва пять-шесть человек, и я хорошо помню глубокое невежество студентов, прибегавших к долблению наизусть лекционных тетрадок, за неспособностью понять их содержание. Лично меня эти лекции интересовали исключительно в историческом отношении, и я, несмотря на полную ясность изложения сложных философских систем, сохранил к ним полнейшее равнодушие, ни одной из них не избрав для себя предпочтительно. Уже в то время и доселе из всех этих систем предпочитал я Шопенгауэра, вероятно, потому, что он наиболее отвечает моему собственному направлению в мышлении. Лекции по философии записывали только мы двое: Ключевский и я, и по ним готовился весь курс. Кончилось дело тем, что Юркевич усмотрел во мне «во всяком разе способную голову». И вот месяца за два до нашего выпускного экзамена он пригласил меня к себе, стал спрашивать, какие виды имею я по окончании

курса и не думаю ли я заняться философией. Когда я наотрез отказался, указав ему на свое пристрастие к истории искусства, то он перешел к другому предложению — кондиций на Кавказ в семью графа Евдокимова, известного кавказского служаки, который обратился именно к Юркевичу за указанием ему молодого воспитателя его детей в консервативном духе. От места гувернера я отказался наотрез.

Меня мог оставить при университете стипендиатом для приготовления к профессорскому званию Карл Карлович Герц, бывший раньше только лектором этого предмета, а с 1863 года ставший профессором по вновь назначенной кафедре; он мог бы сделать это тем легче и натуральнее, что у него с самого начала моего поступления в университет и до самого конца моего в нем пребывания никаких иных слушателей не бывало, кроме меня и тех немногих знакомых студентов, которых я зазывал к нему на лекции, долго и напрасно пытаясь хотя кого-либо заинтересовать этим предметом. Ни одного постоянного слушателя, кроме меня, не находилось. Мои товарищи выражали мне обычно полное презрение к этому предмету, а ближайшим приятелям казалось даже странным, что я, будучи радикалом, облюбовал такой предмет. Очень понятно, с другой стороны, что самое отношение ко мне К. К. Герца было более, чем осторожное. В качестве немца, и притом русского, знавшего хорошо приверженность русского человека к интриге и подвохам, К. К. сам, только назначенный доцен-

том в 50 лет от роду, должен был быть недоверчивым к слушателю, который, пожалуй, вздумает стать его учеником и может помешать или затруднить его собственную карьеру, едва только начатую. К тому же он не мог не чувствовать, что я, несмотря на правильные посещения его лекций, их не одобрял, и больше интересовался его обширной библиотекой, чем какими бы то ни было занятиями под его руководством. Чтобы избежать этого, я принужден был придумывать ряд отговорок, и даже кандидатское сочинение свое подал Буслаеву — по сборнику былин Кирши Данилова. За то мне много доставило удовольствия и научной пользы замечательная библиотека Герца, для которой я составил краткий каталог. Не будучи ничьим любимцем, я мог таким путем знакомиться с литературою предмета за первую половину XIX века: Герц был состоятельным человеком и собирал в своей библиотеке все капитальное, что появлялось по литературе истории искусства. Впоследствии, увидав, что я не могу быть ему опасным, он даже старался со мною сблизиться и постоянно приглашал поселиться вместе с ним на даче в выбранной им местности. На одно лето мы с женою, действительно, с ними поместились и совершали ежедневно вместе с его семьею: братом и сестрою — длинные вечерние прогулки, но его, скажу прямо, узкие, немецкие понятия о человеческих отношениях, и невыносимый, поучительный тон, с мало наставительным содержанием, вынудили меня впоследствии избегать этого сожительства. Это был человек глубо-

ко бездарный, но трудолюбивый и добросовестный, и хотя был своего рода посмешищем в профессорском кругу, но при всей своей наивности искренно любил науку и знал много больше, чем его насмешники. В своем отношении к слушателям он только усваивал дурную манеру товарищей, которые все, и при всяких условиях, буде сделали что-либо для науки, или даже ничего не сделали для нее, всегда, со временем, садились «в боги» и тиранствовали над своими учениками. Моя личная удача заключалась именно в том, что я ни у кого не учился, и по своему предмету в университете ничего не усвоил, ниже́ от Буслаева, но об этом после.

За время моего пребывания в университете во мне произошла большая внутренняя перемена. Я поступил в него совершенным радикалом, злобно настроенным против всякого начальства, и в то же время своего рода аскетом по привычкам. Я казался товарищам нелюдимым, анархистом, и они, действительно, избегали приглашать меня в свое общество, хотя выбрали на факультете кассиром, в уверенности, что я своею строгостью лучше сохраню студенческую кассу, чем широкие натуры. Как раз в бытность мою студентом возникли известные студенческие волнения, вызванные закрытием кассы студентов, назначением инспекции и другими обычными мероприятиями. Волнения продолжались около 2-х месяцев, закончились побоищем на Тверской площади и не возобновились по недостатку горючего материала. Все это было обычным вздором, питалось единственно страстью к прогулам,

болтовне, мальчишеским претензиям на распоряжение своею судьбою, и по пути, кстати, судьбою России «в наше время, когда» и пр. Я лично подписывался под всеми резолюциями, как их теперь называют, но мало слушал ораторов и еще менее интересовался самыми претензиями студентов. Волнения, как известно, закончились перед самым польским восстанием, которое как бы поглотило собою лихорадочную, но короткую эпоху либерализма конца 50-х годов. Куда-то, как провалились сквозь землю, исчезли все уличные листки, с карикатурами и без них, появлявшиеся в начале 60-х годов у книжных торговцев под воротами, наряду с лубочными картинками. Студенчество вернулось к своим лекциям, детским страхам перед профессурой, к экзаменам и к обычным юношеским развлечениям: театрам, бильярдам, загородным прогулкам и к той беспорядочной студенческой жизни, из-за которой русский юноша, пробыв 4 года в университете, часто не может сам себе ответить, что он делал все это время. По счастью, у меня не было вовсе природного вкуса к этому беспорядку в жизни, который будто бы является протестом на буржуазно-мещанское провождение времени и залогом бодрой общественной деятельности человека. Мне лично наиболее нравилась покойная семейная жизнь, и я чуждался не только кутежей своих товарищей, но и даже посещений и длинных прогулок с ними летом. С громадным большинством своего курса я был вовсе незнаком, или только шапочно, любил разговаривать с Ключевским, которого уважал за его серьезность и тру-

долюбие, и с Ф. Е. Коршем, уже тогда большим остряком. Единственным моим приятелем на курсе был Ф. А. Гиляров, на сестре которого, Вере Александровне, я по окончании курса тотчас женился, 20-ти лет. Когда «мой бывший» учитель Гедике узнал, что я женился, заметил мне самому: «В 50 лет вы начнете кутить», — это было наблюдение и опыт старого холостяка. Предсказание совершенно не оправдалось, ибо с самого того времени и до конца я ничего иного к кутежам не чувствовал, кроме отвращения. Я так и родился «домашним зверем», и для меня не только «трактирная» жизнь, но и обед по приглашению всегда составляли только тягость. И когда за границей, по английскому обычаю, водворились так называемые пансионы, жизнь во время путешествий стала для меня источником размеренного, европейского порядка и полного удовлетворения. Мне были с юности отвратительны цыганские привычки, прогулы и загулы, дневные и ночные, и особенно всякие попойки. Испробовав один лишь раз вкус водки, я после того ее никогда не пил, за тем случаем, когда на вечер у Буслаева вместо воды налил себе в стакан водки и отхлебнул целую треть. Равно доселе не знаю вкуса коньяку и никаких ликеров. Вот почему я не только чуждался кружков, но и вообще посещал даже из товарищей одного Гилярова, у которого, можно сказать, дневал и ночевал, и с которым вместе нанимал дачу. Ближайшей причиной этого моего отчуждения, помимо моего характера, было специально мое отвращение к водке, которою они все упивались, понуждая и

меня к выпивке. В те времена в Москве питье водки являлось такой дурной привычкой, что однажды навсегда стоит об этом сказать. Водка пилась, можно сказать, походя. Чтобы не быть голословным, я точно расскажу один случай. Приехал я в Москву на защиту докторской диссертации, повидался с Буслаевым, выказавшим мне по поводу нее всю свою очаровательную любезность, и на другой день с утра поехал к секретарю факультета — Тихонравову — устраивать день. Николай Саввич принял меня также очень внимательно, но первым делом, не ставши даже говорить о диссертации, повел к себе в столовую, попросил приготовить чаю и распорядился подать водки. Выпить ее я отказался. Тихонравов был шокирован, но как очень умный и замечательно сдержанный человек не дал мне заметить, выпил сам и разрешил мне пить чай. Затем мы с ним уговорились, но для того, чтобы наладить дело как следует, он предложил мне поехать вместе с ним к секретарю Стороженке. С милым Николаем Ильичем я был уже знаком. Как только мы приехали, нас тоже позвали в столовую и также подали водку, но на этот раз с закуской. Тут же стали подшучивать над моим страхом к водке, уверяя, что это своего рода измена Москве, дурная одесская привычка. Но вот что любопытно, что от Стороженко мы поехали уже на двух извозчиках вновь к одному из профессоров знакомиться, и там опять пили водку, и [я][18] прямо оказался притчею во языцах, на-

---

[18] Слово вставлено составителем.

столько настойчивы оказались мои компаньоны. Еще более жестоко стало мое положение в гимназии среди новых товарищей-учителей, из которых многие стояли в этом отношении на уровне русского солдата, осеняющего себя крестом перед чаркою водки. Я скажу только правду о Москве, если выражусь, что одновременно я люблю и ненавижу этот город. Страдная жизнь, которую я вел студентом, меря Москву вдоль и поперек для дешевых уроков и не имея возможности нанять калибер, всегда по способу пешего хождения и без калош, отравлялась к тому же дурным питанием в дешевых кухмистерских, с обедами по 20 копеек, и скудостью моего обычного одеяния.

Вот почему я считал для себя особенным счастьем, когда, будучи на первом курсе университета, я решился, наконец, воспользоваться уговорами своих двух братьев и пойти в гости, как тогда говорилось, в семью Хрущовых, живших на Арбате у Николы Плотника в собственном доме. Это была богатая дворянская семья, состоявшая из матери, двух дочерей и одного сына. Мать, урожденная княжна Львова, была высокою и статною дамою, в свое время фрейлиной, и до старости сохраняла полную великосветскость и приветливость. А так как она вставала с постели только в три часа пополудни, и по ее приказанию тотчас зажигались в гостиной кенкеты и лампа с олеином, то она жила всегда при искусственном освещении и казалась при нем еще сохранившею остатки былой красоты. Удалившись из Петербурга в Москву, она выдала

тут своих обеих дочерей, старшую — Елизавету за Николая Рубинштейна и младшую Софью за графа Шернвалля, и теперь воспитывала своего сына Илью Дмитриевича, которому уже минуло 17 лет. Под предлогом образования сына Хрущова держала дом открытым не только для учителей, но и для всяких товарищей молодого человека и вообще для всех образованных людей. Правду сказать, она именно в этой среде отыскивала теперь все новых поклонников своей былой притягательности; лично я пользовался с самого начала и до ее смерти неизменно дружеским расположением, просиживая у нее часами один на один и слушая бесконечные рассказы о Петербурге, дворе, родных и знакомых и услаждаясь мыслию, что я попал в тургеневскую обстановку и дворянский круг. Быть может, именно в силу своей нелюдимости, резкой угловатости манер и разговора, я нравился этой барыне своей неподдельной искренностью, считался в доме своего рода экспертом по всяким наукам, и что еще более странно, оракулом по житейским вопросам. Считая меня вполне безопасным, обе дочери совещались со мною по самым, казалось мне, важным вопросам своей жизни: продать ли им полученные при выходе замуж имения и возвратиться ли им к мужьям, которых они успели бросить обе. Жена Николая Григорьевича Рубинштейна покинула его, будто бы из-за ревности к его победам, и жила теперь в доме матери, он же, не сходясь с женою, ездил к ним и часто у них играл, чтобы сделать удовольствие Анне Николаевне. Младшая собира-

лась уехать за границу на деньги за имение и успела в это время найти приятного спутника, из того разряда экзотических проходимцев — венгра или румына, которого так романтически воспел Тургенев в образе чарующего итальянца в рассказе «Три встречи». Эта Софья была необыкновенно красива, имела лицо мурильевской Мадонны, но, как теперь я хорошо помню, в среднем тип этих мадонн, между народными образами Мурильо и его же иконными ликами. Но при этом Софья Дмитриевна была развратна и холодна в высшей степени; ее поклонники считались сотнями даже в Москве, и она, подобно матери, превращала также ночь в день, но для оргий и кутежей. Французы романисты конца прошлого века были бы вполне довольны встретить подобный тип в своих парижских гостиных, и в настоящее время становится мне совершенно понятно, что господство такого типа во французской литературе времен Бурже, Додэ, Жипе есть только дело одной словесности, а не реальной действительности, ибо эта действительность могла быть наблюдаема еще в 60-х годах. Не желая порочить память несчастной красавицы, я должен сказать, однако, что, пройдя все обычные мытарства и убежав за границу со своим проходимцем, Софья Дмитриевна скоро после того заболела и умерла при тяжелых обстоятельствах. Старшая дочь была рассудительнее и, выбрав себе окончательно нового мужа, в лице моего брата Валерьяна, уехала с ним за границу, где и скончалась во Флоренции. В силу общих взглядов на мое при-

звание дом Хрущовых порешил, что я непременно должен заняться приготовлением молодого Илюши к университету. Таково уж было время, что студенты представляли собою высшую интеллигенцию, даже в аристократических салонах. Правда, это самое слово еще не было тогда в моде, и не выработалось еще вовсе понятия о таком сословии, которое, в отличие от всех других исторически сформировавшихся, было прямо взято из французского языка и применено к тому русскому пролетариату (прежним разночинцам), который, не найдя за все время своего существования никакого дела, к которому он бы мог пристроиться, взял почетное имя от той способности, которою он, в конце концов, надеялся когда-нибудь овладеть. Увы, нам грешным последние обстоятельства показали, что эта духовная способность не дается высиживанием болтунов, но самим делом, и составляет в человеческой жизни лишь редкую награду за жизнь, полную действительного труда и борьбы с природою и человеком.

В 1862 году, стало быть уже после того, как все русские помещики, а в том числе и Хрущовы, успели пережить первый горький год освобождения крестьян от крепостной зависимости и более или менее наскоро устроили надел их землею, и, расстроив по этому случаю еще больше собственные имения, почили на мусоре своих усадеб и уже успели использовать некоторую часть выкупных листов, Хрущовы еще в мае месяце нашли нужным посетить главные свои имения в Орловской и

4 -- 5428

Курской губерниях. Меня взяли уже в качестве учителя Ильи Дмитриевича, и мы с ним вдвоем поместились в громадном заднем кресле колоссального дормеза, который повез самоё помещицу с тремя горничными, бывшим крепостным лакеем, чудовищной силы и роста, и собственным кучером, которому единственно Анна Николаевна доверяла сохранение, увы, бренного тела. На ночь эти почтенные развалины укладывали, с большим комфортом, на подвесную постель внутри самого дормеза, и мы или стояли на станции или тихо двигались по шоссе, которое в те времена с Москвы на Тулу и Орел поддерживалось в изумительном порядке. Для меня лично это путешествие было своего рода волшебной сказкой: я ел досыта и даже боле того, соперничая с Илюшей, который был уже в 17 лет тонкий гастроном и немедленно взялся за мое образование в этом отношении. Дормез запрягался шестеркою лошадей, а в опасных местах восьмериком, и жутко было видеть, сидя на козлах с кучером, как управлялись форейторы из мальчишек с передовыми парами. Главное имение Хрущовых находилось в Елецком уезде, и когда мы свернули с Курского шоссе на Ефремов, то встречные овраги и гати стали доставлять нам много хлопот. Даже восьмерка лошадей не протаскивала тяжелого дормеза через наброшенный валежник и надо было прибегать к помощи окрестных деревень, чтобы вытащить тяжелый экипаж, застрявший в гати. Я вовсе не намерен передавать здесь своих юношеских впечатлений быта и благо-

словлять небо за те невинные наслаждения: ловлю рыбы в озере, поиски грибов, комические выходы на охоту, которые мне там, в недрах деревни, удалось испытать. Все это представляется мне теперь в каком-то туманном отдалении, и, вероятно, было очень приятно, но то, что мне вспоминается с необыкновенною ясностью, то относится исключительно к тяжелым и даже безотрадным минутам и часам моего знакомства с деревенскою жизнью. Я чувствовал с самого начала, что мы застали в деревне вакханалию воровства, распутства, укрощенную лишь на время нашего присутствия, и то наполовину; о том же свидетельствовали ясно непрестанные жалобы помещицы на воровство и грабеж ее управляющего, всей дворни и самих мужиков. Наряду с этими жалобами шла распродажа всякого имущества, лошадей, скота, зерна и ежедневные приемы гостей, тучами съезжавшихся даже из других уездов. Оргии кутежей шли у помещиков и одновременно у дворни, и я был обязан именно своему нелюдимству и своей почти детской наивности тем, что меня в этот круг вечно пьяных развратников не принимали и не звали. Но раз я пережил жуткие минуты. На уединенной прогулке по проселочной дороге меня нагнала телега, запряженная тройкой лихих коней, и из пьяной компании, на ней сидевшей, меня опознал наш управляющий, русский цыган, не лишенный добродушия и приятности. Он правил лошадьми, но соскочить и втащить меня на телегу было для него делом одной минуты. Он схватил вожжи с криком

«я его прокачу», понесся по дороге, а затем по селу, злобно хлеща лошадей, которые уже буквально прыгали с телегой. Мы ухватились, кто как мог, я за переплет передка, и бег жуткий и дикий, по счастью, кончился только тем, что сломался шкворень, телега клюнулась вниз, а лошади унеслись с передними колесами. Шедшее кругом форменное беснование, вероятно, подействовало и на мои нервы, и я стал сам почти нигилистом, приняв и соответственный вид. Я вырядился в смазные сапоги, купленные мною за три рубля, и серую блузу, в которой ходил бессменно. Когда помещица через месяц моего пребывания учителем, выложила мне какую-то сложную сумму вознаграждения, я взял из нее только трехрублевую бумажку, возвратив остальные, сказав, что больше брать за уроки Илюши считаю нечестным потому, что он или вовсе не учится из-за разных праздников и визитов, или не хочет моих уроков слушать и развлекается со мною только разговорами. Но еще более крупный эффект и более важные результаты имела моя другая выходка, грубая и неуместная; мысль о ней я взлелеял в тиши и выполнил с большим наслаждением. Дело в том, что Анна Николаевна Хрущова между различными своими любимцами имела постоянного, в лице гувернера Илюши, молодого француза. Ему было дано поручение в другое имение, но на зиму он должен был вернуться в дом к своему посту. В июле месяце из орловского имения мы переехали в курское, широко отпраздновали приезд, причем вся дворня получила обильное

угощение и устроила большой хоровод и замечательную пляску на нарочито для того сбитой из досок террасе, чтобы был слышен гармонический топот сотен каблуков. Пиры шли затем ежедневно, гости съезжались со всей округи, а некоторые поближе или прогоревшие так и оставались в доме безвыездно. Выждав особенно торжественного дня, когда за столом собралось больше полсотни гостей, я весьма некстати, но среди тостов в честь помещицы, произнес целую речь сначала в виде панегирика милой хозяйке, но потом перешел к ее неразумному отношению к делу образования ее сына: сын-де рискует остаться недорослем, учиться он не хочет и учителей к нему брать напрасно, а мамаша, души не чающая в Илюше, даже не хочет дать ему образования, тогда как он сам давно желает освободиться от всех тех гувернеров, которых она для него находит больше для своего собственного развлечения, чем для его пользы. Можно себе вообразить, каков вышел успех. Помню, что я был до того наивен, что даже и сам не понял, что я наделал, тем более, что был очень доволен результатом. Было решено отправить Илюшу вместе со мной обратно в Москву с тем, чтобы он поступил вольнослушателем в университет, но от занятий с ним меня уволили. Помнится, я долго не получал приглашения заходить, но через несколько времени стал опять бывать именно у Анны Николаевны.

В обратный путь до Москвы мы ехали с Илюшей на перекладных и почему-то крайне торопились — ехали без сна день и ночь. Илюша давал

большие деньги на водку, и ямщики порою скакали сломя голову. Помню, как у нас выскакивал шкворень, как засыпали мы, закинув голову на деревянный переплет, теряли по дороге узелки, и единственным приятным развлечением в дороге были гомерические обеды с ямщиками и чумаками из-под Черноморья на постоялых дворах. Я лично имел вид дьячкова сына. Илюша тоже ходил в рубашке навыпуск и умел снискать расположение деревенской молодежи. В общем, мое гощение в дворянской семье мне как было не по нутру, так и оставило неприятные воспоминания, и затем уже всю свою жизнь я ни от кого никаких приглашений погостить в деревне не принимал, правду сказать, и не получал. По выходе из университета я повел на 50 с лишком лет исключительно трудовую жизнь, и мне было уже не до того, чтобы я мог этим развлекаться. Единственным поэтому приятным для себя воспоминанием за время этого лета остается моя поездка с тем же Илюшей и в сообществе управляющего на открытие мощей Тихона Задонского. Выехав из пределов орловской губернии, мы попали в дивный воронежский край, в те времена богатый в северной части чудными дубовыми, липовыми рощами и иными смешанными большими лесами. Холмистая местность открывала здесь прямо чарующие виды, как если бы это был удивительный парк, с расчищенными дорожками и далекими перспективами. В своем роде волшебным зрелищем был стан десятков тысяч телег, съехавшихся из нескольких губерний на религиоз-

ный праздник. Вечером невообразимое пространство осветилось заревом горящих повсюду костров в тихий летний вечер. Мы сами тоже стали с своей телегой и лошадьми среди других и с понятным восторгом грели самовар и съедали привезенную из дому провизию. Помню, что на церковный церемониал мы попасть не были в состоянии.

Жизнь в Москве, после этого моего из нее выезда, стала для меня легче: я свел уже знакомства, стал получать через них более выгодные уроки и к концу своего студенчества даже скопил тысячу рублей с небольшим, заработав, таким образом, средства, необходимые, чтобы выполнить дело, порешенное между нами двумя, — мною и Верой Александровной Гиляровой, сестрой моего приятеля, — женитьбы, что и было выполнено в мае 1865 года.

Немедленно после свадьбы мы переехали с женою на дачу в село Останкино, известное своим старинным дворцом графов Шереметевых и великолепным парком. С той поры и доселе я люблю жизнь на даче и предпочитаю ее деревенской, которая у нас в России сопряжена с различными стеснениями вашей свободы и лишениями для городского жителя. Дача для меня — время усиленного научного труда, но легкого, потому что необязательного и неспешного. Меня инстинктивно теснит лишение свободы передвижения, а равно я никогда не имел времени, чтобы заняться подготовкой для себя собственного хозяйства. В семейной жизни есть все условия трудового деятельного покоя, который я ценил выше всего, отчасти по своей болез-

ненности, бедности и опасения нищеты. С этого же лета я начал вплотную заниматься историей искусства на полной свободе, накупив себе книг, какие мог по своим скудным средствам, вроде руководства Готфрида Миллера, его атласа по классической археологии и др., но особенно я пользовался библиотекой Герца и отчасти Буслаева. Переехав на дачу, я не имел никаких уроков и расходовал то, что осталось от издержек на свадьбу. Жена моя в первую половину своей жизни была бодрая, веселая и легкого, отзывчивого характера женщина, скромных привычек и довольствовалась очень малым. Она была из семьи Гиляровых старшей дочерью и была немного старше меня годами, любила чтение, была в своем роде передовой женщиной по тому времени и аттестована профессором Тихонравовым на экзамен, по ответам и сочинению, лучшей из всех им встреченных дотоле. Действительно, она была родом из умной семьи: отец ее, священник ц. св. Владимира в Москве, был родственником Филарета, но находился в преследовании у своего дяди за свое пристрастие к вину и непокорный нрав. Его брат, Никита Петрович Гиляров-Платонов, был замечательный умница, и со времени своей женитьбы я посещал его часто и с величайшим удовольствием. Моя жена, его племянница, была воспитана почти в его доме и отчасти усвоила себе его диалектику, в которой он был так силен. Восхищался им одновременно и один из братьев жены — Федор, мой закадычный приятель. К сожалению, Никита Петрович, бывший в то время редактором

газеты «Современные Известия» и состоявший директором Синодальной типографии, не мог отдавать беседам с нами столько времени, сколько он желал бы. А мы в свою очередь и не подумали, ни я, ни Федор, записать, хотя бы наиболее блестящие диалектические выкладки его философских и общеисторических построений. Никита Петрович говорил гораздо лучше, чем писал, и в действительности именно «Современные Известия», а с ними и вся политическая публицистика были ему совершенно чужды. Посещали его исключительно славянофилы: Аксаковы, Самарины, большой его почитатель К. П. Победоносцев, издавались некоторые его сочинения после смерти философами, прощавшими ему тот семинарский радикализм, от которого Никита не мог отрешиться всю свою жизнь. Можно поэтому легко понять, насколько затхлою была эта газета, и почему, например, известный Мечников, опрокинувши у нас в квартире разом два или три стакана на столе и ухвативши эту газету, которую я продолжал получать от Никиты и в Одессе, стал вытирать мокроту, говоря: «грязью грязь вытираю». Конечно, эта газета не была нравственной грязью, но сотрудниками зачастую были самые убогие люди славянофильских кружков Москвы, и мы очень жалели Никиту, что он прилагал столько усилий к такой гадкой газете. Ее хозяйство было в самом безобразном виде. Корректора и метранпажи набирались Бог знает как, и в конце концов эта газета, просуществовавши более 15 лет, так и не успела создать себе того реноме,

которого сам редактор ее вполне бы заслуживал. Когда мы, видя, как тяжело было Никите Петровичу, жалели, что он не издавал журнала, а газету, он рассказал нам, что получил такое предложение от М. П. Погодина, который навязывал ему свой журнал «Москвитянин» и при этом цинично говорил, что, конечно, у «Москвитянина» уже нет многих подписчиков, «но за то, батюшка, есть таких человек 20-ть, что называется — колом не отобьешь». Вообще же, Никита Петрович был форменный неудачник и впоследствии вынужден был, несмотря на поддержку Победоносцева, покинуть место директора, остался при газете, поселился в меблированных комнатах, ел и пил Бог знает что, но говорить и умствовать любил до самой смерти.

Еще большим неудачником был его племянник, а мой приятель Федор Александрович Гиляров, отличавшийся поразительным трудолюбием и крайним недоверием к себе. Исполняя свою давнюю мечту посвятить себя русской истории, он, однако, и не подумал пойти обычным путем профессуры, а сосредоточился в своем кабинете, занимаясь день и ночь, и никому не показывая своих работ. Плодом этих занятий были любопытные материалы, им сведенные по начальной летописи и отпечатанные как приложение к ее исследованию. Исследование не вышло, а приложение составляет ныне большую библиографическую редкость. В последнее время своей жизни он издавал «Театральный Вестник», что было уже окончательной странностью, так как сам он в театре совсем не бывал, и

дело это было ему совершенно чуждо. Один из братьев Федора, Александр, был тутором и преподавателем Московского лицея и тоже человеком со странностями, а самый старший брат Петр служил сначала в Управе Благочиния, был взяточником, как все ее чиновники, отчаянно кутил и кончил сумасшествием.

Всю эту семью поддерживала мать, Татьяна Федоровна, урожденная Островская. Семья Островских, начиная с писателя Александра Николаевича, его братьев — Андрея, юриста и впоследствии этнографа, Петра, ставшего потом литературным критиком и пользовавшегося особым уважением у Чехова, — и кончая двумя сестрами — Марией и Надеждой, поныне здравствующими, — причем первая известна как педагог и автор многих сочинений по педагогике, приходились Татьяне Федоровне племянниками и постоянно бывали у нас вместе с матерью Эмильею Андревной. Когда она бывала у Татьяны Федоровны в гостях, она неизменно восхищалась мной как зятем, главным образом, потому, что у нее самой никакого зятя не оказывалось, но дело в том, что я со своей тещей представляли, действительно, странную группу, ибо я лично ее обожал и, приходя, целовал много раз ей руки и щеки. Правда, все дети этой семьи также обожали мать, и я никогда не видывал столько любви в действительности, так как в то же время Татьяна Федоровна, напоминая собою заботливую наседку и неподвижно сидя при этом на диване, — она страдала сердечной болезнью — клох-

тала и кукарекала при появлении каждого члена семьи, наседая на него с укорами, попреками, заботами и хлопотами, а все они, в то же время, к ней лезли, как к маменьке. Любимой же дочерью была у нее Любовь Александровна, которая истолковывала ей все дела и события, она же и вразумляла ее, успокаивала, поправляла на ней сбившуюся наколку. Семья эта была для меня образцом болезненного вырождения, так как отец был полный алкоголик, и от запоя затем погибли двое его сыновей.

Из Останкина мы с женою переехали в Москву, наняв крохотную квартиру, согласно с нашими далеко не блестящими перспективами. В начале осени 1866 года у меня, в виде заработка, была только школа Живописи и Ваяния, где, по рекомендации Герца, я должен был преподавать русскую историю и археологию по 60-ти рублей за час, но всего пять часов, следовательно, с жалованием 300 рублей в год, что обеспечивало мне только квартиру. Уже в конце лета мне пришлось поддерживать свои ресурсы продажею жениного колечка с бриллиантом, за которое я получил сорок рублей, а больше в виду ничего не было. Прошло два тяжелых месяца, как вдруг разом я получил уроки в 1-ой и 3-ей женской гимназии по русскому языку и предался было этому с большим усердием, но и с крайней неопытностью. Из класса я выходил весь потный и, как теперь помню, все время чувствовал себя на уровне, близком к отчаянию. Мне казалось, что или я не могу учить вовсе, потому что не умею, или гимназистки, неспособные

учиться. Все мои хлопоты по водворению орфографии в обеих гимназиях как бы разбивались об стену полнейшего нежелания учениц усвоить себе указываемые мною приемы. Ученицы улыбались или грустно и кисло, когда я им указывал их ошибки, или даже весело и задорно, как бы подшучивая над моими стараниями. Не знаю, как пошло бы дело дальше, но еще осенью того же года я получил от самого В. П. Шереметевского предложение занять его место прямо в старших классах 2-ой Московской гимназии, причем потребовалось только испросить рекомендацию у проф. Буслаева. Сам Шереметевский брал по просьбе нового директора гимназии, Филиппа Николаевича Королева, место инспектора, важное для него благодаря новой казенной квартире. Как мы все это увидели потом, для самого Шереметевского эта перемена была истинно пагубной. Инспекторство его в конец замучило, испортило его чудный характер, идеальное добродушие и мягкость, отравив ему самое существование. Иное дело для гимназии под управлением нового директора Филиппа Николаевича Королева такой инспектор, как Шереметевский, и старший надзиратель, как Белопольский, которые сумели вскоре поставить расшатанную дисциплину. С удовольствием покинул я обе женские гимназии, давши себе и впредь слово в них не поступать.

Вместо школы Живописи я вскоре взял уроки русского языка и словесности в Военном Александровском училище, и таким образом, все мое учебное утро было заполнено учебными заведениями, и

все послеобеденное время оставалось для частных уроков, для преподавания логики и психологии в пансионе Дюмушель, образцово поставленном, заседаний и пр. Если присоединить к этому чтение по вечерам и даже по ночам бесчисленных тетрадок с так называемыми сочинениями учеников, пробными диктантами, то будет понятно, что для собственных занятий по истории искусства никакого свободного времени не оставалось. В первые годы я и не тяготился этой перегруженностью работы, хотя, вовсе не принадлежал к кругу тех новых преподавателей, которые в Москве назывались «лихачами», потому что ловили наиболее выгодные и дорогие уроки, набирая даже учеников побогаче из своих классов, и носились по городу на настоящих лихачах с одного урока на другой, делая больше вид модных докторов, прописывающих один и тот же рецепт своим разнообразным больным. Таков был известный тогда учитель русского языка Назаров, лекарь замоскворецких грешных душ, славившийся своим умением пропускать учеников на экзаменах. Ему близко подражал Кирпичников, который свою прежнюю ловкость в уловлении профессоров перенес теперь на поиски богатых уроков. Это был уже не такой плюгавый сморчок, каким был Назаров, а напротив того, человек высокого роста, с мечтательным задумчивым лицом, которое он искусно делал умным и вдохновенным, хотя не обладал никакими талантами, кроме великой хитрости и глубокого понимания людей. Он был большим приятелем Гилярова, ко-

торый в силу своей декадентской слабости с ним водился, поносным образом его ругая в лицо и за глаза, но руководясь всеми его советами. Стараясь быть совершенно справедливым, я должен рассказать о своем глупейшем промахе и ловкости Кирпичникова, так как это мне даст возможность очертить положение предмета русского языка в преподавании и в то, и в настоящее время. Несмотря на то, что в младших классах 2-ой гимназии учил лучший из известных мне учителей Гедике, острота вопроса о насаждении грамотности в гимназии предстала мне сразу, болезненно тяготя мою душу, вызывая постоянные схватки с учениками и целыми их группами и заставляя прибегать ко всевозможным видам письменных упражнений. Я уже не мог ходить домой пешком, а возил целые кипы тетрадок, так как классы были по 50-ти человек, редко менее. Непрестанно думая о том, чем можно помочь делу, и терзаясь непригодностью учебников грамматики, вроде Говорова, я решился составить самолично краткую грамматику русского языка для низших классов, применительно к правописанию. В сотрудники по этой задаче я упросил пойти В. П. Шереметевского. Тетрадка с готовым уже наброском всего контура этимологии, начинаемого правилами правописания, лежала у меня всегда на письменном столе, и я, почти не пропуская ни одного дня, вносил в нее правила, примечания, вопросы, слова и т. д. Надо же было, чтобы эту тетрадку увидал у меня случайно приехавший А. И. Кирпичников, заинтересовался, стал меня

расспрашивать, даже одобрил, хотя, всегда меня презирал, как мне было известно. Прошло не более двух недель, как Гиляров объявил мне, что он вместе с Кирпичниковым занялся практическим делом, составлением грамматики, применительно к правописанию. А. И. Кирпичников обставил зато дело вполне практически, сошелся с Салаевым — уступил ему на каждом экземпляре этой грамматики, кроме издержек по ее изданию, намеренно на жидкой бумаге, еще 40 процентов в пользу Салаева как издателя. Салаев, в то время всесильный издатель учебников, сделал эту грамматику своим собственным и наиболее крупным делом, систематически вытравливая из русской торговли все другие, могшие с нею соперничать, учебники и распространяя в провинции только эту. В результате Кирпичников и Гиляров стали получать по 6-ти и более тысяч на брата в течение более 30-ти лет, а быть может, их наследники получают и доселе. Если я остался в дураках, как мне и следовало, то все же имел всегда утешение замечать обоим, что грамматика гнусно составлена, безграмотно написана и вышла лубочной.

Надо сказать, однако же, что по моему неумению поставить это дело, из моей грамматики ничего бы и не вышло, так как большинство хороших учебников в России почти никогда не имеют успеха. В этом единственно весь секрет успеха учебников Иловайского, и обратно, неуспеха учебников С. М. Соловьева, П. Г. Виноградова и др. Исключение составляет разве «Курс русской истории»

В. О. Ключевского; все прочие хорошие руководства и хрестоматии относятся в большинстве к старому времени, как например, — издания Буслаева, Галахова, Говорова и пр. Прибавлю для сведения интересующихся, что сам Кирпичников был форменно безграмотен, и я лично по той причине, что моя фамилия, как и его приходится на букву «К», был свидетелем такого казуса. На выпускном экзамене латинского языка у Леонтьева Кирпичников подал перевод с латинского на русский с двумя ошибками: было написано «ходют» и «ездиют». На вопрос, как он мог так ошибиться, Кирпичников отвечал, что, спеша и волнуясь, он сделал ошибку, но даже не объяснил, как следует написать правильно и почему. Скандал притушил благоволивший к нему Леонтьев, который заметил, что в московском говоре, действительно, будто бы начинает исчезать 2-ое спряжение, и великодушно извинил ошибку. В те времена еще не было на факультете сумасшедшего Брандта, но так как он уже предлагал в комиссии по новому правописанию, то он теперь может в безграмотности будущего профессора иностранной литературы отыскать оправдание собственного полоумия. Судьба, к сожалению, сталкивала Кирпичникова со мною много раз и впоследствии, хотя я лично да и он взаимно не находили в этом никакого удовольствия. Чтобы более с ним, хотя бы на страницах этих своих воспоминаний не встречаться, скажу кратко, что хотя он затем стал профессором иностранной литературы, но всегда остался природным торга-

шом, и торговал всем, и даже наукою: было забавно, как мы с Гиляровым, бывало, убеждали его покинуть науку и сделаться попросту купцом, аферистом, издателем, чем угодно: на наш взгляд, в нем пропали большие таланты истинного американца, или вообще делового человека.

По вызову Буслаева я начал работать для предпринятого им «Сборника Общества Древнерусского Искусства», учрежденного в Москве в 1865 году. Представив Буслаеву три рецензии по сочинениям Гюбша, Каница и др., я был тогда же избран действительным членом общества, а в настоящее время, так как все члены первого состава уже умерли, состою единственным его представителем. Общество это, как и множество ему подобных, возникавших в России, поддерживалось исключительно работами двух его членов: Буслаева и Г. Д. Филимонова, хотя в нем номинально принимали участие едва ли не все тогдашние русские археологи. Но, выпустив в свет один том в 1866 году и другой том в 1873 г., признанные в литературе своего рода капитальными вкладами, благодаря трудам указанных ученых, оно должно было прекратить издательство, а затем, в связи с ним и свои заседания, так как для первых не имело средств, а для вторых не имело интереса, и его сотрудники сами перебрались в Московское археологическое общество, начавшее процветать уже с 1868 года, после своего основания в 1864 году. Уже по самой широте своего кругозора и интересов, это общество, рано или поздно, должно было

сосредоточить у себя сначала всю московскую, а затем и значительную часть русской археологии. Едва я успел сделать первые сбережения, как решился съездить за границу и заняться там на памятниках истории искусства. Основою этих занятий я сам себе положил науку классической археологии и отправился сперва в Петербург для занятий в Эрмитаже, а оттуда в Берлин, куда меня привлекал музей гипсовых слепков, с его научным каталогом известного Фридрихса. Мы взяли с женою 500 рублей с расчетом на два месяца пребывания и на закупку платья и белья. Уже с первого своего заграничного выезда я стал систематически делать последнее, именно за границей, где мануфактура была и дешевле, и добротнее, и обильнее выбором. Могу похвалиться тем, что до последних лет своей жизни я никогда не заказывал у русских портных и довольствовался всегда готовым, но заграничным платьем. Сначала в Вене и в Италии, затем в Париже, а под конец все-таки только в Италии. Могу с гордостью сказать, что, когда великий князь Константин Николаевич, встреченный мною в Париже, стал объяснять мне, что он приехал в Париж специально запастись бельем и мне тоже самое рекомендует, то я ему мог заметить, что я уже давно это самое делаю. Правда, из-за этого обычая я иногда отчаянно обнашивался, так как носил вещи по 30-ти и даже по 40 лет. Упоминаю об этом, однако, лишь потому, что по общему домашнему совету мы взяли в дорогу все свои сбережения — 500 рублей с небольшим и по-

бывали на них в Берлине, Дрездене, Мюнхене и затем хорошо проехались по Швейцарии, начиная от Боденского озера на Цюрихе, Шафгаузене, Люцерне и Женеве, закупая для себя, что было надо, из этих денег рублей на полтораста. И вернулись мы домой все же с небольшим запасом. Правда, мы ездили исключительно в третьем классе и простыми поездами, от Петербурга до Берлина — ехали на Кенигсберг трое суток, и на одном перегоне я проснулся обеспокоенный тяжестью; на мне буквально сидел толстый немец, который даже не извинился, что сел днем на спящего человека: он ведь имел право на место. Но какова была дешевизна в те поры даже в самом Берлине, можно судить потому, что мы жили на главной улице, правда, в крохотной гостинице второго сорта и платили двое за одну комнату 20 грошей. На пансионах в Швейцарии мы платили за все по четыре франка, редко по пяти с человека. Самый дорогой наш расход был в гостинице Риги — Кульм, где за гнусный чуланчик с продувными стенками с нас взяли 7 франков. К тому же по курсу в те времена наше золото шло наравне с французским, т. е. полуимпериал менялся как наполеондор на бумажки с очень малым учетом. Конечно, мы не могли себе дозволить ни ледников, ни Интерлакена, но мы мало этим интересовались, бегали по даровым музеям и картинным галереям в праздники и лишь в бесплатные дни, пешком отмахивали по всем окрестностям, восторгаясь великолепным пивом, и понятно, я ни одного путешествия по

Швейцарии не вспоминаю с таким удовольствием, как это первое. С другой стороны, мне сразу не понравилась Германия, а особенно Берлин, с его невыразимо тоскливым настроением толпы и угнетающим впечатлением пыльного губернского города, каким он тогда нам показался после Петербурга. Доселе помню, как мы бродили после скудного и должно быть противного обеда по пыльной набережной реки Шпрее, в жаркий палящий день. И как издевались мы вдвоем, идя с гидом в руках, над его начальной фразой: «Берлин должен стать мировым городом». Все, что было в Берлине приятного, заключалось в Тиргартене, но ежедневные походы по этому парку под конец нам отошнели. И вот, надо же было, как нарочно, случиться с нами одному, собственно, неважному казусу: уже я кончал свои штудии в музее гипсовых слепков и вообще осмотр достопримечательностей, как раз, вечером, вздумали пойти в один из садиков с объявленным на этот вечер концертом, спросили себе пару пива и принялись слушать, но в сад шумно ввалилась, гремя саблями, группа пьяных офицеров; сев за один из столиков, они начали бушевать с прислугой, пришел хозяин, униженно просил их успокоиться, взялся, было, сам прислуживаться, но тоже не угодил. Один из офицеров, упившийся до того, что не мог держаться на ногах, хотел подбодрить хозяина или главного официанта, я не мог разобрать, пинком, повалился на него и упал, поднялся, и началась драка. Два офицера обнажили сабли, стали разбивать на соседних сто-

ликах зейдели, начался крик, образовалась толпа, стали упрашивать и униженно умолять «господ лейтенантов» успокоиться, но они уже били фонари, прислугу и посетителей, и скоро все мы позорно удирали с поля битвы. Все это, конечно, дело обыкновенное и после Садовой в Германии вполне понятное, но все это уже так опротивело и в Москве, где, бывало, каждый большой фестиваль в Эрмитаже заканчивался неизменно грандиозным скандалом, как неизменно и роскошным фейерверком. Признаюсь, я решился ускорить свой отъезд из Берлина именно после этого вечера, а к отъезду Берлин подготовил мне еще один горький опыт. За час до отъезда, на вокзале, я спросил счет, мне подали его нескоро и в нем, увы, оказалась передержка конторы. Мы уговорились с самого начала о цене самовара, который имелся в гостинице. Цена его была 10 грошей, с меня же тянули за каждый день по 20 грошей на том основании, что для двоих самовар будто бы стоил вдвое; пришлось уплатить, но этим дело не кончилось. Я попросил принести мне сданные в контору 50 золотых, обер-кельнер, получив по счету и себе на чай, ушел с этим поручением, и вот он не приходит четверть часа, полчаса. Выбегаю на лестницу, кличу его, кричу, он прибегает, высыпает мне ряд золотых, хватает сумки и хочет с ними бежать из комнаты, торопя нас, что нам пора ехать, я его останавливаю, он не слушает, тогда я кричу ему, что пока я не сочту денег, я его не выпущу, считаю золотые, всего 48, двух нет, тогда я сажусь на стул и говорю, что не поеду, а

пойду к бургомистру, так как я дал под расписку 50, кельнер бежит и возвращается с двумя золотыми, которые он догадался найти. Все это, на почве испытанного уже, более или менее, всюду грубого обращения, вызвало во мне столь резкую реакцию против Пруссии, что я с удовольствием вспоминаю Дрезден и Мюнхен, где мы могли отводить душу, ругая с самими немцами пруссаков. Мало того, я до такой степени часто, впоследствии, повторял в разговоре, что впредь поеду в Берлин только в крайней нужде, что уже и сам решился исполнить это свое заклятие. В самом деле, с той самой поры и вплоть до 1914 года я в Берлине не был и даже проезжал через него всего два раза по необходимости, один раз из Парижа, возвращаясь, а другой раз, едучи поневоле через Берлин на Базель и Милан, так как мне прямо не хотели дать иначе спального купе до Италии из Петербурга. Говорю, не хотели дать, принуждая ехать или на Фиумэ, или на Базель. Конечно, моя обструкция Берлина была для меня очень невыгодной, так как, живя в Петербурге, я почти совсем перестал, с 1900 года, выезжать в Париж, и ограничивал свои заграничные поездки исключительно Италией уже ради простого сбережения денег на дорогу.

Но за то в эту первую свою поездку я захватил еще некоторые остатки старой Германии и Швейцарии, так как ради дешевизны, избегая не только дорогих отелей, но и вообще гостиниц, старался останавливаться или в меблированных комнатах, или даже в частных домах, снимая комнату и

пользуясь тут же столом. Быть может, именно поэтому заграничная жизнь с тех пор и доселе в моем представлении окружена ореолом покоя, доверия, довольства, добрых нравов и хороших манер. На мой теперешний взгляд, все это резко изменилось в северной Германии, но все это еще пока держится в южной Германии, и даже в Австрии. Но совершенно иную картину рисует мне обязательно моя мысль, когда я пробую вспомнить русскую жизнь 50 лет тому назад. Общая неустойчивость этой жизни даже в пределах среднего буржуазного общества, повсеместное недовольство, тягости отношений, неуверенносгь в завтрашнем дне и какая-то пассивная беспутность — с такими чертами неизменно вспоминается мне жизнь всех моих знакомых. Мои товарищи по гимназии, за немногими исключениями, почти все вели такую непутевую жизнь, что никогда не сводили концов с концами, всегда были стеснены, плакались на горькую долю учителя, робели, вечно боялись начальства, злобились на товарищей и учеников. Между ними только старые учителя представлялись вполне уравновешенными и относительно довольными. Лишь очень немногие занимались своим делом с охотой и некоторой любовью, большинство видело в своих занятиях каторжный труд. Под влиянием общественного движения дисциплина в школе совершенно упала, и учителя, не умевшие справиться с многочисленными классами, предпочитали терпеть у себя шум, беспорядок и озорство, или даже открыто входили в молчаливое

соглашение с классом, занимаясь только с отдельными учениками и разрешая другим делать, что им угодно. Беспутность русской жизни сказывалась и здесь, и притом в особенно нелепых формах. Попробую изобразить эту сторону по собственному опыту. На мою долю выпало преподавание русского языка и словесности в старших классах гимназии и юнкерам Военного Александровского училища. Предмет, несомненно, деликатный и сложный, но в высокой степени благодарный и вполне отвечающий моим идеалистическим вкусам. С самого начала и до конца своего учительства я относился к делу со всем старанием, на какое только способен, извлекая из критических разборов литературы все то, что было доступно, понятно и интересно для юношей, и из методов преподавания выбирая те, которые приводили к цели, применяя поэтому и объяснительное чтение, и собственное чтение литературных произведений вслух, и постоянные ученические работы под руководством, или самостоятельные. И вот, правда, за истекшие с того времени 50-лет мне приходилось много раз слышать от своих бывших учеников, или даже от их детей, глубоко сочувственные отзывы, которые мне так или иначе доказывали, что ученики понимали мои старания и усилия развить в них те же самые вкусы, которые были во мне. Говорили мне это совсем разные люди: епископ, присяжный литератор, профессор и пр. Но, если это и было так, или только ученикам казалось, все же это сочувствие единиц не уменьшало общего беспутного то-

на учеников и тяготы моего учительства. Первые два года я положительно страдал от своего неумения дисциплинировать или хотя бы, что называется, обуздать учеников. Классы гимназии стали для меня пыткою, и я уже подумывал об уходе в женские гимназии. Когда затем произошла перемена к лучшему, я не помню, и, стало быть, я того не заметил. Помню лишь одно, как измученный и дрожащий я шел из коридора к выходу в швейцарскую, и, обгоняя меня, бежал кругом поток гимназистов, а я вдруг почувствовал, что кто-то из них дернул меня за фалду фрака. Обернуться назад, ухватить первого попавшегося, испугать его своим бешенством, было дело одной минуты, но в следующую я опомнился. Помню затем, что на некоторое время я приходил в класс в заранее созревшем нервном настроении. Это был своего рода террор, и на нем я построил дисциплину класса, и так как в результате я достиг того, что вел класс на вожжах и через пять-десять минут после начала успокаивался сам, я понял, что все мною виденные хорошие учителя прошли через периоды подобного террора, и считал уже неизбежным прибегать к нему и впоследствии, всякий раз, как ученическая орда отказывала мне во внимании. Но я так и не мог допытаться у других, чего стоила им эта система, а мне самому это время было так тяжко и каторжно, что я уже через три года готов был бросить гимназию и преподавание. Расскажу, уже кстати, что, когда у нас сменился директор, и назначен был Сосфенов, то он, придя ко мне в класс

IV или V-ый, присутствовал при корнесловном разборе из хрестоматии. Класс, что называется, шел на вожжах: была полнейшая тишина, сложное слово разбиралось самими учениками, корень, производные от него формы, приставки, суффиксы, флексии и пр. Все разнималось по частям с объяснениями, определениями, сходными примерами и т. д. Один ученик начинал, все следили за каждым словом, он ошибался, я называл кого-либо другого, он, вставши, поправлял, ошибался и он, я вызывал третьего, четвертого, они должны были знать, о чем идет речь, а если кто не знал, ему ставилась страшная «точка». Директор был назначен укрощать возмутившуюся против классической системы нашу классическую гимназию. Он выразил мне свой полный восторг. Не прошло двух месяцев, как он предложил мне место инспектора гимназии, с обязательством в короткий срок представить меня в директора. Но это было уже через пять лет моего учительства, и я ему мог ответить только одно, что я уже не чувствую себя в силах продолжать далее педагогическую деятельность.

Несравненно легче шли мои занятия в Военном Александровском училище, где вместо каких бы то ни было уроков, лекций или чтений, я мог ограничиться исключительно письменными работами юнкеров, исполнявшимися прямо в классах. Письменному упражнению предшествовало мое вступительное объяснение того рассказа или литературного характера и типа, который выбирался для письменной работы. Упрощая по возможности те-

му, я должен был из критических оценок и разборов этого типа сделать сводку, вроде того, как председатель суда суммирует присяжным перед их уходом в совещательную комнату. Затем юнкера садились писать, мало и скупо, или много и пространно, иные даже литературно и с дарованием. Всего было вдоволь, тем более, что темы выбирались из Пушкина и Гоголя, Тургенева и Толстого, но всего более было грамматических ошибок. Известный Д. А. Милютин, приезжавший в Москву после своего назначения военным министром, пришел ко мне в класс, просил продолжать, и, увидав сразу, что я, переходя от одного ученика к другому, с их предыдущими сочинениями, мною разобранными и подчеркнутыми, терзался их грубыми ошибками, обратился к юнкерам с поучением, стыдя их названием «православного безграмотного российского воинства». Понятно, это нисколько не подействовало на юнкеров, они оставались при своих ошибках все время моего пребывания в училище. Еще спасибо тому обстоятельству, что во главе училища стоял в то время инспектор Павел Николаевич Дюшен. Это был человек замечательного ума и равно необыкновенного характера, живший в училище полным отшельником, но в то же время следивший за каждым юнкером, как любящий отец. Он знал каждого из учеников, как если бы он был его воспитателем, будучи сам высоко образованным человеком и ученым математиком, он отдавался всею душой делу преподавания в училище, и готов был нас поддерживать всеми ему

доступными средствами, а он был в то время всесильным человеком в училище, где не только преподаватели, но и профессора, читавшие там лекции, как например, С. М. Соловьев, были также ему подчинены. Помню хорошо, как однажды, получив кипу тетрадей из училища, и, раздражившись донельзя грубыми ошибками, синтаксическими неправильностями и крайней неряшливостью некоторых тетрадей, походивших на письма горничных, я решился, наконец, на крайнюю меру: при 12-ти балльной системе — я оценил некоторые упражнения единицей и двойкой. Прошел день, два, и я получил от Дюшена письмо, в котором он меня извещал, что он, просмотрев все сданные вновь сочинения «восхищается моими отметками, просит меня оставаться при этой строгости и будет меня поддерживать, сколько может». Вместе с тем в класс ко мне однажды пришел, наконец, сам директор — генерал Шванебах; так же, как и я, ходил по партам, осматривая письменные работы учеников, и одному из них, предъявившему мою двойку, подписал своего рода рекомендации: «А мне афтор нравится». Резолюция эта имела большой успех среди учеников в особенности, а все же все мои хлопоты не повели ни к чему. Непрестанная неудача всех моих усилий на педагогическом поприще отравлялась еще и тем, что, не имея необходимой сноровки, я тратил на уроки все свое время; в казенных гимназиях и в училище, где из класса выгонял меня звонок, меня освобождал, по крайней мере, заведенный порядок, но на частных

уроках я являлся мучеником своего рвения не по разуму, просиживая с учениками и даже ученицами целыми часами. В те времена было в моде учиться русской словесности, развивать себя чтением и критическими разборами Тургенева и Льва Толстого, и на пятом году своего преподавания в Москве я едва находил время для новых частных уроков. Увы, ученики поневоле мною тяготились, ибо, по их мнению, я требовал от них невозможного. Одна из них, искавшая развития на понимании русских писателей, сочла, очевидно, меня нетерпимым педантом и перешла от меня к П. Д. Боборыкину. Слабый народнический писатель Д. О. Нефедов почти плакал на моих уроках от злой критики его упражнений, но зато остался верным до конца и выдержал испытание по русскому языку с блеском.

Я давал в неделю 44 урока и, благодаря своему усердию, возвращался домой, иногда к 10 часам вечера. Понятно, для моих научных занятий оставалось только лето; благодаря отчасти тому, что московское лето хуже южной осени, я мог тогда на свободе сидеть за любимым Готфридом Миллером. Ученая профессорская карьера стала для меня недосягаемою мечтою, и я отчасти в целях своего освобождения от педагогии стал давать много уроков с тем, чтобы на сделанные сбережения просуществовать некоторое свободное время и приготовиться к магистерскому экзамену. Педагогическая деятельность тяготила не менее моего и Владимира Петровича Шереметевского; он так же, как и я

жаловался, на полное одурение от возни с учениками. Чтобы избавиться хотя на воскресенье от недельного одурения, мы решили в последний год с Шереметевским посещать, хотя бы по субботам, своего рода «умственную баню»: Артистический и литературный кружок, основавшийся, помнится, в 1868 году, и, благодаря предприимчивому режиссеру, но бездарному актеру Вильде, собиравший в праздники феноменальную, чисто московскую толпу. Здесь были бесплатные для членов спектакли с начинавшими талантами, Макшеевым и др., и свои почетные завсегдатаи, вроде добродушного профессора Нила Попова, убогого стихоплета А. Плещеева и четы Федотовых и др. Там был прямо банный полок — проходная комнатка, в единственном углу которой примостился сам Пров Михайлович Садовский, неизменно отпивавшийся молча сельтерской водой, часу якобы с девятого до полуночи, когда он уже вновь бывал готов для возлияний и соответственного разговору. Он неизменно сидел в своем уголку, на диванчике, отвечая на поклоны кивками и почти никому не подавая руки. Когда, однажды, наш учитель латинист П. П. Никольский, слабый во хмелю, и раз облевавший мою шубу, когда я его вез с гимназического праздника домой, долго приставал к Садовскому при мне с пьяными нежностями, тот вдруг ему сказал: «Ну, что ж целуй, пожалуй, я ведь вроде Иверской». Забавен был и Плещеев, который на свои — он служил в почтамте в ту пору — забегал по несколько раз в буфет прополоскать горло настойкой

покрепче. Я едва удерживался от восторга, когда тот же Плещеев, уже миллионер (впоследствии, оказалось по ошибке) с видом тончайшего знатока дегустировал у Максима Максимовича Ковалевского за завтраком на его даче в Бо-Лье бутылку старого бургундского вина, поданную в лежачем виде на стол. Плещеев не знал, что наша компания провожала его в кружке, когда он в сотый раз пробегал перед нами, его стихом: «вперед без страха и сомнения», имитируя зычное дрожание его голоса и завывающий тон. Хотя и в пьяной компании, но людей, сверкавших неподдельным талантом, как Садовский — этот алмаз московской сцены, можно было забыться и отогнать от себя мысль о своей истинно каторжной жизни.

Итак, несмотря на мои успехи в педагогии, которые за последнее время моего пребывания в Москве давали мне даже излишки, мною свято сбереженные, а равно, несмотря на различные новые свои предприятия, вроде издания критического обозрения, которое я затевал с Андреем Николаевичем Поповым, на преподавание русского языка, которое я начал на Высших женских курсах, с явным результатом, я все же стремился все время освободиться и от педагогии, и заодно от самой Москвы. Первая мне опостылела, Москва же после моих выездов в Петербург и за границу мне не нравилась настолько, что, когда умер отец и оставил нам троим дом в Москве, правда деревянный, но в хорошем переулке около Чистых Прудов, никто из нас, и я, в том числе, не пожелал оста-

вить его за собою. Если, мне было чего жаль, то единственно несостоявшегося издания критического обозрения в товариществе с А. Н. Поповым. Это был редкостный человек среди москвичей, еще более меня чуждавшийся всяких московских кружков, человек поразительного трудолюбия и выдающихся дарований. Это была крошечная фигурка нежно белокурого отрока, с едва пробивавшейся бородкой, яркими голубыми глазами, глядевшими на вас умно и в то же время мечтательно, как бы через вас, в какую-то ему видимую даль. Увы, не прошло двух-трех лет, как этот человек, этот юноша стал пить мертвую, болеть и скоро умер. Понятно, однако, что как бы ни тяготило меня учительство и московская жизнь, к которой я все-таки так и не мог привыкнуть, прежде всего, из-за сурового климата, среди которого я напрасно пытался себя закалить, а главное среди не нравившегося мне общества педагогов, мне все же не удалось бы освободиться от своего кошмара, если бы не два случайных обстоятельства, меня выручившие. Первое, менее важное — разгром 2-ой гимназии, учиненный управлением округа по требованию руководителей классической системы образования в среднеучебных заведениях. Наша гимназия была классической, так сказать по принципу, и, как я говорил, древние языки шли у нас и раньше на первом месте и шли образцово, что признавалось всеми, а главное, самим П. М. Леонтьевым. Но вот, с введением усиленного классицизма и умножением часов, появился у нас новый

преподаватель, некто Миловидов, поставивший себе задачею привлечь исключительное внимание учеников к греческой грамматике. Это был первый образчик того, как совершенно неспособные и даже невежественные учителя, выдвигаемые окружным начальством, налетали на подобие опричников, начинали расправу с классами, жаловавшимися директору и инспектору на непосильные уроки, мучительные письменные задачи, и мало-помалу доводили мирные классы до буйства и неповиновения. Мы все непосредственно видели, и я лично без всякого преувеличения могу утверждать, что Миловидов был дикий человек, самолюбивый тупица и заслуживал по своему разнузданному отношению к делу быть немедленно выгнанным. Так, например, казня непокорный класс, он за один урок ставил около 40 единиц и двоек за устные ответы ученикам и даже классикам, которые, конечно, боялись, однако, говорить против него; было ясно, что Миловидов неистовствовал, и наш педагогический совет единогласно ставил ему это на вид, Леонтьеву и окружному начальству наше внимательное отношение к совершавшимся еженедельным скандалам было неприятно, и было принято за возмущение против новой классической системы. Инспектор В. П. Шереметевский должен был оставить гимназию, директор Королев перешел с выгодою для себя в директора Петровско-Разумовской Академии, учитель истории А. К. Шуф сделался адвокатом, другие разошлись по иным гимназиям, а я принял предложение кафедры ис-

тории искусства в Новороссийском университете и решился покинуть Москву. Правда, однако, я прожил еще в Москве зиму 1870–1871 года, выпросив себе в Новороссийском университете отпуск на один год для приготовления и сдачи магистерского экзамена (по истории искусства) в Московском университете.

Чтобы выполнить на деле свою мечту — покинуть родную Москву с ее жестоким климатом, ее учеными и педагогическими и литературными кружками, от которых меня начинало уже тошнить (особенно славянофильские кружки, как, например, вечера известного Кошелева с Писемским и другими присными). Я принял и исполнил благое намерение самому съездить в Одессу и поставить факультету свои условия. А так как я ехал с твердым намерением из своей программы ничего не уступать и лучше просуществовать на небольшие собственные средства (у меня было около четырех тысяч), я достиг полного успеха. Как теперь помню: едучи пять дней на юг через Курск и Киев и остановившись в Киеве на двое суток, я мысленно твердил себе заклятие — не жить на севере, и если надо служить, то на юге. Правда, и этот юг предстал предо мною в полной красе старого, натурального и мощного крестьянского богатства. Я доселе не могу забыть киевских базаров, особенно на Подоле, у Лавры и других площадях города. Железный путь в Одессу был только что проведен, станции были деревянные и по досчатым перронам располагались целые сотни лотков со всяким сне-

дьем: и жаренные куры, и ветчина, и свежие, горячие пончики, и сливовица, и квасы, все это под открытым небом, по ценам не превышавшим «хохлацкого» шага. Увы, прошло два-три года, и все это раздолье рассыпалось в прах под тлетворным дыханием русской администрации и ее гнусных трактиров и буфетов. Столь же восхитила меня любопытная характерность своеобразного южного города, напомнившего мне европейские закоулки. Мне нравилось, гуляя по Одесскому бульвару, слышать со всех сторон итальянский, французский, греческий языки и с недоумением оборачиваться, заслышав русский разговор. Такую же смесь языков, племен и состояний я встретил в университете, где историко-филологический факультет был на треть наполнен немцами: Брикнер, Струве, Брун и другие являлись воротилами факультета. Они, между прочим, не желали выбора русского преподавателя по кафедре истории искусства и предлагали известного Эдуарда Доббера, бывшего родом из Риги и учившегося в Берлине, но дело это расстроилось, Доббер отказался от выбора, и я был избран факультетом на условиях, мною предложенных, исправляющим должность доцента. Из Одессы я проехал тогда в Аккерман на неделю погостить в семье своей ученицы, дочери генерала Андрусского, жившей с матерью в доме родственника, казацкого полковника Горлова, державшего в Аккермане большую паровую мельницу. Его сын, в то время студент, пристрастившись к театру, устроил с одним из провинциальных акте-

ров в большом сарае спектакли из легких пьес с песенками, монологами и разными шаржами, восхищавшие публику. Как поклонник Московского драматического репертуара, я был призван семьею к участью в занимавшем их тогда вопросе: быть или не быть племяннику и сыну Горлова актером. Любителям театра известно, что Владимир Николаевич Давыдов-Горлов украшает Петербургскую сцену, после ряда провинциальных театров, вот уже скоро 50 лет. Мои театральные восторги сменялись в Аккермане археологическими прогулками по чудной генуэзской крепости, в то время почти совершенно целой.

Зиму я провел в Москве, отвлекаясь от занятий только для немногочисленных частных уроков и вовсе не обращая внимания на свирепствовавшую в Москве тогда холеру, а сдавши удовлетворительно экзамен на магистра, поехал в Петербург для осмотра Эрмитажных собраний. Осенью 1871 года я поехал с женою в Одессу и, дабы не устраиваться сразу вновь хозяйством, поместился в комнате на квартире сотрудника «Одесского Листка» — Магера. Я получил в то время жалованье — 81 рубль с копейками, за комнату платил 15 рублей, обедать мы ходили на сторону, по 30–40 копеек за сытный обед из 2-х или даже 3-х блюд, и так сводили концы с концами, причем, даже могли ходить в театр. Надо отдать справедливость русскому югу, было время, когда заведенная в нем, по западной половине, польская культура создала чрезвычайно благоприятные условия для городской жизни, и в част-

ности, для шляхетского и интеллигентского пролетариата. Город Одесса был в мое время необычайно пыльным и совершенно безводным пустырем, но улицы его были также почти широки, как в Николаеве, и уже в те поры засажены акациями. Правда, если любитель природы рисковал в то время поехать на прогулку или к добрым знакомым на дачу на Средний или Большой Фонтан, он возвращался почти негром. Пыль, поднявшаяся над всем взморьем по воскресным дням, опадала только с росою, а в жаркие дни застилала горизонт. По многим улицам нельзя было проехать, начиная с осени и вплоть до лета, за исключением морозных дней. Когда же, ставший городским головою, И. Д. Новосельский предпринял замощение улиц, и для этого был выбран самый низкий уровень, а многие дома оказались с недостаточным фундаментом, то разрытые, глинистые ущелья некоторых улиц давали обильную пищу городскому острословию. Своего рода бедствием было отсутствие достаточной воды; бывало даже и в жаркие весны от бездождья истощались цистерны, и мне самому, однажды вечером под праздник Христова Воскресенья, пришлось с ведром искать воды для самовара и купить за полтинник половину ведра из архиерейского дома. Все же жилось в Одессе привольно; была городская жизнь, были и кружки, интересные своим разнообразием, и, проведя в ней 19 лет на службе, — не могу помянуть ее ничем тягостным, как с другой стороны, не могу и доселе придавать ей в России какого-либо руководящего

значения. Основная беда Одессы в том, что все ее сборное, пришлое население, что называется, смотрит вон из нее, в сторону былой родины: грек — своей, итальянец — в сторону Неаполя (чаще всего), француз и подавно Франции, а москвичи, как я, в сторону Москвы. Проживая в Одессе с сентября по апрель, я с самого начала стал уезжать на лето в Москву для житья там на даче; разъезжались также и все другие профессора — кто куда, так как дач под Одессой в те времена было очень мало, и больше собственные и для себя, а богатые люди ездили на лето в Крым. Лично для меня Одесса всегда была хорошей гостиницей, или постоялым двором, и также продолжаю глядеть и поныне. Между тем, весьма возможно, что в самом близком будущем Одесса может развиться в Марсель или даже более того. Но это по-прежнему будет зависеть от того, что будет представлять собою сама южная Россия, а ее удельный вес, несмотря на все богатства обширного и плодоносного района, был и останется очень велик. В то время, когда я жил в Одессе, она была хлебным складом, и хотя, например, итальянские скупщики издавна, по преданию, для выделки макарон предпочитали таганрогскую муку, однако жили и покупали ее в Одессе. С того времени, как известно, Таганрог, Ростов отпускают ныне хлеб на месте, и громадное количество хлебных магазинов Одессы переделаны ныне на жилые дома. Ряд капитальных фирм выбрался из Одессы, она осталась при своем, сравнительно малом районе, и тем не менее, если совер-

шится, наконец, изгнание турок из Европы, то вместе с колоссальным ростом европейского Константинополя начнет быстро идти в гору значение Одессы. Стало быть, теперь, когда я пишу, — это вопрос, можно сказать, нескольких дней, но, увы, в самой Одессе не найти и одного человека, который бы к этому делу относился с каким-либо вниманием. И, действительно, в самой Одессе явно нет и не будет того класса людей, который бы взялся за приведение ее к крупной роли — посредника между Восточной Европой и передней Азией.

Характер постоялого двора сказывался столь же сильно и заметно на университете. Когда я начал там преподавание, в нем еще ощущалась иностранная закваска прежнего Ришельевского лицея; в частности было, как я говорил, много немцев, поделавшихся профессорами из прежних преподавателей. Но прошло лишь несколько лет, как немцы перебрались в Германию, осталось лишь очень немного поляков, и университет стал заполняться пришлым с Севера профессорским персоналом. В большинстве это были все москвичи или петербуржцы, гораздо реже из Харькова или Казани. Все они приезжали в Одессу зачастую холостыми, но редко находили в ней знакомства вне профессорского кружка, а потому и женились обыкновенно у себя на родине или в местах своего научного образования. Затем семья заводила себе обязательно факультетские знакомства и за редчайшими исключениями никакого иного общества, кроме своего круга, не знала; так, например, мы с женою

за все время жизни в Одессе только в одной семье профессора русской истории — Смирнова видали порою иных одесситов, особенно греков, так как он был женат на гречанке. Правду сказать, однако, то местное общество, которое приходилось видать, было до такой степени мало культурно, порою дико (большинство греков происходило с Хиоса), что мало было охоты заводить с ними близкое знакомство. Таким образом, сам университет долгое время был предоставлен самому себе, и город его как бы не замечал настолько, что даже в местных газетах профессора стали участвовать, сколько я помню, лишь в 90-х годах. Сравнительно слабый интерес возбудило открытие Высших Женских Курсов по естествознанию, несмотря на громкую моду в столицах и столь же громкие имена Сеченова, Мечникова и др. Такое отчуждение университета от города имеет свои хорошие стороны, задерживая молодого преподавателя в тесном кругу, где он, конечно, находит более интеллигентную среду, и воздерживая его от нахватывания уроков в среднеучебных заведениях, и особенно держа его вдали от гнусной среды русских общественных деятелей провинции. Не зная, придется ли мне закончить свои воспоминания современным моментом России, спешу сказать, что большого умственного разврата и нравственного разложения, какое уже получилось за время, прожитое со дня так называемой русской революции, от общения университетов с прессою и политическими кружками провинциальных городов, даже придумать нельзя бы было,

не то что предугадать, но об этом после. Конечно, в этом монастырском заключении была и своя дурная сторона. В то время как сами профессора всецело поглощались внутреннею политикою университета, их семьи, а особенно жены, осуждены были, правду сказать, на сиротскую, тоскливую жизнь. Сиротскую потому, что большинство их приезжало из столиц, бросая родных и знакомства, а тоскливую потому, что эта внутренняя политика принуждала их сводить знакомства по принуждению, помимо личных симпатий и антипатий. Убогое домашнее хозяйство, ведомое на скудные средства, мало занимало профессорских дам, а всякие развлечения в Одессе всегда страдали от дороговизны, которою местные буржуа стремились оградить себя от наплыва неаристократов. На мой взгляд, и самое дело преподавания в Новороссийском университете по большинству его кафедр имело жалкую участь. Так, лично я сам до последних лет своего пребывания в Одессе никакими усилиями не мог снискать к себе внимания своих слушателей. Правда, студенты ходили аккуратно на мои лекции, при встрече впоследствии уверяли, что слушали с интересом, но в течение первых 15-ти лет у меня не появилось ни одного ученика. Я усердно готовился, еще более усердно читал, и все мои чтения куда-то проваливались в пустоту. Правда, и предмет мой был не ко времени; слушать классическую археологию или даже курс по эпохе Возрождения, не было ни у кого охоты. Бывало, на первых лекциях подходил какой-нибудь

мрачный студент, говоря: «Позвольте мне египетскую культуру», а потом и этого не доводилось слышать. Когда началась Сербская война, депутация от студентов, заранее настигнув меня мимоходом в коридоре, обратилась с просьбою — не экзаменовать их в этом году, а на мой запрос: «почему?», объяснили, что они будут заняты по текущему моменту политической историей славян и турок. Я отвечал им, что, к сожалению, факультет меня обязывает экзаменовать, и отослал их к нему. Долголетняя привычка читать по своей науке в пустой аудитории, где среди 20–30 слушателей не ожидаешь ни одного, который бы слушал, настолько восстановила меня против всякого чтения лекций, что я совершенно не в состоянии прочесть какую-либо публичную лекцию. Я вхожу на кафедру в таком состоянии, которое, надо думать, выдает заранее мою полную неуверенность в успехе и искреннее отвращение к той задаче, которая в самом принципе мне кажется нелепой. Только в Петербургском университете, где я преподавал всего 4 года, и будучи уже больным, я чувствовал себя на лекциях немного получше, так как с самого начала чтений уже знал, что между слушателями есть 2–3 занимающихся по моему предмету. Правду сказать, я очень рано примирился с этим безразличием своих слушателей в Одессе, отчасти потому, что видел их убогую подготовку (большинство из них были семинаристы), ограниченность их задач, сосредоточенных на усвоении кратких учебников по главным предметам, преподавателями

которых они обрекали себя заранее сделаться. Дело в том, что за то же время моего пребывания в университете по нашему факультету не было оставлено для приготовления к профессорскому званию ни одного человека, а затем первые два были оставлены мною, и третий по всеобщей истории. Между тем, даже на нашем факультете были профессора, у которых можно было послушать и было чему поучиться, таков, например, был известный в летописях нашего славяноведения Виктор Иванович Григорович, и профессор всеобщей истории — Филипп Карлович Брун. Правда, у первого уже был ученик, когда я приехал — А. А. Кочубинский, но у второго так и не явилось ни одного занимающегося. Правда, что и занимался он в мое время историей и географией южной и юго-восточной России в период переселения народов и подобные хаотические эпохи; не одних только студентов могло спугнуть название «утургуров» и «кутургуров», о которых особенно любил говорить Филипп Карлович в профессорской лектории, когда, явно неудовлетворенный аудиторией, он искал добровольных слушателей. Таким же добродушием и столь же живым пристрастием к славянам отличался Григорович, бывший воспитанник иезуитского коллегиума, и сохранивший от него подобие пожилого каноника в бедном приходе, и неуклюжую любезность лицемерного характера. Как старый холостяк, боявшийся не только общества, но и всякого незнакомого человека, Григорович, однако, не был нелюдимым, напротив того, он любил

разговаривать с каждым извозчиком, с базарными торговками и ходившими к нему со всяким книжным хламом антикварами. Всеми фибрами своего существа он только и стремился к единственной для него драгоценности — старым рукописям, заваливая свою квартиру, и без того неопрятную, ветошными, источенными книгами. Зато с каким экстазом он, бывало, поднимал у себя над головою древнейший пергаменный Паремейник. Он часто рассказывал о своих находках на Балканском полуострове. Пользуюсь случаем, чтобы рассказать, как ездили мы с ним в Петербург на III Археологический съезд, устроенный в 1873 году, по случаю юбилея Русского археологического общества. Уже и дорогою забавлял он компанию киевских профессоров своими старомодными рассказами, оказавшись необыкновенно словоохотливым. По своему, уже тогдашнему, обычаю, я угощал его в вагоне собственным горячим чаем с вареньем, а он ораторствовал перед нами, держа стакан в поддоне и поднимая его над головою в эффектных местах. Спросив у него стакан, чтобы налить еще, я увидел, что он от кипятка лопнул, и только по моему опросу Виктор Иванович догадался, что чай вылился весь в его собственный рукав, вместе с вареньем. От второго стакана он уже отказался. Порядочно изучив товарища дорогою, я, по приезде в Петербург, заранее отказался идти с ним в качестве депутата от Новороссийского университета на юбилейном заседании Археологического Общества, предоставив ему одному подать и прочитать напи-

санный адрес. Первыми шли депутаты старейших университетов, народ бывалый — знали как себя надо держать, подходили тихо и почтительно, так как председателем собрания был в. к. Константин Николаевич, а по сторонам его сидели все именитые и чиновные академики и почетные гости. И вот вдруг Григорович, отделившись от других тремя трагическими шагами, при каждом шаге подводя к себе ногу в положение налетающего орла или коня, примкнувшего свой зад к переду, чтобы прыгнуть, вдруг встал и замер перед Константином. Все замерло в зале, все ждали, что будет дальше; из груди Григоровича вырвался крик, раздался клич на всю русскую землю, на ее супостатов. Но, увы, в старческой груди уже не нашлось нот для боевого клича, и это был петушиный вопль, который услыхала смятенная палата. Григорович читал напыщенный адрес Императорскому... Русскому... археологическому (все громче и громче)... обществу (в голосе захлебнувшаяся волна). Зал слушает, недоумевает, а между тем петушиные вопли сменяются грозным гулом заходившей Украины и победными кличами пробудившихся запорожцев. Зал, наполненный великими княгинями, княжнами и их семьями, высшей бюрократией и многочисленными съехавшимися депутатами, недоумевал две-три минуты. После двух-трех фраз комизм старческих усилий воскресить былых и громогласных ораторов заразил публику. Через минуту вся зала смеялась, сначала отрывисто, а потом общим гулом раскатистого хо-

хота. Среди рядов пробежал юный князь Владимир, хохоча во все горло, за ним бежали компаньоны, каждый допрашивал другого — не знает ли он распотешившего скучный юбилей оригинала. Чиновный Петербург за вечерним чаем получил новый предмет для разговора. Сам Григорович сознал, что пересолил и, обращаясь ко мне, сказал: «Я старой декламаторской школы, кажется, не попал в общий тон».

Очень занимал меня своими беседами милый Брун, наивно убежденный в том, что все разделяют его интерес к великой смуте эпохи переселения народов и особенно народов Скифии европейской и азиатской. Не забыть мне того, как, бывало, остановившись на углу улицы, посреди тротуара, Брун горячими доводами покрывал робкие сомнения Григоровича, и в своей крылатке казался победоносным гарибальдийцем. Раз на съезде Брун читал свой трактат по исторической этнографии. Слушая его уже с полчаса и ничего не понимая в ту пору, я обратился к соседу — историку Иловайскому, который только что на моих глазах заявил о своем согласии с Бруном по вопросам начальной Руси, со своим недоумением: «Скажите, пожалуйста, о чем идет речь». «Подождите, сейчас будет видно». Утургуры и кутургуры скакали одни за другими, кто-то заходил и покидал Таматарху, и все-таки ничего нельзя было понять. В 1873 году я поехал с Бруном в круговую поездку по берегам Черного моря и набеседовался и наслушался у добродушного историка Черноморья столько, что много лет потом ме-

ня терзала мысль о том, неужели нельзя в этом сумбуре народных имен и географических терминов найти тропы, как в темном лесу, и положить какое-либо основание научному исследованию.

Не лишен был добродушия и некоторой любви к науке латинист Юргевич, к сожалению, отравивший себе свое существование затеей — создать из своей дочери оперную знаменитость. Певцы Одессы и Милана истощали все ресурсы его скромного кошелька, но она лишилась голоса, зачахла и обездолила всю семью.

Столь же обездоленным жил и молодой классик — Воеводский, способный ученик Люгебиля, но рано приобретший известность открытием каннибализма в поэзии древних греков. Воеводский перешел затем к другому открытию солярной и лунной теории в основе всей мифологии и поэзии всех народов; с той поры он всю остальную жизнь посвятил собиранию материалов для доказательства вездесущности своей теории и даже отрицал всякое творчество в поэзии и языке. Ничего путного он так и не написал. Очевидно, его талант держался только под условием работы среди просвещенного и сочувствующего кружка, а этого он найти в Одессе не мог.

Я перебрал всех профессоров своего факультета, интересовавшихся и продолжавших интересоваться наукою, могу, однако, добром помянуть несколько других, например, двух деканов факультета — Смирнова — русского историка, доброго, но капризного и угодливого начальству человека, и И. С. Не-

красова, профессора русской словесности, также доброго, также угодливого, но москвича, тогда как Смирнов походил и кажется был петербуржцем. Любопытно, что это их местное различие выработало на южной почве оригинальную типичность; оба были карьеристы, одно время ректорами, проникли в самую гущу университетской политики и связанных с нею интриг, но Смирнов оставался среди них более тактичным и приличным, имел знакомства на стороне, смотрел свысока на товарищей, им импонировал. Некрасов был из семинаристов, сын московского священника, стал представителем тогдашней интеллигенции, бегал в Москве по урокам, даже в жаркую пору с цилиндром на голове (засаленным) и в перчатках, имея с собою неизменный портфель, который чаще всего бывал пустым, — стало быть, для важности. Был добродушный бурсак, ссорился и мирился легко и без последствий, имел притязания на великосветское обращение, так как преподавал некогда детям герцога Лейхтенбергского, но свои манеры и выражения строил по образцам герцогской прихожей и купеческих сынков ловеласов. В университетском мире он славился тем, что, будто бы, потерял в багаже рукопись готовой диссертации. Любопытно, однако, что мне лично никто в Москве не мог сказать, на какую тему она была; дело в том, что следующая, написанная им диссертация была пропущена легко, — так как трактовала впервые более подробно о Домострое, — но с жестокой критикой, в виду того, что была написана поспешно и не-

брежно. Какова была его великосветскость, можно судить по тому, что он однажды за обедом простер свою услужливость до того, что, угощая из сифона сельтерской водой, окатил пол и даму, так как, видите ли, он видал в хороших трактирах, что половые иначе не наливают из сифона, как предварительно сбрызнувши из него в сторону. Он и руку вам тряс по-военному, стараясь ее оторвать.

Я бы мог рассказать много анекдотов о дурашливости профессора славянских наречий А. А. Кочубинского, тоже добродушного человека, но разыгрывавшего собой генеральский тип, но это уже сделано, и хорошо, в брошюре И. А. Линниченко.

Вообще за все время своей одесской профессуры я бывал крайне редко у членов своего факультета, и мне стало даже, года через три, неудобно их посещать, так как одно время декан Некрасов созывал даже частное совещание по вопросу о том, какими бы мерами можно было укротить расходившихся доцентов, в том числе и меня. Гнев некоторого числа профессоров моего факультета на меня возник в силу моего участия в деле защиты диссертации А. И. Смирнова «О русских былинах». Я принял в этом деле участие по обычаю, непосвященный вовсе в закулисные стороны дела, и по наивности выступил с суровой критикой книжки, видимо, написанной наскоро и без всякой подготовки по русской народной поэзии. Между тем, членами факультета было уже уговорено пригласить Смирнова доцентом, и кто-то с кем-то должен был после как-то породниться, стать кумом, или

что-то подобное. Два официальных оппонента высказались благоприятно. Я выступил последний, с багажом довольно уже облегченным, так как он был целиком вывезен из Москвы, правда, из чтения всех былинных сборников, тогда появившихся, равно из лекций Буслаева и т. п. Я позволил себе найти, что книга не отвечает вовсе требованиям установившегося уже критического уровня, задается совершенно легкомысленным спором с положениями и взглядами Белинского и его времени. Вполне чужда общеевропейской теории и истории народной словесности, и, как я доказал цитатами, черпает свои оригиналы из хрестоматий Галахова и других, где былины изданы, не зная сборников, оригинальных текстов и их вариантов. Волнуясь, я говорил резко, и, по-видимому, снискал такое расположение в публике, состоявшей в большом числе из студентов, что она, заслышав слова критики и неодобрения, повставала со своих мест и сгрудилась толпой около заседавшего факультета. После моей оппозиции начался шумный говор, среди которого начавший свои возражения профессор Трачевский едва смог поместить кратко и свой неодобрительный отзыв с заключением, что он присоединяется к моему мнению. А когда факультет, затем окончательно растерявшийся, вместо того, чтобы удалиться в особую залу для совещания, произнес все-таки одобрительный вердикт диссертации и степень магистра, то начался форменный скандал, топот, крики, вопли, ругань и погоня за некоторыми членами факультета по лестнице, и все обычные

эксцессы подобной университетской истории, которая, однако, не имела вовсе обычных же дурных последствий; члены факультета увидали сами, что перешли границы. Смирнов уехал в Варшаву, где стал даже весьма полезным профессором и издателем «Филологического Вестника», и лет через 25 даже посетил меня в Петербурге с заявлением, что я был совершенно прав в своем отзыве и что он не имеет на меня никакой претензии. Был он, видимо, тоже человек добродушный; помирились со мною после и члены факультета, и я проходил обычный стаж профессуры без всяких неприятностей.

Тем не менее, все мои личные симпатии и привязанности были сосредоточены на физико-математическом факультете, где несмотря на крайнюю разницу в наших научных интересах, профессор математической физики Н. А. Умов был моим приятелем, а профессора Сеченов, Мечников, Головкинский и А. О. Ковалевский или также приятелями, или настоящими товарищами и близкими знакомыми по семьям, а так как все они были более или менее замечательными учеными, и отчасти замечательными людьми, скажу об них, что знаю. Самый характерный из них был Иван Михайлович Сеченов, родом из дворян и помещиков Симбирской губернии, но рано ставший безземельным, послуживший в саперах, посвятивший себя медицине, ставший профессором Медико-хирургической академии, вышедший оттуда в результате истории с профессором Ционом — невеждою и проходимцем, попавшим в Академию благодаря благосклонному

начальству. Сеченов вышел из Академии в знак протеста и был избран в Одессу, благодаря стараниям вышеназванных членов факультета и тому, конечно, что он был уже тогда своего рода знаменитостью, как автор «Рефлексов головного мозга». Эта ученая работа Сеченова, связанная с основною темой материализма, доставила ему громкую известность во всем русском образованном обществе, хотя надо отдать ему эту справедливость, он был настолько умен, что мало ценил свою популярность и искренно желал настоящими научными работами сделать что-либо крупное для самой науки, и все свое время посвящал работам в лаборатории, как в бытность свою в Одессе, так и перейдя затем в Московский университет приват-доцентом. Что вышло из этих работ, это, конечно, знают хорошо специалисты, и поэтому я не буду вовсе этого касаться, замечу только, что я, заходя к нему в лабораторию, видел большие препараты по вопросам питания, желудочного сока, а также специально большой аппарат по дыханию. Это был замечательно умный человек, невысокого роста, крепыш, с широкой четырехугольной головой, слегка калмыцкого или скорее черемисского типа, узкоглазый, рябой, или совершенно обритый, или с крохотной бородкой, черноволосый, с грубыми и крупными волосами, подернутыми легкою сединою. Будучи по природе прямого характера, он развил в себе особую резкость и жесткость речи, обращения и манер. Жил всегда, как студент, в небольшой комнате, даже и тогда, когда к нему приезжала его гражданская жена,

тоже известная московская женщина-врач Мария Александровна Бокова. Известно, что связь Сеченова с Боковой послужила основною темою пресловутого романа Чернышевского «Что делать». Первое время Мария Александровна приезжала к Ивану Михайловичу Сеченову не более как на 1–2 месяца на побывку, и он все время ждал ее и тосковал по ней, а мы все старались развлекать его, и зато вдосталь развлекались наблюдением над этой четой, когда М. А. удостаивала появляться на нашем горизонте. Понятно, что она сама и ее отношения к Ивану Михайловичу особенно интересовали дам, и, вероятно, моя покойная жена могла бы порассказать вдесятеро больше, чем я. Но, имея привычку воздерживаться в общем от дамских суждений о женщинах, передам только свои собственные наблюдения. Мария Александровна Бокова была тоже умная женщина, но феноменально фальшивая, как дай Бог быть какой бы то ни было великой актрисе. Слащавость и утонченность ее разговоров могли бы восхитить самого Людовика XIV, причем она могла выдерживать разговор в таком тоне с кем угодно и получая в каком угодно тоне реплики. Я никогда не забывал ее рассказов о двух молодых людях, сочетавшихся браком и, по ее описаниям, бывших воплощенными совершенствами ума, красоты, нежной любви и благородства. Увы, впоследствии я очень близко с ними познакомился...[19].

---

[19] Прим. ред. Опускаются несколько строк, в которых идет речь о личностях, ныне здравствующих.

И так понятно, каждое появление Марии Александровны в обществе мне напоминало впоследствии мои посещения в театре французской комедии: столько же тонкости и фальши, сколько прямой грубости и резкой откровенности получалось от обоих, и можно себе представить, с каким нежным сожалением и постоянным подшучиванием относилась Бокова в обществе к своему сожителю. У Ивана Михайловича был целый ряд привычек, пристрастий, оригинальных вкусов и странностей. Он любил играть в ералаш, но всегда без денег и ругательски поносил своих партнеров, особенно дам, которые, конечно, портили почти каждую его тонкую игру; бывало, он с бешенством твердил растерявшейся партнерше, что ее действительно надо повесить за ее игру. Вдоволь наигравшись, в 9–10 часов вечера он уходил в трактир, где ему приятель официант обещал поставить рагу или какой-нибудь хитрый соус, недоступный нежным желудкам. Все его кулинарные пристрастия обращались в сторону ресторанов Италии и, о ужас, даже Парижа, и относились ко временам Пирогова, с которым вместе он учился гастрономии. Когда, бывало, у нас за обедом хозяйка с торжеством сама приносила на десерт свое лучшее пирожное или даже торт из кондитерской, он неизменно мотал головою, получая свою порцию, отставлял ее в сторону, говоря: «Нет, я уж лучше огурца-с», — и подставлял к себе блюдо с оставшимися огурцами от жаркого. После парадного ужина у проф. Шведова он, еще в передней, звал с собою, бывало, в

трактир, говоря: «Пойдем, поужинаем, как следует, а то тут только посуду подают».

Сеченов называл Мечникова, пока жил в Одессе, своей мамашей и, действительно, начиная с хлопот по выбору Сеченова в профессора и кончая его водворением на жительство в Одессе, вся жизнь Сеченова была предметом непрестанной заботы «мамаши», хотя сам Иван Михайлович, как человек, более чем самостоятельный и к тому же своенравный, вовсе не подавал к тому повода и, напротив того, над его заботами постоянно потешался. Но уж такова была натура Ильи Ильича. Страстность и забвение всего остального, кроме того, что его занимало, было основною чертою не только его темперамента, но и его ума. Раздражительность, крайняя нетерпеливость, преувеличенные страхи руководили Мечниковым не менее, чем его тонкий разум, и, когда я читаю Тэна о его вылазках против рационального основания человеческой жизни, государственного устройства, мне приходит постоянно на ум пример дорогого и глубокочтимого мною по памяти Ильи Ильича. Недаром самые умные из наших дам, и притом в пору наибольшей близости их самих и их мужей к Мечникову, боялись его, как огня. И это не из-за одного злого язычка его. Они хорошо понимали, что пришедший к ним и столь ласковый и так расположенный к ним Илья Ильич мог в течение вечера воспылать к ним глубокою ненавистью. Подозрительность его тоже не знала границ, и он однажды даже меня заподозрил в том, что я из-за какого-то

кандидата своего будто бы положил чужому белый шар; только непреложное свидетельство других и все мое телячье, по своей невинности, отношение к университетской политике, спасло меня от ссоры с ним. Столь же странным было одно время, в течение 2-х месяцев, обращение его со мною, так и оставшееся мне непонятным, хотя дружеские отношения наши не прерывались до конца. Интерес нашего знакомства с ним сосредотачивался, однако, вовсе не на университетской политике, хотя, благодаря своим связям с либеральной партией, я находился в течение 14-ти лет неизменно в ее рядах. Но, несмотря на весь свой ум, Мечников не пользовался и в ней никаким авторитетом и, наоборот, должен был, в одинаковых условиях со мной, исполнять веления этой партии, или, точнее, ее вождей. Когда ему, наконец, удалось освободиться от университетской политики и перенести свою активную деятельность в широкие круги Новороссийского земства, он с горечью поминал о своем рабстве в университетском совете. Первое крупное дело, потребовавшее его участия в земских делах, было придуманное им опрыскивание хлебов настойками эпидемических микробов для истребления всемогущего жучка «кузьки». Но одно лабораторное приготовление этих культур так заняло Мечникова, что можно было думать о полном поглощении его интересов хозяйственными делами. Благодаря Бога, этого не случилось: «кузька» сам пропал, пораженный эпидемией, но им самим разведенной и пропал пока бесследно вот

уже 40 лет. По счастью, Мечников перешел к болезнетворным микробам человеческого организма и еще в бытность свою в Одессе открыл знаменитую фагоцитозную теорию. По счастью не только для него самого, но и для науки, и всего человечества, это открытие совпало с его выходом из Новороссийского университета, о чем я скажу после, и близким знакомством с Пастером, в результате чего он переехал в Париж и начал новую, гораздо более обширную и плодотворную деятельность в институте Пастера. Итак, мое личное сближение с Ильей Ильичем основывалось главным образом не на университетской политике, которая, как и всякая кружковая политика, изобилует более неправдою и даже всякого рода гнусностями, а людей скорее разъединяет и ссорит, чем сближает и связывает, а на общей нашей любви к литературе и его желании серьезно разбираться в своих литературных вкусах. Что касается вкусов художественных, то он, однажды, навсегда, заподозрив мои художественные вкусы, из-за моего занятия византийским искусством долгое время ко мне не обращался ни с чем в этой области. Изредка, приходя ко мне в гости, он меня спрашивал: «Ну, как поживают ваши уроды», — а также подшучивал над моими археологическими поездками. Только побывав однажды в Палермо и будучи поражен красотою Палатинской капеллы, он вдруг напал на меня, почему я никогда раньше не говорил ему о такой прелести. Что касается литературы, Мечников ограничивался почти исключительно современной

русской и еще Шекспиром, а затем ни английские, ни французские романисты его не увлекали. Еще менее задумывался он о слабости своего исторического образования и, вообще говоря, обнаружил желание знакомиться с науками социологическими и, особенно, с политической экономией. Без некоторого чувства сожаления я не могу не вспомнить, что этот первоклассный ум придавал серьезное значение лекциям нашего профессора политической экономии А. С. Посникова, и один год прослушал весь его курс, правда, не более 20-ти лекций, над чем впоследствии подсмеивался сам первый. В Одессе Мечников пользовался репутацией дерзкого и тяжелого характера и обычно указывали на то, что однажды в совете, когда ему надо было возражать, а кругом все говорили, как то обычно в советах, он не задумался вскочить на стол. На самом деле, он более других нервился и раздражался от всякого спора, а тем более от ссоры. В отличие от своих обоих братьев Льва и Николая, которых я обоих немного знал, одного в Одессе, другого в Швейцарии, он вовсе не был бретером и имел отвращение к политике. Был в своем роде скопидомом, бережливым и рассудительным, любил и понимал музыку, был домоседом и, в качестве болезненного смолоду человека, мнительным, и излишне опасливым. Переехавши на жительство в Париж, специально заботился о покупке для себя резиновых галош холодных и теплых на зиму, с каковыми намерениями иногда приезжал в Россию. Путешествуя по Астраханским степям в

поисках нужных ему насекомых и личинок, возил с собою в телеге целую коллекцию бутылок с чайным настоем, чтобы не пить никакой воды. Живя в Париже, каждый фрукт, если съедал его сырым, то обливал предварительно кипятком. Облагодетельствовавши Лефермана, бывшего швейцаром в институте Пастера, подаренным ему бесповоротно и навсегда патентом на эксплуатацию лактобациллина, Мечников выговорил за то поставку ему требуемого числа кружек с его простоквашей и сам, получая их из лавки по числу лиц, имеющих у него обедать, привозил их лично в Севр. Остроумный одесский карикатурист изобразил его затем летом на прогулке в енотовой шубе и высоких ботиках, но в то же время с зеленым козырьком над глазами, для их защиты от света. Илья Ильич в ту пору жаловался особенно на глаза, утомлявшиеся от микроскопа. Бездомовность утомляла всегда крайне занятого Мечникова, и он был очень угрюм в первые годы жизни своей в Одессе, когда его больная жена жила на острове Мадере и он должен был к ней ездить. Но она скоро скончалась, и жизнь казалась Мечникову еще более безотрадной и, очевидно, недаром Сеченов жаловался на крайнюю заботливость своей «мамаши».

Через год мы знакомились с молодою женою Мечникова, урожденной Белокопытовой, из богатой семьи правобережной приднепровской Украины. Отец молодой жены был, помнится, гусар в отставке, отличался добродушием и гостеприимством, как и его жена. Семья состояла из двух сы-

новей и двух дочерей-близнецов, которых с трудом различали даже и знакомые. Когда, бывало, с полчаса говоришь якобы с женою Мечникова, Ольгою Николаевною, то вдруг, по какому-нибудь своему вопросу, слышишь: «Извините, вы ошибаетесь, я сестра Ольги Николаевны». Обе барышни были очень хрупки, белокуры, тихи, или даже робки, молчаливы и необщительны, но отличались обе, если не сильным характером, то настойчивостью, и, пожалуй, упрямством, говорю это потому, что сестра Мечниковой, выйдя замуж за профессора Медико-хирургической Академии Н. Я. Чистовича, несмотря на все предостережения докторов, грозивших ей смертью, в случае, если она родит ребенка, пожелала иметь его, родила и скоро после этого, действительно, умерла. Мечникова жила со своим мужем, можно сказать, всегда душа в душу, хотя, конечно, много страдала от его неровно порывистого и раздражительного темперамента. Он сам к ней был страстно привязан все время, и разлучались они только на самое короткое время, и тем не менее, а может быть, именно поэтому естественный в людских отношениях временный разлад, или даже ссоры протекали у них крайне остро. Однажды — дело было весною — уже около 2-х часов ночи кто-то сильно постучал к нам в парадную дверь, я отворил, то была Ольга Николаевна Мечникова, в большом смятении: «Пожалуйста, пойдите к нам, с мужем дурно», — «Но лучше позвать доктора», — «Нет, доктора не надо, пойдите Вы, он Вас послушает». Покорившись, иду, она

идет рядом и молчит. У самого дома говорит: «Он, кажется, принял очень много опиума по ошибке. Ему дурно. Но он не хочет принять меры, он знает, что нужно». Входим в квартиру, Мечников ходит по комнате, встречает меня без всякого возражения, начинается разговор на тему о необходимости сварить кофе покрепче. Не помню кто, — но начали варить крепкий кофе, Илья Ильич выпил, много раз потом смотрел в зеркало на свои зрачки, затем успокоился; дело обошлось только головной болью; что было в действительности, я не спрашивал и собственно не знаю.

Впоследствии Ольга Николаевна начинала даже работать по физиологии, но, затем, уже живя в Париже, ее оставила и перешла к живописи, к которой она имеет положительную способность. Она жива и до сих пор, а вышла замуж за Мечникова почти 16 лет от роду. Сеченов, вероятно, беспокоясь за удачность брака при такой разнице в летах (Мечникову было тогда уже боле 35 лет), подшучивал над Ильей Ильичем, что ему лучше бы взять жену до поступлении ее в школу. Сама мадам Мечникова в первые годы считала своего мужа стариком, так как ему было больше 30 лет. На их вечера собиралось много народу, но хозяйничал исключительно сам Илья Ильич, который и вел все хозяйство в доме, сам закупая, что получше, ибо был большой гастроном. Зная его довольно коротко, я могу, положа руку на сердце, сказать, что все отзывы наших дам о его дурном характере, или даже его злобности, и черствой душе, были совер-

шенная и вопиющая несправедливость к нему. Он был только крайне раздражителен, нервен и всегда утомлен работою, нетерпелив до крайности и лицеприятен или пристрастен и только.

Если угодно, пристрастность Мечникова была, по всей вероятности, придатком расового характера, хотя, конечно, должна была свидетельствовать об известной душевной мелочности. К проявлениям той же самой черты я должен буду отнести, по справедливости, и многие его политические взгляды; так, например, он был, что называется «левым» совсем не по убеждению, так как всегда стоял за порядок и строительство, а не за хаос и распад, но ему были, видимо, нестерпимы всякие привилегии, претензии, начальственные возгласы, как и всякие формы барства. Точнее всего, он был радикалом, но в то же время большим патриотом, искренно страдал во время Японской войны, и уже, конечно, не был доволен ходом русской революции. Любопытно и поучительно его мнение о русском человеке и русском народе, и существенно то, что мнение это он выражал, поселившись навсегда в Париже в Институте Пастера. Правда, мнение это он высказывал при мне с особенною резкостью, приехав однажды из Москвы в Одессу по делам. Разговор шел между тремя лицами — Мечниковым, бывшим его товарищем по университету, А. О. Ковалевским, и мною, и возник по случаю сделанного ему вопроса. Свою характеристику русского человека он начал с заявления, что в институте Пастера он принял за правило — не допус-

кать, кроме себя, больше двух русских специалистов для лабораторных занятий, так как только при этом числе он уверен в том, что сумеет не допустить с их стороны комплота или интриги. Если их будет трое, они сумеют удалить его самого и Ру, и затем поселить хаос в самом институте. Русский человек — восточный человек, коварный и жестокий, он напоминает тех восточных торговцев, которые, запросив с покупателя в десять раз дороже настоящей цены, ошеломляют его затем великодушным предложением взять вещь даром и, затем сбив его с толку, берут с него в пять раз дороже. На такой выпад Мечникова можно было возразить только одно, что с другой стороны и одураченный покупатель тоже должен быть русским, но именно в настоящее время, когда вся Россия поделилась на таких одураченных покупателей и жестоких торговцев, можно, действительно, произнести страшный приговор над всем русским народом. Торговец предметами первой необходимости ежедневно обсуждает в магазинах и на базарах расценку их на день, налагая обязательство на товарищей не преступать уговоренной цены. Мануфактуристы расценивают по сезонам все товары на расчет того, что они будут стоить в будущем сезоне, если весь товар будет раскуплен, а нового неоткуда привезти. Крестьянин рассчитывает, сколько он может взять за муку, если он задержит ее настолько, что в городе начнется голодовка. Получается круговой грабеж, причем не только цены растут до чудовищных размеров, но товаров часто

совсем нельзя найти; товары исчезают с рынка для того, чтобы цены сделали скачок. В конечном результате русские финансы оказываются уничтоженными, всякие предприятия становятся невозможными и культура начинает исчезать бесследно в стране. Конечно, со временем будет выдвинут один фактор — паника среди обезумевшей народной массы. Но, увы, когда видишь все это на деле и вблизи, скорее примешь мнение Мечникова, чем поверишь огульному оправданию темной массы, предавшейся панике.

Интересною противоположностью по темпераменту, характеру и самому складу ума был другой знаменитый зоолог одесского университета, ушедший отсюда в Академию наук, — Александр Онуфриевич Ковалевский, прославленный в своей науке открытием исходного фазиса позвоночного столба. Член разных Академий Европы и Америки, и истинный ученый. С точки зрения ученого типа, Ковалевский, в противоположность Мечникову, не блистал остроумием, но зато выделялся своею ревностью и жаждою работы. В то время как Мечников посмеивался над милейшим Видгальмом — энтомологом, точнее, жукомором или жуколовом, Ковалевский имел в душе страсть к энтомологии и собирательству. Мечников чуждался всякой собственности, по-видимому, побуждал своих к распродаже родовых имений, основываясь на сухих и жестоких расчетах, побуждал к продаже больших лесов в Киевских имениях, не заботясь вовсе о том, как губительно это для юга России, тогда как

Ковалевский хотел хозяйничать, приобрести имение на юге, купил себе дом на Молдованке, большой, хозяйственный и с землею, но совершенно сырой, и все-таки упорно жил в нем. Один был резок, настойчив, шибкий человек, а другой тих, уклончив, донельзя мягок, и в то же время необыкновенно настойчив и упорен; он изъездил все излюбленные зоологами места, интересуясь то скорпионами для своих исследований, то мелкой морской фауной.

Преемником Ковалевского стал потом известный зоолог В. Ф. Заленский, впоследствии тоже член Академии наук и продолжатель высокого научного направления в Одесском университете. Правда, на долю его и Ковалевского, по счастью, не выпадало таких жестоких испытаний, какие пришлось пережить самому Мечникову, по случаю разных эпидемий. Самой любопытной была борьба, предпринятая земством Новороссийского края с жучком «кузькой», когда университет переполнялся земскими деятелями, искавшими помощи в его лабораториях. Ничего подобного не выпадало на долю последующих зоологов, и они могли жить покойно, трудясь исключительно над научными исследованиями. К сожалению, общественная деятельность отнимала много времени у естествоведов, особенно химиков, милых и симпатичных людей, как Петр Григорьевич Меликов, Петриев и др. Правду сказать, провинциальная жизнь, отсутствие сотрудничества, перерыв научных связей действовали расслабляющим образом на многих

талантливых людей, отвлекая их мало-помалу и окончательно от настоящих научных работ.

Хороший геолог, ставший известным своими научными исследованиями Восточной России — Н. А. Головкинский, на наших глазах совершенно покинул науку, отвлеченный от нее должностью ректора, а затем, после неудачного ее исполнения, из-за политического положения бросивший вовсе университет и предавшийся в Крыму, где он владел большим участком земли, бесплодной сельской деятельности.

Основательный физик Ф. Н. Шведов также бросил науку, занялся ректорством и постройками университетских зданий.

Чрезвычайно талантливый лектор и еще более острый ум, Роберт Орбинский — профессор философии — отдался целиком делу заведования коммерческим училищем, покинув окончательно науку и литературу. В течение 20-ти лет я мог достаточно наблюдать, как печально действовало на многих способных к научным занятиям профессоров самое их пребывание в Одессе, вследствие отчуждения от той научной среды Москвы или Петербурга, которая их образовала. Легко было заметить, как сначала слабела научная деятельность и производительность, как затем люди отвлекались в сторону от своих главных и прямых обязанностей по приготовлению и чтению лекций, по интересу к преподаванию и занятиям студентов, как обострялось участие молодого профессора во внутренней университетской политике вместе с поисками новых

мест, а нередко и уроков в других учебных заведениях, и начиналось полное научное увядание человека, живого и способного, остроумного и даже совестливого. Еще естествоведы имели свои лаборатории, где, так сказать, поневоле проводили свое трудовое утро, тогда как математики и юристы обычно с утра и до обеда наполняли профессорскую лекторию, предаваясь там или пустой болтовне на выхвалку друг перед другом, или интригам и университетской политике, или, еще хуже, партийному злобствованию и заговорам. Таким путем Одесский университет, имевший, собственно говоря, по своей новости и отсутствию в самом городе той культурной закваски наших провинций, вроде Казани или Харькова, все шансы сохранять известную свежесть интеллигентной среды, распространявшейся из русских центров, давал полный пустоцвет на других факультетах, кроме естественного, и между тем на них были талантливые и знающие люди: большой знаток канонического права — Алексей Степанович Павлов, политикоэконом Вольский, Леонтович — будущий ректор, Богдановский — тоже ректор, Власов умный и способный юрист, А. С. Посников, П. П. Цитович. Большинство их занималось исключительно преподаванием, многие стремились к должностям ради власти и дополнительного содержания, или искали деятельности на стороне. То же самое было с математиками: С. П. Ярошенко, с 1881 года ставший ректором и палачом левой партии; В. Н. Лигин, занявшийся впоследствии также политикой и бывший попечителем округа.

Конечно, на этом однообразном фоне провинциальной профессуры, представлявшей монотонное отбывание скучного дела преподавания малоподготовленному контингенту слушателей (с Кавказа, из семинарии и т. п.), были и яркие пятна. Так, на нашем факультете, для меня лично, большим утешением и особенно полезным товариществом было присутствие Ягича, в продолжении 5-летнего его пребывания в нашем университете. Было трудно вести с ним знакомство семьей, наблюдать его регулярные занятия славянскими рукописями библиотеки, которые он, видимо, спешил использовать за время своего, им также рассчитанного, срока пребывания в Одессе. Конечно, Ягич уже не был вовсе образчиком русского профессора и походил, напротив, на нового германского ученого, который, меняя свои места преподавания, рассчитывает одновременно и свою научную деятельность, и свое передвижение по научным центрам. Правда, затем, в таком передвижении с целью хотя бы и научного использования материалов, представляемых городами и странами, уже не было заложено того германского идеализма, которым прославились иные университеты прирейнской Германии, но все же была научная, следовательно, идейная задача. Признаюсь, сам я лично примкнул именно и целиком ко взглядам Ягича и смотрел на Одессу с точки зрения ее выгод и удобств для первого периода собственной научной деятельности или даже, скорее, своего посвящения в науку своего предмета. С этой точки зрения Одесский

университет, не требуя от меня слишком многого, к чему я, быть может, и вовсе не был способен, как, например, быть талантливым и интересным лектором, наоборот, давал мне сам большие ресурсы. Отсюда мне было легко и в какие-нибудь два дня выехать за границу и даже на Восток: стоило только испросить у факультета заграничную командировку, правда, без всякого пособия, ибо факультет был в этом отношении сам беспомощен, отэкзаменовать, затем, немногих студентов, и в середине апреля уже можно было выехать на Кавказ, или в Константинополь и далее на Восток, или же через Вену в Италию, и уже там освежить свою научную школу общением с заграничными учеными, памятниками и собраниями. Конечно, была и оборотная сторона этой выгоды места: в течение зимы, за исключением лекций, мне иногда не приходилось и слова сказать с кем-либо по своему предмету; общее художественное невежество русской интеллигенции было настолько глубоко, что знакомые люди стеснялись даже задавать вопросы по искусству и его истории, равно как и по археологии, несмотря на существование в Одессе Общества истории и древностей. Но нет худа без добра, отчасти поэтому у меня не было никакого интереса посещать, подобно другим, лекторию с иною целью, чем просмотр столичных газет, в ней получавшихся, и благодаря этому я стал рано относиться враждебно и к делам университетской политики, к которой сейчас перейду с оговоркою, что лично интересовался ею весьма мало,

враждебно относясь ко всем ее деятелям, как левой, так и правой партии, и по существу не интересуясь совершенно никакими университетскими должностями.

* * *

<Особым отделом своих воспоминаний я намерен сделать посильные очерки, или типические наброски различных классов русского общества, с которыми я в течение своей жизни входил в соприкосновение. Считаю себя, при этом, обязанным по каждому такому подбору типов или [20] излагать открыто и правдиво свое собственное внутреннее отношение к тому или другому классу, как центру профессиональных сил и к той самой профессии, которую этот класс собою представляет.

Начинаю с духовенства, которое считал и буду считать высшим, руководящим классом в России, несмотря на временную разруху нашего государства и на чудовищный общественный развал, и отвратительное народное разложение, [которому] [21] считаю возможным предсказать в будущем колоссальную силу.

Я лично уже со времени своего студенчества не христианин внутренне и христианства не исповедаю. Но в то же время чувствую и сознаю себя искренне религиозным, но давно уже прекратившим

---

20 Так в тексте. — *Прим. сост.*

21 Слово вставлено составителем.

в себе, внутри, и в своем быту всякие поиски и порывы к возвращению той мечтательной и темной веры, которою был наполнен в юношестве. Еще будучи в старших классах гимназии я продолжал служить на клиросе, постился, умилялся на исповеди и причастии, затем стал ко всему этому холоден, пробовал читать Фейербаха и Штрауса, но это мне не нравилось, и между прочим, еще тогда, когда я не приступал к немецкой науке, меня от нее отвратило. Грубое и наглое отношение ученого протестанта к наивной евангельской речи мне всегда казалось издевательством, до тех, впрочем, пор, когда я вплотную познакомился с учеными работами таких вождей науки, как Гарнак и особенно Узенер. Сочинение последнего «О празднике Рождества Христова», явившееся, к сожалению, единственным из предпринятых им религиозно-исторических исследований, создало высшую школу научно-критического толкования Нового Завета и поставило лучшие силы Германии на верный и непреложный путь исследования; говорю — непреложный, так как по этому пути в конце концов будет достигнуто понимание евангельского текста с такою же научной точностью, с какой работают исследователи сил природы и, обращаясь к собственному опыту, те научные исследователи памятников искусства, которые, действительно, стали на путь исторической науки. Проще говоря, я уже теперь предвижу, что всякое евангельское слово через несколько поколений станет таким же историческим памятником, как любое художест-

венное произведение, и, стало быть, будет иметь свою историю, знать своих предшественников и преемников. Но тогда же евангельский текст раскроет нам подлинный, внутренний мир, всех исторических лиц Евангелия и своего общества, его создавшего, а также и само миросозерцание всех людских обществ, которые затем, последовательно или буквенно и слепо это Евангелие принимали, или же толковали вкривь и вкось, враждуя и волнуясь, веруя и обманывая. Вот почему, не веруя ни в какое откровение, я все же прихожу в религиозное настроение своего рода, когда вхожу в церковь, приезжаю в монастырь, беседую с духовною особою или читаю Священное писание и занимаюсь церковною археологиею. Правда, при этом я давно уже утратил конфессиональное различие и с одинаковым интересом беседую с русским архиереем или итальянским каноником, лишь бы это были представители подвижнического типа, а не его эксплуататоры. В последнее время могу говорить только с очень пожилыми иереями и старыми монахами, не терплю столичного духовенства и чувствую почти обязательное уважение к каждому профессору Духовной Академии, и это в то время, когда нахожусь в состоянии крайнего сомнения по отношению к университетским профессорам.

Я еще видел Филарета Московского, приезжавшего к нам в гимназию, и помню его восковое, совершенно бескровное лицо. Вполне верю, что духовенство боялось его пуще огня, и тому, что иные клирики, получив из уст святителя жестокое по-

учение, вешались или, даже поболев, умирали. Московские священники, в большинстве, были из семинаристов, пьянствовали и распутничали в прошлом веке. Я достаточно видал семинаристов, имел приятелем профессора церковной истории Амфиана Лебедева, и могу это свидетельствовать. В семинарском кругу «для здоровья», перед обедом, выпивали от трех до пяти больших рюмок или просто стаканчик, но главное и повальное пьянство было у купцов при требах и на праздниках. Но главным пороком у сельских попов было распутство их молодежи, и занос в деревню дурных болезней. В силу всего этого считаю, что Филарет Московский был истинный архипастырь и должен был быть строгим. Однако этот тип архипастырей почти совершенно выродился, и я лично видел разве только одного архиепископа в этом роде; это был Сергий Владимирский, известный своими учеными работами по православному месяцеслову и другим основным отделам церковной истории. Однажды, приехавши во Владимир, я встретил в его лице решительную оппозицию своему предприятию по улучшению русской иконописи, и походу против жестяных икон Жако и Бонакера. Сергий оказался искренним поклонником этих икон со стороны их благопристойности, дешевизны и даже с точки зрения прогресса. Недаром, он был по воспитанию семинарист до самой смерти, рачительный хозяин своей паствы, и эконом церковных имуществ и сумм. Жестяные иконы ему нравились, не доставляли никаких хлопот, и

кроме того страшный Петербург и обер-прокурор Победоносцев с Саблером уже положили свою резолюцию. Что особенно характерно — строгость Сергия проистекала, главным образом, из его природной робости, как ни парадоксально звучит этот вывод. Он был угрюм, нелюдим, говорил отрывисто, больше бурчал про себя, и хотя я бывал у него не раз, он никогда меня не напоил даже чаем; думаю, что он и меня боялся, я был из Петербурга, да еще товарищем был графу Шереметеву. В том же роде, но уже> не угрюмый, необыкновенно подвижный, даже юркий и жизнерадостный человек был знаменитый ученый иерарх — Порфирий Успенский, которого я знавал в 1877 году, когда он приезжал в Одессу. Мое воспоминание о нем полно очарования. Однажды, выходя из университета, я увидел архиерея с панагией, но в убогой черной рясе, садившегося на извозчика; я узнал, что это Порфирий, и через час уже шел к нему в убогую гостиницу, где он остановился. Я провел у него не более часу, но получил, можно сказать, благословение на ученые работы. Он тут же подарил все свои сочинения, какие с ним были, прислал другие из Киева, словом, отнесся ко мне так, как относились пустынники Фиваиды к своим сподвижникам.

Заслуги Порфирия перед исторической наукой вообще и русской в частности, можно сказать, неисчислимы, а его роль на греческом Востоке могла бы составить блестящую страницу в русской истории прошлого века, если бы русские историки

что-нибудь знали по нашим восточным делам. Советую каждому русскому образованному человеку читать по вечерам, когда мысль наша сколько-нибудь проясняется среди петербургского густого тумана и вековой затхлой атмосферы Москвы «Книгу Бытия» Порфирия Успенского в семи томах, изданную неутомимым В. Н. Хитрово на счет Палестинского Общества; там любознательный русский прочтет, что в 1847 году архимандрит Порфирий молил Бога о даровании русскому царю разума для того, чтобы он даровал России конституцию, на основании непреложных, и для него самого, законов. Порфирий всю жизнь свою изнывал, желая деятельности, полезной государству и народу, церкви и стране, свободной от посягательств и мытарств русских канцелярий и дикой злобы русских властей.

Я знал также известного Палестинского подвижника архимандрита Антонина и живо помню перед собою стоящим, маленькую, сухую, изможденную фигурку этого великого хозяина русских владений на Востоке. На скопленные и собранные отовсюду суммы скупал Антонин не переставая земли и владения, впусте лежавшие в Яффе и Иерусалиме, Вифлееме, горном Иерихоне, Хевроне и пр. В бытность мою в Иерусалиме, куда бы ни задумывал выехать в окрестности, арх. Антонин или провожал, или ехал вперед и устраивал там в своем владении гостеприимную встречу с чаем, овечьим сыром, лепешками или хотя бы просфорами; везде были у него свои люди, всюду процве-

тало хозяйство, со всего получалась польза. Он был большим любителем старины, искренно желал чему-либо научиться.

<Сравнительно больше числом пришлось мне, на своем веку, видеть архиереев, которые вызывали во мне глубокое уважение своими моральными сторонами духа, вполне общечеловеческого, и открыто говоря, слабого, таков был, например, Киевский митрополит Флавиан, тихий, добродушный и приветливый человек. Архиепископ Новгородский Феогност — большой хлопотун, но человек робкий, беспомощный, бывший, видимо, под опекою Саблера. Лишь немногие из них достигали такого душевного уровня, на котором они вызывали или представление людей глубоко несчастных по своему мнимо высокому, но глубоко приниженному положению, каким изображен у Чехова владыка из его рассказа «Архиерей», или даже такие, которые на большинство мирян производят впечатление святых людей, как например, известный Феофан. Я лично видел его лишь раз, и на меня он произвел впечатление крайне болезненного и нервного человека. Современное глубокое почтение, воздаваемое в самом духовенстве Феофану, я себе объясняю, может быть, и неправильно, глубоко приниженным, во всех отношениях, уровнем русского монашества в настоящее время. Дело в том, что, на мой взгляд, истинная святость должна быть, так или иначе, полным умиротворением человеческой души, до степени безмятежной ясности и покоя, тогда как в лице Феофана мне показались

некоторые признаки близкого нам человеческого беспокойства.> Один лишь раз за все время своей жизни я видел подлинно святого человека, русский солдат, выпущенный некогда в чистую, после 50-летней службы, и лет 10-ть уже живший затворником на Синае. В день, когда ему приносили пищу, я прошел к нему, разговорился, и так как, очевидно, он почувствовал все мое глубочайшее к нему сыновнее почтение, то он после краткой беседы согласился даже пойти ко мне и выпить стакан чаю с хлебцем. Единственный вопрос, какой он мне предложил, был такой: «А как, батюшка, у нас уродился хлебец?». Он решительно отказался от моего предложения сказать, откуда он родом, чтобы дать знать о нем родным в Россию. Кратко рассказавши о самом себе, он затем замолчал и совершенно безучастно сидел молча у меня, пока не попросил разрешения уйти отдохнуть к себе.

<Русское монашество, как известно, давно и бесповоротно утратило в русской религиозной жизни всякую тень влияния, и, можно сказать, без преувеличения, что в России духовенство и церковное управление построено целиком на пресвитерианстве; лишь немногим обителям, выдвинувшим у себя исключительных подвижников, удалось, и то в пределах ограниченной местности, создать себе известное влияние на общество. Большинство мужских монастырей имеют заслуги единственно лишь в хозяйственном отношении, которое, правда, имеет колоссальное значение для народа, служа живым образцом труда, порядка и

общинного хозяйства. Как известно, однако, число таких хозяйственных обителей становится все меньше и меньше, и в русском церковном управлении за последнее время наблюдалось даже стремление заменять мужские монастыри женскими, но вред от распространения женских монастырей, казалось бы, слишком ясен для того, чтобы эта затея прокуратуры могла утвердиться. Конечно, монах и послушник мужской обители еще может устроить хозяйство на Валааме, Коневце и пр., и даже на Новом Афоне, хотя и развращается от праздности у Сергия в Троицкой лавре, и у Александра Невского в лавре, но наши женские обители при крайне низкой культурности русского крестьянства редко могут основать свое собственное производительное хозяйство на рукоделии и различных мастерских. Обыкновенно изделия таких мастерских (укажу на образцы Ново-Девичьего монастыря) обходятся крайне дорого, или даже ограничиваются различным кустарным вздором.

Крайне жаль, конечно, что русский иеромонах есть явление большой редкости в России так, как русский священник слишком подавлен своею жизнью, заботами о семье, чтобы быть отзывчивым к чужим или, тем более, общественным нуждам. Лично про себя скажу, что все мои встречи и знакомства с иеромонахами расположили меня решительно гораздо более в их пользу, чем знакомство с белым духовенством: в последнем слишком мала доза его профессии, и слабо сознание долга его

служения. Чрезвычайно редки, наконец, стали и такие владыки, которые могли бы быть названы хозяевами своей епархии. Большинство владык ограничивается исполнением многочисленных бумаг, заменивших прежнее хозяйственное управление епископством. Замечательный пример хозяина мне довелось увидеть в лице Новгородского архиепископа Арсения, который, действительно, напоминает собою владык древнего Великого Новгорода, ревнуя столько же о красоте служб, порядке и благочинии, сколько о хозяйстве, собирании иконных коллекций, насаждении садов и сохранении церковного имущества.>

* * *

Граф Сергей Дмитриевич Шереметев был очень любопытный человек, созданный или сотканный из самых разнообразных и доведенных до крайности личных особенностей. За время с 1897–1912 год я имел случай узнать его очень близко и порою считал эти особенности даже не типичными, а типическими: большого помещика, знатного человека, тончайшего придворного, — словом, воплощением родовитого типа в России. По временам, признаться, видя, как он идет по Невскому, как бы подпрыгивая своими полувыгнутыми, кочевническими ногами, я начинал думать, что, прежде всего, основной тип шел от татарского князя. И, правда, тонкое и замечательное лицо Шереметева, красивое по контурам, с ноздрями, как бы

надорванными (в старину называлось это гугнивостью), напоминало восточное происхождение, и такими ноздрями отличаются иконы Кирилла Александрийского. Порою же мне казалось, и теперь я это считаю более правильным, что Шереметев был прежде всего типическим воплощением русского знатного барина, и недаром любил рядиться боярином, и притом времен Алексея Михайловича. В самом деле, граф был близким приятелем с Александром III, когда тот был еще наследником, и они служили вместе в одном гусарском полку. Неожиданная смерть Александра III дала, очевидно, основной мотив дальнейшему существованию графа. Император Николай II, по вступлении на престол, тотчас же попросил Шереметева продолжать близкие отношения к нему самому и к его семье, но, видимо, опасался или даже прямо не хотел предложить ему какой бы то ни было руководящий пост. Понимая, однако, по-своему роль приближенных к нему людей, он искал постоянно сам связей с Шереметевым, приглашал его к себе бывать без вызова, спрашивал его мнения о ходе дел, а может быть, и о роли государственных лиц. Но всему этому царскому вниманию помехой была императрица Александра Федоровна, как известно, невзлюбившая сначала, а потом не терпевшая своей свекрови, которая, между тем, оставалась всегда в дружеских отношениях с графом. По своему обычаю, для всех других высоких особ очень неприятному, но для него самого наиболее подходящему, Николай II желал сохранить и жену, и мать

при себе, а равно приятелей покойного отца и друзей жены. Мне недавно старый университетский служитель, бывший курьером, или, что называется «летючкой», при встрече сказал: «У меня, ваше превосходительство, тоже два сына: один в Петрограде — большевик, другой в пространстве России — доброволец, а я здесь в Одессе держу нейтралитет». Так и Николай II держал нейтралитет у себя в гостиной и в приемных, и Шереметев, чувствуя это, искал приблизиться к нему, но на безответственном посту. Вот почему граф Сергей Дмитриевич заинтересовался русской иконописью до такой степени, что в течение 10 лет считал свой интерес к ней главным своим делом. Мысль об этом подал ему впервые я сам, и мы уговорились поехать с ним по иконописным слободам Владимирской губернии. Поездка состоялась в 1899 году [22], и так как она получила, со временем, решающее значение для нас обоих, а может быть, и для самой иконописи, то я войду в некоторые подробности о ней, тем более, что она сама по себе была не лишена интереса (см. мою записку «О положении русской иконописи»). Отсылая любопытствующих во-1-х, к своей записке, а во-2-х, к протоколам Иконописного Комитета, скажу здесь кратко и без обиняков, что все это экстренное дело возникло в результате синодального разрешения двум заводчикам русской ваксы: Жако и Бонакеру, изготовлявшим для ваксы и других надобностей жестян-

---

[22] Прим. ред. На самом деле, в 1900 г.

ки, — печатать на жести иконы. Обе фирмы наперерыв друг перед другом постарались заказывать лучшие образцы икон в русских слободах, но чаще ограничивались покупкою иконных экземпляров и, пользуясь полной свободой, воспроизводили их на своих жестянках. Конечно, слух шел о том, что они дали большую взятку кому надо в Синоде. Конечно, все иконописные слободы взвыли от такой печатной конкуренции своим художествам и даже фабричным изделиям, но что было гораздо важнее, сама иконопись стала направляться к исчезновению, так как ясно: ручной труд не может соперничать с машинным печатанием. Таким образом, судьба, или так называемый капитализм, капиталистическая система, осудила русское иконописное художество насмарку, и только современная война, разрушившая легко и наскоро устроенные фабрики и заводы, задержала на некоторое время полный разгром иконописного мастерства.

Приглядываясь вообще к историческому ходу нашей русской культуры, я уже давно пришел к заключению, что она идет, видимо, на убыль, и количество культурных ценностей в России идет, постепенно понижаясь, но об этом общем выводе скажу после. В данном вопросе я имел слабость лично заинтересоваться сохранившейся у нас живой стариною. Нельзя ли хотя в этом убогом ремесле суздальских богомазов сохранить нечто свое, что давно уже утратили европейские страны: Франция с конца XV века, Германия и Англия после Реформации, Италия с XVII века и

даже греческий православный Восток в конце XVII века.

Мы поехали с графом Шереметевым в конце мая, и погода щадила нас только первые дни путешествия, а вернулись мы уже из нашей поездки, гонимые жестокими ливнями, превратившими болотистую почву Владимирской губ. в речки и озера. Зато нас принимали как настоящее начальство, благодаря тому, во-1-х, что граф был в это время уже членом Государственного Совета, и исправник Вязниковского уезда счел себя обязанным сопровождать его в своем экипаже впереди, с провожавшим нас В. Т. Георгиевским [23]. Я ехал с Шереметевым и под дробный гул падавшего дождя слушал былое из его жизни. Крестьяне различных деревень уже на другой день нашего приезда полу-

---

[23] Василий Тимофеевич Георгиевский известен своими трудами в области церковной археологии. Его перу принадлежит описание некоторых монастырей, среди которых выделяется работа о фресках Ферапонтова монастыря. Состоя в Иконописном комитете, он был ближайшим сотрудником Н. П. и иногда сопровождал его в поездках по церквам и монастырям. Последние годы служил в Историческом музее, занимаясь в отделе тканей, где собирал обширные материалы по русскому старинному шитью. Умер в Москве в 1925 году. (Прим. С. К.) [В. Т. Георгиевский (1861–1923) работал в Историческом музее, видимо, лишь несколько месяцев в 1922 г. Основное место его службы была реставрационная мастерская по шитью и металлу при Оружейной палате. Упоминается его книга «Фрески Ферапонтова монастыря». СПб., 1911. 158 с. 7 цв. и 40 ч.-б. табл. — *Прим. сост.*].

чили сведения о приезде графа и нередко даже под лившим дождем выстраивались рядами по деревне посмотреть. Я видел сам, как одна баба при нашем приближении истово перекрестилась, и слышал, как мужик ей сказал: «Что ты в своем уме, чего ты на него молишься» — «Он, батюшка, царя видает». Я помню, что не поверил этому умилению. Конечно, это была ходебщица по обителям, тертый калач, знала, как угодить и ответить, а преданность свою русскому царю, надеюсь, русские показали ясно, без прикрас, что она такое. Равно принимали нас в самих иконописных слободах все иконописцы, как мастера, так и заводчики с почтением, но вместе с тем с недоумением и враждебными опасениями, как бы не пострадала коммерция и их порядки. Но, правду сказать, и охоты не было не только вмешиваться в эти порядки, но даже и близко всматриваться в них. Все безобразие русских кустарных промыслов, весь ужас ручного производства дешевки грозил угнетать всякое добросовестное исследование как экономического положения, так и художественного уровня. Самым идеальным типом иконописца был мастер, работающий сдельно вместе с одним или двумя подмастерьями на поставку крупному промышленнику. Мастер, набравший учеников, уже становился производителем дешевки и эксплуататором малолетнего труда. Еще тяжелее было осматривать большие мастерские, так называемые заводы, и слушать рассказы о том, как заводы фолежного ремесла, т. е. выделки икон с украшением фольгою и ис-

кусственными цветами, ухищряются поставлять ходовые иконы по несколько копеек штука.

Тем не менее, я лично получил много практических сведений по иконописному производству, а главное — ряд поучительных фактов, идущих из глубокой старины и объясняющих на деле формы древнего искусства и их историческое сложение. Богатые иконописцы и заводчики, ожидавшие нашего посещения, предлагали нередко у себя закуску с чаем и даже держали запряженными заранее лошадей, чтобы отвезти нас к себе домой. Все это, конечно, сильно мешало самому обзору, но в то же время, видимо, для самих иконописцев казалось понятным праздником: слух шел ни много ни мало о том, что сам царь прислал близкого человека разузнать нужды русской иконописи.

Мы остановились в Мстере у самого крупного чеканщика... и он за первым торжественным обедом удостоил нас речи, обращенной к графу, с выражением радости по поводу нашего приезда и единственного желания хозяина получить от графа разрешение на осмотр фамильного дворца в Кускове, в окрестностях Москвы. Не могу отказать себе в удовольствии приложить на справку следующий эпизод. Этот самый чеканщик не менее хлопотал и обо мне, когда я, бывая в Мстере, у него останавливался. Раз я приехал в Мстеру из Вязников на извозчике, и он не хотел везти меня далее по иконописным селам, а я опасался ехать в телеге, зная по опыту, каково ездить в ней по бревенчатым мостовым и гатям. Так вот, мой любезный хозяин

выпросил при мне у одного мстерского заводчика его рессорный экипаж для меня, нежно выражаясь: «Уж вы, Иван Петрович, оставьте политику, успокойте его превосходительство». И вот рядом с этою заботливостью мне пришлось выслушать впоследствии иное откровенное мнение мстерского крестьянина иконописца, в лице того же чеканщика, о дворянстве, и вот по какому поводу. У него был племянник, которого фамилия прочила пустить по привычному делу. Не тут-то было, он отпросился у дяди и поехал в Петербург: что он там делал, мне неизвестно, но однажды является ко мне и тихим, еле слышным голосом, как бы боясь себя утрудить и уронить свое достоинство, рекомендуется как племянник моего мстерского знакомца, и, когда я его спрашиваю, имеет ли он до меня какую-либо нужду, он меня огорашивает небывалою просьбою — «определить его в летчики». Я даже привстал с места, прошел мимо него, подозрительно поглядел ему в глаза и, заверяя его всякими увещаниями, выразил, кажется ясно, что могу только пустить для него несколько детских шаров, чтобы он мог от меня вылететь из квартиры. Правда, дело было уже в 1914 или 1915 году, когда русский народ уже ополоумел, по крайней мере по моему мнению. Нимало не смущаясь, он продолжает приставать, уверяя, что и дядя это одобряет, и меня просит, и его прислал ко мне именно с этим, что он бы никогда и не подумал идти ко мне, если бы не дядя, и в то же время называет мне сильных мира, именно Петербурга, которых бы надо

только попросить и его сейчас возьмут. Я спрашиваю, а где он теперь находится. Отвечает, что он студент Варшавского Политехнического института и бросает институт потому, что страстно хочет идти в летчики. Припоминает, что главный покровитель этого дела в России в. к. Александр Михайлович. Я тоже вспоминаю, что могу попросить в таком случае П. Н. Шефера, пользующегося особым расположением великого князя. Пишу Шеферу на карточке просьбу и отсылаю с нею просителя. Через три дня является — принят учеником в авиационную школу, получил содержание, вполне устроен, будет учиться. Проходит не знаю сколько времени, является ко мне опять, — видите ли, изведся совсем от теоретических курсов, а до сих пор не летал, видит только, как другие летают. Нельзя ли сделать, чтобы его отправили в Севастополь, где летают. На мое замечание, что успеет еще сломить себе голову, даже не улыбается, настаивает. Даю ему записку к М. М. Ковалевскому. Как и на кого подействовал Максим Максимович, не знаю, но только не его одного, но и всех его товарищей вывезли в Севастополь, где тогда была сосредоточена авиация. И вот через несколько времени ко мне приходит дядюшка с заявлением, что летание не пошло, племянник оказался неспособен по здоровью и авиацию бросил. Жалуясь на племянника и сокрушаясь о нем, дядя все задавался у меня вопросом. «И откуда это у его такая дворянность?» Я переспросил: «Какая дворянность?» «Ну, вот дрянность эта — дворянность». Тогда только я

припомнил из своего старческого опыта, что, действительно, в русском народе куда как много, если не истинной «дворянности», то «дрянности», и полагаться на непритязательность, аскетизм и суровый приговор всякой «дворянности» в русском народе то же самое, что верить скромности и непритязательности какой-либо приживалки старого времени. То сурово-аскетическое воздержание от всяких послаблений, которое мы знаем на родине и во времена Катона, не может быть уделом ни русского барина, но и не русского мужика. Русский мужик доселе разделяет вкусы и привычки тех варваров, которые с разрешения византийских властей в IV веке, переправляясь через Дунай гостить у византийского императора, переодели своих детей, по свидетельству византийского историка, сразу в царские костюмы.

Наша собственная дворянность, или, если угодно, «дрянность», помогла сохранить, однако, самую жизнь во время путешествия, когда мы выехали из Мстеры в Холуй и Палех. Во-1-х, пошли дожди — можно было поднять верх фаэтона, а во-2-х, можно было, хотя шагом, проехать по бревенчатым мостовым, которые, как то было и во времена «Слова о Полку Игореве», были настланы «по болотам и грязивым местам». Все это было в обилии, и мы ехали иногда по сплошной воде среди залитых грязью деревень. Зато везде встречали радушный прием, в Холуе, у Н. Н. Харламова, устроившего там свою великолепную мастерскую артель и иконописную школу. Этот, поистине, деловой влади-

мирец, истинный художник, создал себе из этого дела своего рода подвиг, увы, бесплодный, как и все подвиги на русской почве. Все, что Харламов делал сам, расписывая соборы, исполняя отличные иконы, все пошло впрок, было хорошо скроено, ладно исполнено, но все общественное дело пошло насмарку, и слобода Холуйская восстала против его помощи в силу векового недоверия. В Палеховской слободе мы застали еще ряд прекрасных мастеров, накупили у них икон, заказали еще больше, но были крайне огорчены приемами местного иконного фабриканта, известного Сафонова. Этот главарь всех иконописцев, составивший себе большое состояние, является, своего рода, археологическим извергом, или Геростратом. Именно Сафонов переписал в 1870-х годах и на глазах всей комиссии, за ним наблюдавшей, все раскрытые фрески Успенского собора во Владимире. Тот же Сафонов переписал до неузнаваемости (и тоже под наблюдением художественно-археологической комиссии) паперть Московского Благовещенского собора, и он же покрыл гнусною иконописью стены Софийского собора в Новгороде. Вида преступника он, однако, не имеет и пользуется до сих пор в Синоде высшим авторитетом по украшению русских церквей. Результатом нашей совместной поездки был впоследствии доклад Государю о положении русской иконописи и мерах к исправлению ее упадка и улучшения этого положения.

Доклад этот состоялся утром после приема министров и продолжался около часу, чем, вероятно,

утомил Государя. Но мне было необходимо выяснить ему, почему именно не только правительству, но даже лично самому русскому царю следовало в то время озаботиться поддержкою иконописи, а главным мотивом была необходимость создания особого иконописного комитета с его личным участием. Но пока я выяснял Николаю II самое положение иконописи, я ясно видел, что он утомлен, не вникает вовсе в представляемые резоны, и потому решился сократить все представление и не говорить вовсе о том, как организовать эту помощь. Когда я закончил, Государь заметил только, в виде вопроса, следующее: «Я думал о том, как назвать по-русски ваше занятие иконами — иконоведение, не правда ли?» Это было все, чего мы дождались от Государя. Я поспешил прибавить в виде вопроса тоже: «Ваше Величество, разрешите представить Вам особую записку?» — и, получив утвердительный ответ, мы откланялись. Шереметев, за все время аудиенции не сказавший ни слова, был, видимо, разочарован, и я должен был его, едучи домой, успокаивать тем, что Государь, видимо, был утомлен, и говорить ему о деле было неудобно, или бесполезно. Очевидно, граф принял это к сведению и переговорил со своим родственником и приятелем, а в то время всесильным министром внутренних дел Сипягиным, который и попросил меня к себе. На этой аудиенции я рассчитывал изложить дело подробно, но и это не удалось, так как Сипягин прежде всего пожелал мне показать свою новую столовую, украшенную пышно орна-

ментикою, в так называемом византийском стиле, под руководством архитектора Султанова. Внутренне я мог только пожалеть о том, как искажено было здание второго или Николаевского ампира, но должен был подчиниться обязательной вежливости. Затем в течение четверти часа я должен был изложить положение иконописцев в зависимости от синодского распоряжения. Сипягин мало обратил на это внимания, но ему, видимо, не понравилось выраженное мною желание, чтобы Государь, по старому обычаю, принял лично сам некоторое участие в деле, и, когда я стал приводить ему резоны, он задумался; было видно, что это не входило в его расчеты. Он даже предложил мне с самого начала устроить комиссию при Святейшем синоде, на что я ему сказал, что комитет устраивается в известном смысле против Св. Синода, и, следовательно, подчинить его обер-прокурору или как-нибудь связать его с ним считаю для своего участия, по крайней мере, немыслимым. Тогда Сипягин, сославшись на множество дел, попросил меня в видах формальной постановки дела начать особые переговоры и совещания с его доверенным чиновником, директором департамента общих дел В. Ф. Треповым, который будет, затем, министру ежедневно докладывать, пока мы выясним. Я охотно этому подчинился, так как рассчитывал, что, хотя у этого найдется, наконец, время вникнуть во все обстоятельства довольно сложной конструкции. Не мог рассчитать я лишь одного, что, хотя Трепов и был умный человек, и слушал меня внимательно,

и даже одобрял мои резоны, но тем не менее он был, прежде всего и более всего, большой петербургский чиновник, который постарался исполнить дело по чиновнической строгой программе. Эта программа не допускала того, чтобы русский Государь принимал сам непосредственное участие в каком бы то ни было деле, ибо он в таком случае выходил из-под власти чиновников, или петербургской бюрократии. Так оно и было потом выполнено, причем роль Государя была ограничена тем, что он сам учреждал Комитет и вне какого бы то ни было ведомства, но всякое его личное участие было устранено. Председателем Комитета был назначен граф Шереметев, долженствовавший докладывать о делах самому Государю, а я назначен управляющим делами. А так как дело проходило вне канцелярий и некому было выделить из проекта распоряжение о двух назначениях, то и вышло, что вместе с положением Государь подписал на одном листе, как бы особым параграфом, эти два назначения. Любители законоположений диву дались, что указом Сенату мы двое с графом утверждены на своих местах без права нашего увольнения, иначе, как вместе со всем комитетом. Мне, по крайней мере, лично пришлось объяснять таким любителям простые причины подобной исключительности. Мне неизвестно, был ли перепечатан этот указ Государя в полном собрании свода законов, но если это было сделано, то юристам оно доставит некоторое развлечение в законодательной практике. Прибавлю кратко, что мы вновь явля-

лись затем опять на прием к Государю с графом Шереметевым, представляя ему присланные из сел иконы. Государь смотрел их уже с большим интересом, заинтересовавшись особенно одним моим доводом против жестянок. А именно, я говорил ему, что при исключительно машинном производстве икон сама иконопись выйдет у нас из употребления, а потому, в конце концов, останутся только одни ходовые иконы святых наиболее распространенных, а те православные, которые носят сравнительно редкие имена, уже не найдут для себя в лавке икон своих ангелов и должны будут уже за дорогую цену их особо заказывать...

Н. П. Кондаков о В. С. Соловьеве [24]

Дня три тому назад была я у Н. П. Кондакова. Я спросила его, знавал ли он Владимира Соловьева, и вот что он мне рассказал про их знакомство.

«В Москве был я преподавателем в гимназии, и пока довел свой класс до конца, я так вымуштровал его — как роту солдат: Иванов — то-то Семенов! Андреев! — играл я как по клавишам, вызывая одного за другим. Нравственная дисциплина была мною достигнута, но я так устал на этой работе, что совсем выдохся и ослабел, и решил бросить педагогическую деятельность. Мне предложили место инспектора с тем, чтобы через год стать директором гимназии, но я отказался и решил заняться наукой и отправился в Лондон [25] .

В то время жил там Соловьев, и мы почти ежедневно встречались в Публичной библиотеке, где и он, и я работали. Кончив работу, он обыкно-

---

[24] Название дано нами. Печатается по тексту, написанному рукой княгини Н. Г. Яшвиль (А ИИИ АН ЧР. KI-43). Княгиня (1862–1939) была близким другом ученого в 1922–1925 годах в Праге. После его смерти Н. Г. Яшвиль стала основным инициатором создания Семинария им. Н. П. Кондакова. — *Прим. сост.*

[25] Это было в 1875 г. — *Прим. сост.*

венно заходил в тот зал, где я читал, и мы вместе отправлялись обедать в ресторан, где была средняя публика. У Соловьева на дому бывал я редко. Слышал, что он увлекается спиритизмом, но со мной об этом он не говорил, а я знал и видел, что он часто забегает на спиритические сеансы.

Раз как-то зашел я к нему. Он занимал комнату в нижнем этаже, куда вход вел прямо с улицы. Другой двери не было. Когда я вошел, Соловьев усадил меня у письменного стола и просил минуту обождать его, т. к. ему надо сбегать к кому-то на две-три минуты. Действительно, взяв шляпу, он быстро вышел, а я стал разглядывать книги на полочке его стола — его библиотечка. Первая книжка, попавшаяся мне, был Кант. Я хотя и кончил по философии, и меня даже уговаривали остаться при университете, но философия меня мало привлекала. Кант утомлял меня как всякое слишком отвлеченное мышление.

Тут я только что раскрыл книгу, как вернулся Соловьев. „Вы что тут рассматриваете?" — спросил он. — „Да вот Канта взял". — „А вы не заметили вот этого письма на столе? Посмотрите — это интересно. Я ведь живу один, уходя запираю комнату и ключ беру с собой. Второго ключа нет. Однако, вернувшись сегодня домой, я нашел на столе пакет этот с письмом. Неправда ли странно? Прочтите". Я взял письмо. Оно было написано неравными крупными буквами [26] такого формата. Письмо са-

26 Нарисована буква «П» высотой в 1 см. — *Прим. сост.*

мое обыкновенное, просящее свидания и т. д. ... „Ну, что скажете?“ — „Да что же?! Вероятно, забыли дверь запереть — кто-нибудь вошел да и положил письмо“. — „Нет, дверь была заперта и никто не мог войти“. — „Ну так значит вы сами его написали и положили на стол; бывают же лунатики, не помнящие своих поступков. Советую пойти к врачу и посоветоваться“. — „Я никогда лунатиком не был и совершенно здоров“. — „Тогда бросьте мистифицировать меня; я не женщина, и меня этим не удивите“. На этом я встал, и мы простились.

Прошло лет десять. Я был в Академии [наук][27]. На заседаниях бывали далеко не все члены Академии. Так, помнится, никогда не бывал Лев Н. Толстой и почти никогда Чехов. А Вл. Соловьев иногда посещал заседания. На одном таком заседании шел оживленный обмен мнений, Соловьев что-то записывал. Мы сидели рядом. Вдруг он передает мне записку и просит прочесть. Я вдруг узнал тот самый почерк, которым было написано „таинственное“ письмо, оказавшееся на его столе в Лондоне. Сомнений для меня не было».

Дальше, разговаривая о Соловьеве, Никодим Павлович сказал, что ему очень повредила его слишком рано наступившая слава. В человеке есть два элемента: он самый, каков он есть, и то, что люди хотят в нем видеть. Так, в Соловьеве хотели непременно видеть пророка. Он же не был пророком, а лишь талантливым и умным человеком.

---

[27] Слово вставлено составителем.

Перед женщинами рисовался, и женщины играли роль в его жизни, хотя он почему-то давал понять и распускал слух, что «женщин он не знал». Говоря затем о Сергее Николаевиче Булгакове [28], сказал: «Удельный вес и у него, и у Соловьева тот же, но Соловьев, конечно, был и умнее, и талантливее».

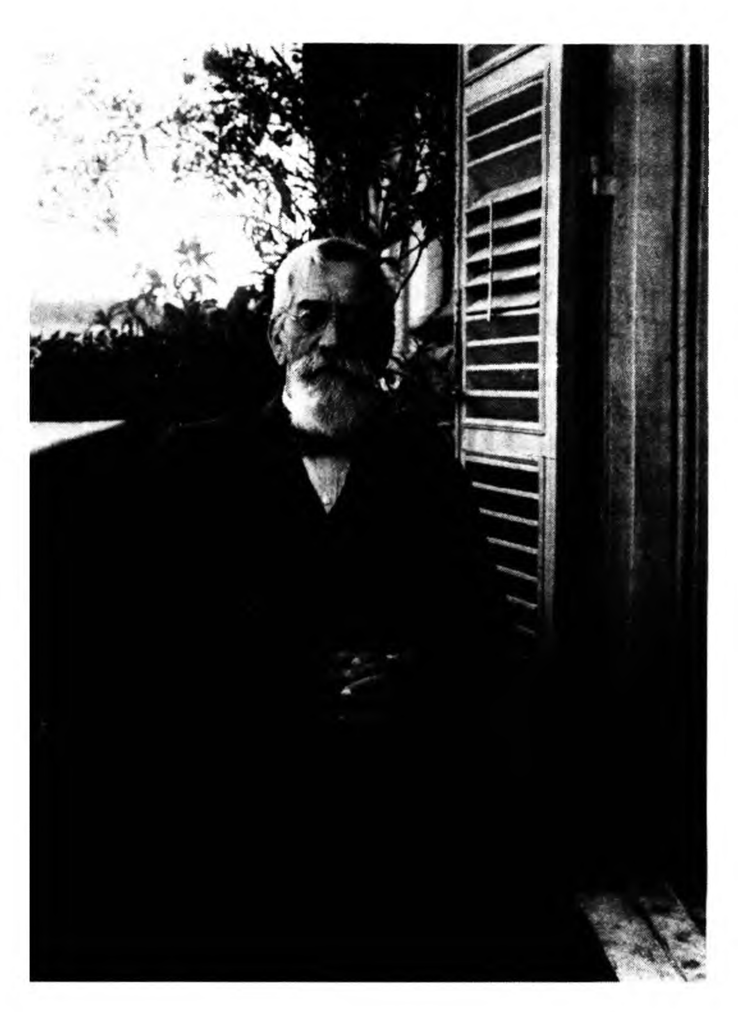
Кн. Н. Яшвиль
3/19 марта 1924 г. Прага

Публикация И. Л. Кызласовой

---

[28] С ним Н. П. Кондаков общался в Праге в 1923 г. — *Прим. сост.*

Приложения



Н. П. Кондаков. Италия. 1910-е годы

Никодим Павлович Кондаков
1844–1924

К восьмидесятилетию со дня рождения

Прага, 1924

НИКОДИМЪ ПАВЛОВИЧЪ
КОНДАКОВЪ

1844 — 1924

Къ восьмидесятилѣтію

со дня рожденія.

Со статьями

проф. Л. Нидерле, д-ра Е. Миннса, проф. А. Муньоса,

академика М. И. Ростовцева, проф. С. А. Жебелева

и И. И. Толстого.

ПРАГА

1924

Любор Нидерле (Прага)

Значение Н. П. Кондакова в славянской археологии

С академиком Никодимом Павловичем Кондаковым я познакомился только в Праге, в 1922 году, куда его пригласил чешский Карлов университет для чтения лекций на философском факультете. Конечно, труды его я хорошо знал задолго до нашей встречи. Впрочем, работы Н. П. в большинстве относились к истории позднейшего искусства, но несколько книг он посвятил и древним временам; именно эти сочинения и сблизили меня с Н. П. раньше, чем я имел честь познакомиться с ним лично.

Благодаря своим трудам, перечень которых привожу далее, Н. П. занял исключительное место не только в ряду ему современных выдающихся русских ученых, занимающихся археологией России, но — и это я могу утверждать без малейшего колебания — в девяностых годах прошлого столетия стал во главе их всех. Можно сказать, что некоторые из них были большими специалистами в отдельных вопросах отечественной археологии, но, насколько могу судить на основании знакомой мне современной русской литературы, ни один из них не владел материалом так широко и не обрабаты-

вал его так всесторонне, как Н. П. Кондаков, хотя в его суждениях на первом плане выступал историк искусства, который свой взор направлял прежде всего на явления искусства древних культур, образовавшихся и обосновавшихся на территории Восточной Европы, и он оставлял в стороне материал, который не относился непосредственно к искусству, но который способствует выяснению взаимных отношений культур и народов и помогает в деле решения разных вопросов доисторической, исторической этнографии и истории культуры.

Итак Н. П. писал свои труды прежде всего с точки зрения историка искусства, но то, что он написал и ввел в обращение, было очень ценным вкладом для понимания и осознания древних культур Восточной Европы, а наряду с ними и древней славянской культуры. Хотя археология искусства является только частью общей археологии, однако, нет сомнения, что она способствует познанию, так как именно посредством искусства передавались всегда наилучшие черты всякой древней цивилизации. Искусство служит ясным доказательством высоты и силы культуры, ее воздействия на другие и указывает место, которое принадлежит ей среди других культур.

Рассматривая труды Н. П., поскольку они имеют отношение к древностям вообще, и древностям славянским в особенности, я имею в виду прежде всего «Русские древности в памятниках искусства», изданные при участии графа И. И. Толстого в Петербурге в 1889–1899 годах.

Место, мне предоставленное, не позволяет изложить их содержание и указать все новое, что было внесено этим сочинением в современную науку.

Русская археология древнейших периодов до самого начала XX столетия, когда появились прекрасные работы молодых ученых, обладала, конечно, многими трудами, вызывала много воодушевления, но мало обнаруживала систематической работы и положительных результатов. Большею частью бродили, как в потемках, среди трех периодов: киммерийского, скифского и, наконец, славянского, взаимоотношения которых оставались совершенно неизвестными. И именно в это время появилось на русском книжном рынке новое большое сочинение Н. П. (научная обработка материала принадлежит исключительно Никодиму Павловичу) — оно обозначило собою начало нового периода в истории русской археологии. Настолько большой научный успех ему сопутствовал, что даже не знаю, был ли он в России как следует понят и оценен; за границей же значение сочинения сразу поняли, и Соломон Рейнак поспешил выпустить его французским изданием. В то время я работал над своею книгою «Человечество в доисторические времена»; вскоре, в 1896 г., она появилась в русском переводе, и именно в связи со своими занятиями сумел оценить и понять все значение «Русских древностей». Это было первое, смелыми штрихами начертанное, указание этапов древнейшего периода русской истории на основании материала, собранного в русских музеях и других хранилищах и, даже думаю, в самой Рос-

сии не всем известного. Н. П. Кондаков взялся смелой рукой за этот материал, сумел сгруппировать его, установить связь между вещественными памятниками, определить их происхождение и датировку, так что цельная картина, им обрисованная в пяти выпусках «Древностей», явилась, действительно, историей культуры и искусства, обнаруженного на почве России. Если мы теперь рассматриваем некоторые детали иначе, то это всецело зависит от того, что с конца XIX столетия появилось довольно много нового материала, который, естественно, повлек за собой новые точки зрения и новые заключения. Но общее содержание и главные выводы работы Никодима Павловича остаются постоянно незыблемыми, и «Русские древности» будут считаться основным трудом по русской археологии еще долгое время.

Если «Русские древности» должно рассматривать, как капитальный вклад в русскую археологию, то их V и VI выпуски имеют не меньшее значение для славянских древностей. Равным образом и другие сочинения Н. П. внесли ценные пополнения в область славянской археологии: «Русские клады», том I (СПб., 1896 г.), «Византийские эмали» собрания А. В. Звенигородского (СПб., 1892), «Изображение русской княжеской семьи в миниатюрах XI века» (СПб., 1906 г.) и «Македония» (СПб., 1909 г.).

Пятый выпуск «Древностей» содержит в себе впервые сделанное обозрение находок славянского периода с точки зрения искусства, причем памятники относятся к тому времени, когда на русское

славянство оказывали сильное воздействие восточные и византийская культуры. В этом и в следующем выпуске кратко и ясно изложено начало народного славянского искусства.

На славян издавна оказывали влияние большое количество иноземных культур: скифо-сарматская, римская, готская и скандинавская; только культурное влияние Востока, занесенное в X век арабской торговлей, и затем византийское, начиная с XI и XII столетий, сделали то, что славянская художественная промышленность, которая в незначительной мере отражала предыдущие чужеземные течения, охотно пошла навстречу новым, в силу чего появились сначала грубые подражания, и лишь позже работы более совершенной техники и вещи самостоятельного изобретения, хотя и выполненные в византийско-восточном характере. Группировку материала и установление влияний я считаю самым важным вкладом, который внес Н. П. в изучение славянских древностей. Впоследствии это было пополнено не менее ценным и даже гениальным изложением его взглядов и выводов в сочинении об «Истории византийской эмали» и в «Русских кладах».

Итак, хотя труды Н. П. Кондакова как историка искусства шли прежде всего по другому направлению и восходили к другим временам, тем не менее ему принадлежит одно из самых первых мест и в области изучения славянских древностей. Множество его ценных определений и заключений еще долго будут служить источниками для знаком-

ства с происхождением и сущностью славянского и в особенности русского искусства. Книги его — настоящие источники знания; они все отличаются анализом и новостью заключений и отсутствием мало доказанных гипотез. Можно только пожелать Н. П. Кондакову окончить еще то, что до сих пор осталось в зачатке: именно II том «Русских кладов» [29], который, наверно, принесет опять много нового для истории славянского искусства.

29 Эта работа завершена не была, ее рукопись нам неизвестна. — *Прим. сост.*

Эллис Миннз (Член Пемброк колледжа, Кэмбридж)

Область южнорусских и скифских древностей

Если припомнить положение науки о южнорусских и скифских древностях в восьмидесятых годах до появления труда гр. И. И. Толстого и Никодима Павловича — «Русские древности», то ясною становится заслуга последних. Со времени Неймана общего взгляда на предмет не было высказано, а Нейман предшествовал великим открытиям И. Е. Забелина и других исследователей, работавших для прежней Археологической Комиссии, и, следовательно, он не мог дать оценки результатов археологических находок. Кроме того, великолепные государственные издания были доступны только тем, кто мог пользоваться большими библиотеками: экземпляры «Древностей Боспора Киммерийского» и старых отчетов Археологической Комиссии были наперечет по крайней мере в Западной Европе.

В силу этого, у Н. П. явилась счастливая мысль переиздать в доступном виде рисунки из этих роскошных фолиантов. Работа переиздания вела за собой пересказ того, что написано о Ски-

фии у древних авторов и пересмотр всего предмета. На страницах «Русских древностей» найдутся первые намеки на многое, что с тех пор стало достоянием всеевропейской науки. Представление о последовательной смене скифской культуры сарматскою и последней тем стилем, для которого до сих пор не удалось найти подходящего названия, стиль готов, стиль эпохи переселения народов, впервые нашли себе там определение. Вводя в оборот науки Сибирские древности, похороненные у de Linas'a или в неудавшемся издании Академии наук, авторы, если и не выяснили всех затруднений, то по крайней мере поставили задачу на широкую ногу, и тем самым мы узнали, что эта проблема распространяется на всю ширь Евразии. Отсюда идут исследования Дальтона, Стржиговского, Ростовцева. Отсюда проистекает некоторое понимание «звериного» стиля и его важности для всей истории искусства от Ассирии до романской эпохи. Все это, естественно, развивается из того, что было сказано Никодимом Павловичем. А когда мы, наконец, поймем и древности Кавказа, то первые вехи на этом пути окажутся поставленными тем же исследователем. То же самое относится и к древностям Пермского края, и если отдел о сассанидских вещах непосредственно составлен покойным Яковом Ивановичем Смирновым, то он все-таки ученик Н. П. и работал под его руководством.

На важное значение этого труда наглядно указывает то обстоятельство, что проф. Соломон Рейнак, лучший знаток в Европе того, что нужно для

археологической науки, сейчас же отметил появление сочинения на малодоступном русском языке и опубликовал французское издание. Если взять какую-либо книгу об юге России, хотя бы мою, то число ссылок на «Antiquités de la Russie méridionale» дает понятие, скольким мы все обязаны этой пионерской работе. И эта работа не есть работа специалиста, но всестороннего ученого, специальностью которого, если можно так сузить его широкий размах, является Византия.

Да позволено будет мне сказать несколько слов о личных отношениях — я никогда не забуду ни приема, какой мне оказал Никодим Павлович, когда я, 25 лет тому назад, приехал молодым, неизвестным начинающим ученым в Петербург, ни заботливости, с какой, когда я захворал в Ялте, ходила за мною его покойная жена, незабвенная Вера Александровна. Без такой поддержки моя поездка в Россию осталась бы бесплодной.

Бью челом основателю правильного взгляда на скифские древности, Никодиму Павловичу Кондакову!

Антонио Муньос (Рим)

Работы Н. П. Кондакова и Италия

С чувством глубочайшего волнения присоединяюсь к чествованию знаменитого русского ученого Н. П. Кондакова по случаю 80-летия со дня рождения и с величайшим уважением преклоняюсь не только перед выдающимся ученым, открывшим столь широкие горизонты перед историей христианского и византийского искусства, но и перед глубокоуважаемым человеком, который, подобно другим своим соотечественникам, несмотря на изгнание и события на своей Родине, спокойно и уверенно продолжает свои исследования, находя утешение в своей любимой работе.

Как итальянец, я особенно рад, что могу выразить мое уважение Н. П. Кондакову, который знает и всегда любил Италию, как немногие из иностранцев. До войны он обычно проводил в Италии ежегодно по несколько месяцев и до тонкости знал наши музеи и памятники средневекового искусства. Имя Кондакова пользуется широкой известностью среди итальянцев, занимающихся историей искусства и видящих в нем непревзойденного учителя в области изучения византийского искусства. Им бы-

ли сделаны важные открытия, касающиеся наших памятников искусства: так, например, в своем выдающемся сообщении, сделанном в 1877 году «Обществу чтения лекций по христианской археологии» в Риме под председательством Джан-Баттиста де Росси, он первый доказал, что деревянные двери св. Сабины в Риме, обычно считавшиеся работой XII–XIII столетий, относятся к V-му веку. Тогда же этот великий римский археолог оценил молодого русского профессора и с тех пор всегда любил его.

Наиболее известной в Италии (потому что имеется французский перевод) является книга «История византийского искусства главным образом по миниатюрам» (Париж, 1886–1891 гг.). Эту книгу справедливо считали в течение долгих лет основной работой по византийскому искусству. Подготовляя ее, автор имел возможность изучить все греческие кодексы с миниатюрами в итальянских библиотеках. Можно сказать, что он первый познакомил нас и определил истинную ценность многих рукописей Ватиканской библиотеки, в которой в то время работали лишь немногие ученые. Если даже впоследствии более широкие исследования, сделанные разными учеными, изменили многие места работы Кондакова, то все же можно утверждать, что и до сих пор его общие соображения о развитии византийского искусства остаются правильными и точными. Итальянским специалистам по византийскому искусству, владеющим русским языком, хорошо известны и другие крупные работы Кондакова о памятниках Афона, Сирии и Палес-

тины, Македонии и более поздние иконографические изыскания о Мадонне. Для нас особенно интересны те из них, в которых Кондаков устанавливает связь между итальянской живописью XIV–XV века и русской иконографией. Этот том лишь часть большого труда о Мадонне в искусстве, над которым еще работает неутомимый ученый и которую мы надеемся скоро увидать законченной [30] .

Заканчивая этим пожеланием, я приветствую от имени итальянских ученых великого русского ученого, являющего своей жизнью, целиком посвященной науке, светлый пример, достойный уважения и восхищения.

---

[30] См. выше примеч. 11. — *Прим. сост.*

М. И. Ростовцев (Оксфорд)

Странички воспоминаний

Никодим Павлович Кондаков. Не мне и не той группе моих старых петербургских друзей, с которыми была связана вся моя жизнь добольшевицкого периода, оценивать научное значение и научный удельный вес более чем полувековой работы нашего ближайшего учителя, а затем дорогого друга. Это должны сделать другие, менее нас связанные с ним годами совместной жизни и работы. К тому же моя личная научная работа только частью соприкасается с работой Н. П., и в этой части она получила правильную и исчерпывающую оценку в заметке нашего общего друга Э. Х. Миннза. Позволю себе поэтому в этих строках вспомнить о том, как личность Н. П. влияла на тех, кто, как я, формально, только косвенно может причислить себя к сонму его учеников. Когда я, в 90-х годах попал студентом 3-го курса в Петербургский университет, я был совершенным младенцем в области археологии, начинающим филологом классиком. Впервые об истории искусства и об археологии я услыхал от Н. П., в его лекциях — не по его ближайшей специальности — об истории классического искусства. Н. П. уже тогда имел славу большого ученого, и, мы, юные классики, смотрели на

него с уважением, несколько смешанным со страхом. Не знаю, много ли я вынес из краткого курса Н. П. Помню, как будто я даже какой-то реферат ему прочел. Воображаю, что это было за произведение!

Но, очевидно, что атмосфера его лекций была заразительна, атмосфера того Музея древностей Петербургского университета, в котором затем протекла значительная часть моей научной жизни. Если не прямо от Н. П., то от того кружка, который создался в Музее древностей и где другим гениальным вдохновителем был покойный Ф. Ф. Соколов, с которым мне не пришлось поработать, я воспринял его энтузиазм к древности, его любовь к памятникам, его метод к строгому и точному знанию. «Фактопоклонниками» звали членов этого кружка. Были ли они поклонниками фактов как таковых, я не знаю. Я таковым не сделался. Но от них и косвенно от их учителей я научился понимать, что первое в научной работе это строго и точно, по источникам после любовного их изучения, установить факты. Не думаю, чтобы «фактопоклонником» в уничижительноме смысл был когда-нибудь Н. П., и даже Ф. Ф. Соколов, как ни тяготел он к этим фактам. Вся эта терминология кажется теперь несколько смешной и старомодной, но в 80-х и 90-х годах это была здоровая реакция против смутных и малообоснованных обобщений, к которым так склонны русские люди.

А. Н. Щукарев, рано умерший, Д. В. Айналов и его друг Редин были старшими членами кружка.

Более близки мне по возрасту и с тех пор мои ближайшие друзья были Я. И. Смирнов и С. А. Жебелев, с которыми частью связаны были Б. А. Тураев, Г. Ф. Церетели, а затем Б. В. Фармаковский. Я. И. Смирнов, ближайший и наиболее блестящий из учеников Н. П., первая жертва систематической голодовки для интеллигенции, впервые в анналах истории изобретенной большевиками, был, несомненно, наиболее сильной и цельной личностью из нашего кружка. Что я взял от него лично и что через него от Н. П., я не знаю, но эти влияния сыграли рядом с другими немалую роль в моей жизни. Я впервые стал ощущать, что без археологии в истории древности далеко не уйдешь. И это, конечно, шло прямо от Н. П. Чистым археологом я не сделался, как не сделался и классическим филологом. Но я пытался и пытаюсь быть историком древности, понимание которого основано и зиждется на археологии и классической филологии.

Извиняюсь, что говорю так много о себе. Но я — пример. Другие во все разраставшемся кружке испытали то же влияние и пошли mutatis mutandis по тому же пути. По этому же пути идут и наши ученики. И одну колею этого пути глубоко провел для нас Н. П.

Прошли мои годы студенчества, начались годы заграничной командировки. Судьба мне благоприятствовала. После Константинополя, Греции и Италии я попал в Вену. И здесь в один весенний день я встретился с куском Музея древностей: Н. П. ехал в Испанию с Я. И. Смирновым, с кото-

рым судьба меня постоянно сталкивала во время моих европейско-азиатских скитаний: и в Греции, и в Турции, и в Италии, и в Лондоне. Через Италию мы двинулись всем кружком в Испанию. Присоединился к нам и стипендиат Академии художеств — художник-архитектор Л. М. Браиловский. В этой незабываемой поездке Н. П. нас ровно ничему не учил. Он нас не «водил» и ничего нам не «показывал». Он с нами ездил, ища своего и предполагая, не без основания для Я. И. Смирнова и Л. М. Браиловского, что мы тоже чего-то ищем и для чего-то собираем материал. Относительно меня он ошибался. Я просто ездил и смотрел, лучше сказать учился смотреть и видеть. Мало кто знает, как это трудно. Этому трудному делу я научился от Н. П. и от Я. И., хотя они никогда меня этому не учили, а только смотрели сами и делились со мной тем, что они увидели. Одних глаз для этого мало. Нужно иметь и царя в голове.

По возвращении из командировки я уже не застал Н. П. читающим лекции. Он их всегда читал мало и неохотно. Слабо было его здоровье, да, пожалуй, и сердце к этому не лежало. К тому же выборы в Академию позволили Н. П. заниматься этим только тогда и поскольку он этого хотел. Время свое он делил между Крымом, заграницей и Петербургом. Влияние его и его rayonnement от этого, однако, не пострадали. Наши ученики, особенно ученики Д. В. Айналова, как-то сами собою делались его учениками: за чашкой чая на его днях, во время поездок в Крым, при случайных встречах

в Италии. Помню эти ночные чаи, поздние, длинные, горячие, хотя чай не всегда бывал горяч, а я, грешный, предпочитал ему крымское вино.

Дом Н. П. был настоящей «Свободной Академией». Часто ли мы говорили об археологии, не помню. Вероятно, часто, т.к. все ею более или менее занимались. Но говорили и о политике — и подчас довольно горячо — и о разных текущих делах. Связь с Н. П. и его влияние, таким образом, не прерывалось. И тут, как и в Испании, он никогда, по крайней мере мне, не давал советов, прямых указаний. Ораторствуешь о каком-нибудь своем открытии, а он... мычит, м-м-м. И это мычание не раз было так выразительно, что заставляло призадуматься. А то говорит о своих работах.

Война и революция наш кружок, нашу «Свободную Академию» разбросали. Все мы оказались ненужными для той России, для которой мы жили и работали: и те, которые влачат печальную жизнь под большевицким игом, и те, которые, как Н. П. и я, из этого ига вырвались. Наша работа в России растоптана и разбита. Мы вынуждены учить других тому, что мы продолжаем считать нужным и важным для России. Но я, по крайней мере, хотя и не виделся много лет с Н. П., чувствую, что я все еще член кружка Музея древностей и один из участников горячих дебатов «Свободной Академии». Надеюсь, и другие, которые еще живы и «не продали шпаги своей», чувствуют так же, как и я.

Мы чувствуем свою духовную связь с Н. П. и можем только пожелать ему, чтобы судьба, такая

мачеха для всех нас, показала нам, наконец, свое доброе лицо, если таковое у нее есть, и позволила, хотя бы Н. П., вернуться в Россию и вновь собрать за чайным столом обломки своей «Свободной Академии», к которой присоединятся те новые ее члены, которых он, несомненно, собрал около себя в Праге. Большой дух и широкий ум притягивают независимо от места.

10 августа 1924 г.

С. А. Жебелев (Ленинград)

ΟΞΥΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Σοφίας δὲ οὐκ
ἀντισχύει κακία
(Премудрость Соломона 7, 31)

Говорить о Н. П. Кондакове как ученом не приходится: слишком громка его ученая слава. Нет нужды говорить мне здесь, в этом кратком приветствии к 80-летней годовщине его рождения, об его ученых заслугах: все существенное, что, по моему мнению, я мог и должен был сказать, мною недавно еще изложено в первой части моего «Введения в археологию». Надеюсь, там не преувеличены заслуги Н. П. перед наукою вообще, ни перед русским просвещением, в частности. Уверен, что оценка этих заслуг — объективна.

И в своем кратком приветствии я хочу быть объективным. То, что мною будет сказано, можно было бы подтвердить многими фактическими примерами, почерпнутыми из моей памяти за время слишком 25-летняго, почти непрерывного, тесного общения с Н. П. Началось оно с осени 1890 г., когда я был приглашен Н. П. помогать читать корректуры его сочинения «Византийские эмали». Прервалось это общение в апреле 1917 года, когда

Н. П. покинул тот город, который он часто бранил и за его климат, и за разные его непорядки и неустройства, но ко времени пребывания в котором относится, бесспорно, самая блестящая, плодотворная пора его деятельности. Вот главные вехи этой деятельности: преподавание в университете, подарившее науке, между прочим, такую силу, какою был столь любимый и ценимый Н. П. его ученик Я. И. Смирнов; кратковременное, правда, чтение лекций на бывших Высших женских курсах, где Н. П. положил начало преподаванию истории искусств; устройство Средневекового отделения Эрмитажа, до Н. П. в нем не организованного; работа в бывшей Археологической Комиссии, ознаменовавшаяся, между прочим, появлением «Русских кладов»; работа в Академии наук и в бывшей Академии художеств, устав которой (в 1894 году) — детище Н. П. и его закадычного друга и соратника («Русские древности в памятниках искусства»), покойного гр. И. И. Толстого; создание бывшего Иконописного Комитета, положившее начало строго научному изучению памятников древнерусской иконописи; работа в обществах бывшем Русском археологическом и Любителей древней письменности, в многочисленных комиссиях, собраниях и заседаниях, где только возникали вопросы, касающиеся археологии и искусства. И пр., и пр., и пр. — всего не перечислишь! К характеру деятельности Н. П. вполне приложимы слова Гимерия «ὀξὺς τὰ πράγματα» — острый в делах. Но к Н. П. совершенно не приложимы слова из той же цитаты

(Речь 7,15): «πρᾶος τοὺς λόγους» — кроткий в словах. Таким я не знал его никогда, не знали и другие. Но, несмотря на отсутствие «кротости в словах» Н. П., все, кто вступал с ним в близкое общение, его любили и любят.

Лучшим подтверждением этого служат незабвенные «журфиксы» у Н. П., в его квартире на бывшей Литейной, д. 15., сначала по вечерам в субботу, последние годы после полудня. Эти журфиксы посещали чуть ли не все русские ученые, причастные к археологической науке и к гуманитарному, а отчасти и естественно-историческому знанию, и созревшие и созревающие, и юные пионеры и маститые ветераны. Всех их объединяло это радушие и непринужденное общение, где разговоры серьезные перемежались с разговорами веселыми и шутливыми, где обсуждались научные, житейские злобы дня, потому что все эти разнообразные интересы были близки уму и сердцу Н. П., все они его волновали в той или иной степени. Каких-каких тем не было затронуто на этих журфиксах. Посетители «суббот» и «воскресений» живо помнят, например, как оживленно дебатировались на них различные вопросы, связанные с деятельностью бывших Государственных дум, как обсуждались на них военные действия в эпоху Японской и Мировой войн, сколько внимания уделялось вопросам, связанным с художественными выставками, и т. д. и т. д. И сколько юношеского задора вносил во все эти дебаты сам гостеприимный хозяин, как он жестоко нападал на одних, восторженно пре-

возносил других, едко клеймил третьих. На журфиксах все присутствующие и поучались, и отдыхали, и развлекались. И над всеми посетителями возвышалась фигура Н. П., иногда сумрачная, подчас саркастическая, но, еще гораздо чаще, озаренная яркими лучами вдохновения, восторженности и любезности.

Но Н. П. был интересен и поучителен не только «в обществе». Он был таков же с каждым собеседником с глазу на глаз. Припоминаю вторую половину 90-х годов. По зимам Н. П. жил тогда в Ялте, но на летние месяцы часто приезжал в Петербург. Почти каждый вечер приходил я к нему на угол Гороховой и Большой Морской, в меблированные комнаты, где он останавливался, и проводил с Н. П. вечера вдвоем. Сначала мы беседовали в душной комнате, затем шли прогуливаться — регулярно по одному и тому же маршруту, до Гостинного двора, причем так же регулярно Н. П. бранил городское самоуправление за то, что оно не догадывается поставить у Казанского собора скамейки для отдыха прохожих, регулярно заходили покупать сыр и возвращались домой пить чай. И все эти часы мы беседовали. Не знаю, быть может, Н. П. эти постоянные беседы с одним и тем же лицом и надоедали, но мне было и приятно, и весело, и я об этих беседах, однообразных прогулках храню самое живое воспоминание. Пробовали мы иногда ездить на «воздух», но из этих поездок ничего не выходило. Н. П. едва-едва какие-нибудь полчаса посидит на «свежем воздухе» и, сказав,

что у него от холода «останавливается кровообращение», прибавляет: «Поедем домой чай пить. Поговорим!».

Платон насчитывает в человеке четыре кардинальных добродетели: мудрость (теоретическую, σοφία), здравомыслие (σωφροσύνη, то же, что у нас практическая мудрость), мужество, справедливость. Конечно, каждая из этих добродетелей или не бывает вовсе присуща человеку, или бывает присуща ему в той или иной степени, с теми или иными оттенками, смотря по профессии человека. О первой добродетели в применении к Н. П. говорить нечего, или, во всяком случае, не мне говорить. В здравомыслии проявляется, прежде всего, воля. Что Н. П. обладает сильною волею, за это говорит вся его деятельность, все его достижения в жизни. Когда нужно, Н. П. умеет быть мужественным. Если он верит в пользу того или иного дела, предприятия, он всегда борется за него и отстаивает его мужественно, пока не добьется успеха, не победит — не даром он носит имя, в составе которого звучит «победа». А разве не говорят о мужестве Н. П. последние годы, когда он, человек преклонных лет, не боится взяться за то дело, которое давно оставил, но которое требует большого мужества, и физического, и нравственного, — дело университетского преподавания. Скажут: заставляет необходимость. Прекрасно! Но для того, чтобы бороться с необходимостью, разве не нужно мужество? Относительно же четвертой, самой деликатной из добродетелей, да позволено будет привести

две начальных строфы (в переводе Фета) оды Горация «Justum et tenacem propositi virum» (III, 3):

Муж правоты, неотступный в обдуманном,
Не поколеблется ни пред кипучею
Волею граждан, коль потребуют низкого,
Ни пред властью тирана могучею,
Ни пред волной разъяренного Адрия,
Ни пред десницей, где гром зарождается...
Он, если б небо с треском разрушилось,
И под обломками не испугается.

Добродетель есть знание, учил Сократ. Знанию вообще, в первую очередь знанию научному, Н. П. служит всю свою долгую жизнь и будет служить ему до конца. Вот что, между прочим, писал мне о себе Н. П. в одном из недавних (в 1923 г.) писем: «Чем более я стареюсь, тем более растет у меня желание пополнить свои пробелы» (имея в виду научные пробелы). И невольно при чтении этих красноречивых, поучительных, трогательных слов мне вспомнился стих мудреца Солона (Отр. 18, Beryk): «Я стареюсь, все время многому учась» — «Γηράσκω δ'αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος».

13 августа 1924 г.

И. И. Толстой (Ленинград)

Из далекого прошлого

Я счастлив, что имею возможность в торжественный день 80-летия Никодима Павловича Кондакова присоединить и свой скромный голос к внушительному хору людей науки, громко выражающих чувства уважения человеку, грандиозная мощность ученой деятельности которого уже и теперь у всех перед глазами и, без сомнения, будет в полной мере исследована и оценена историей. Конечно, не мне, лицу мало компетентному в археологии, работающему над отраслью знания, отстоящей сравнительно далеко от специальной области интересов Никодима Павловича, заниматься разбором его поистине исключительных заслуг перед наукой. Я ограничусь поэтому лишь воспоминаниями и сообщением некоторых фактов, имеющих отношение к многолетней дружбе, связывавшей его с моим покойным отцом, Иваном Ивановичем Толстым, который, будь он жив сейчас, испытывал бы глубокую, неподдельную радость в эти дни чествования его ученого друга.

Эта дружба, возникшая на почве серьезных умственных интересов, развилась и окрепла, с одной стороны, в обстановке отвлеченной, чисто научной работы, а с другой, — в обстановке борьбы

за определенные запросы духа в условиях актуальной жизни. Н. П. Кондаков лично познакомился с моим отцом впервые на археологическом съезде в Одессе в начале 80-х годов минувшего века, хотя незадолго до того он уже вступил с ним в переписку по поводу некоторых вопросов, с которыми обращался к нему отец, занятый писанием, а потом и печатанием своего первого нумизматического труда о киевских монетах князя Владимира. Никодим Павлович не знал возраста своего корреспондента и никак не воображал, что автор столь живо его заинтересовавшей книги еще совсем молодой человек, почти юноша. Поэтому, когда на съезде этот юноша подошел к нему и назвал себя, профессор подумал, что сам автор-нумизмат на съезд еще не приехал, а прислал предварительно своего сына. В таких мыслях он любезно осведомился у моего отца о здоровье его родителя. На ответ, что отца его нет в живых, Никодим Павлович ахнул и поспешил выразить молодому человеку, к величайшему недоумению последнего (мой отец осиротел в раннем детстве), чувства соболезнования и скорби. Через минуту недоразумение было, конечно, выяснено. Так началось знакомство. С этого же дня завязалась и дружба: Никодим Павлович обратил внимание на молодого, начинающего ученого; в свою очередь, и отец привязался умом и сердцем к новому другу, бывшему годами и опытом значительно старше его, человеку, советами которого он мог постоянно пользоваться и у которого многому мог учиться. Литера-

турным плодом их дружбы, между прочим, явились и те шесть выпусков «Русских древностей», которые получили такую широкую популярность у нас в России и стали известны и за границей, будучи частично изданы на французском языке.

Никодим Павлович не был никогда только отвлеченным теоретиком: живая, окружавшая действительность интересовала его неизменно очень остро. Взором опытного исследователя вглядывается он в явления жизни, настоящей и прошлой, в темные и прекрасные ее стороны, и там, где чувствует себя в праве и в силах, всегда готов приложить свои обширные знания к практике. Особенно показательно в этом отношении его участие в целом ряде практических мероприятий, касающихся жизни искусства в России. Не стану здесь повторять того, что общеизвестно: скажу лишь, возвращаясь опять к моменту дружбы с моим отцом, что именно эта дружба побудила Никодима Павловича сыграть очень важную роль в судьбах Российской Академии художеств, в разрушении старого и создании нового ее устава.

Когда в 90-х годах мой отец, назначенный на пост вице-президента Академии художеств, достиг, наконец, возможности приступить к намечавшимся им реформам, он подробно обсуждал с Никодимом Павловичем и в устных беседах, и путем оживленной, весьма деятельно обоими ими поддерживавшейся, переписки, как самый принцип реформ, так и общий их план и отдельные части. С твердой верой в правоту затеянного и в необходимость корен-

ных преобразований, работал мой отец с усердием и увлечением над «новым» уставом Академии, употребляя на дело проведения его в жизнь всю полноту своей молодой, неистраченной энергии, причем едва ли не главным его помощником, смелым во многих случаях руководителем и осторожным и предусмотрительным советником, был его неизменный друг, Никодим Павлович. Выяснить степень его влияния на выработку нового устава — составит одну из интересных задач для будущего историка художественной жизни в России этой эпохи.

Еще подростком любил я вслушиваться в беседы Никодима Павловича. Я часами, как зачарованный, глядел на его лицо, на выражение его беспощадных, умных, в упор смотрящих на собеседника глаз, следил за интонацией его голоса. Я не все понимал, очень многое оставалось для меня загадкой, но то прекрасное и неожиданное, что мне вдруг открывалось в его речах, захватывало меня и западало в душу надолго, может быть — навсегда.

Впоследствии, взрослым, я проник — так казалось мне — в тайну обаяния личности Никодима Павловича и его слова: причина этого обаяния лежит, мне кажется, в тончайшей организации системы его мысли и чувствования, в изумительной, если так можно выразиться, чуткости его духовного аппарата. Для Н. П. Кондакова нет безразличных явлений в жизни; каждое из них он переживает, чувствует глубоко, как чувствует он и натуру всякого, сталкивающегося с ним человека, все равно, будет ли эта натура чужда ему или род-

ственна. Он или скорбит и отвращается, или сочувствует и любит. Вот, думается мне, почему и беседа с Никодимом Павловичем так к себе притягивает: суждения его никогда не бывают холодны и поверхностны; они всегда глубоки и полны животрепещущего интереса для каждого как беседующего, так и слушающего, ибо основаны они у него всегда на понимании и, так сказать, ощущении самой сути вещей. Тонкий исследователь в науке, он и в жизни обладает тонко развитым вкусом, а потому и ближайшей, на мой взгляд, и наиболее яркой антитезой к характеру умонастроения и, вообще, всего духовного склада Никодима Павловича Кондакова служит безвкусие, основанное на жизненной пошлости и тупом безразличии к проявлениям человеческого духа в творчестве [31] .

---

31 Далее в сборнике 1924 г. приводится небольшая научная биография Н. П. Кондакова без названия и подписи (полагаем, что она была составлена С. Н. Кондаковым) и неполная библиография трудов ученого. В настоящем издании данные тексты опущены. — *Прим. сост.*

Г. В. Вернадский (Прага)

О значении научной деятельности Н. П. Кондакова [32]

К восьмидесятилетию со дня рождения 1.XI.1844–1924

Речь, произнесенная на III съезде русских ученых в Праге 25 сентября 1924 г.

Восемьдесят лет тому назад, в 1844 году (1 ноября), в Новооскольском уезде Курской губернии, родился ныне знаменитый ученый и всем нам столь дорогой академик Никодим Павлович Кондаков.

Чтобы представить себе конкретно истекший со дня рождения его период времени, достаточно сказать, что Никодим Павлович сохранил еще живые воспоминания о том впечатлении, которое произвела в Москве весть о смерти императора Ни-

---

32 Издано как брошюра в Праге в 1924 г. Существует также французский вариант текста: *Vernadskij G. V.* L'importance de l'activité scientifique de N. P. Kondakov à l'occasion du 80-e anniversaire de sa naissance (1844–1924). Prague, 1924.

колая I, последовавшей в разгар Крымской войны, 18 февраля 1855 г.

Исключительно богата и плодотворна была за весь длинный ряд лет научная деятельность Никодима Павловича.

В нынешнем году можно праздновать не только 80-летний юбилей жизни Н. П., но также почти 60-летний — его научной деятельности.

Деятельность эта началась под руководством известного исследователя древнерусской литературы и старины Ф. И. Буслаева [33].

Первые ученые работы Н. П. были напечатаны в 1866 г. в «Сборнике, изданном обществом древнерусского искусства при Московском публичном музее».

Это были статьи критико-библиографического содержания по поводу некоторых появившихся тогда немецких работ Гюбша, Мотеса, Канитца и Дитриха [34].

Это статьи: 1. «Древнехристианские храмы» 2. «Православное искусство в Сербии»; 3. «Англо-саксонский крест VIII столетия».

Все три работы представляют однако не только ознакомление с итогами чужой работы, но обна-

---

33 Как об этом часто говорил сам Н. П.

34 *Hübsch*, Die altchristlichen Kirchen nach den Baudenkmälern. Karlsruhe, 1862. *Mothes*, Die Basilikenform, ihre Vorbilder und Entwickelung. Leipzig, 1865. *Kanitz*, Serbiens byzantinische Monumente. Wien, 1862. *Dietrich*, De cruce Ruthwellensi et de auctore versuum in illa inscriptorum. Marburgi, 1865.

руживают самостоятельное проникновение в область истории искусства [35].

Первые статьи Н. П. уж выясняют некоторые из тех основ, на которых строится затем дальнейшая его ученая деятельность: древнехристианское и византийское искусство.

Если добавить к этому еще искусство кочевников II–X веков, то получится готовое основание и ныне (с мая 1922 г.) читаемого им в Карловом университете в Праге курса по истории искусства Восточной Европы.

Этот нынешний пражский курс Н. П. является ученым событием громадного значения. В этом курсе Н. П. не только подводит итоги предшествующей своей работе, объединяя многие, прежде разрозненные, свои мысли и исследования, но, вместе с тем, идет глубоко вперед, все к новым далям в области археологии и истории культуры.

Н. П. сам сказал про себя в одной из своих лекций, что придерживается того же правила, которое клал в основу своей работы Фюстель-де Куланж: всю жизнь для анализа, один день для синтеза. День этот начался. Пражский курс Н. П. является осуществлением синтеза его работы.

---

35 В этих работах, говоря словами ныне покойного ученика акад. Кондакова, Е. К. Редина, «автором (т. е. акад. Кондаковым) высказывается уже и собственная точка зрения на тот или иной вопрос». (*Е. К. Редин.* Проф. Н. П. Кондаков, к тридцатилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. СПб., 1896.)

Список ученых трудов Н. П. от 1866 года до пражского курса, сравнительно с числом лет ученой работы Н. П., на первый взгляд, не поражает своей длиною (хотя список этот вовсе не краток: считая лишь главные работы Н. П., получаем более 30 номеров). В списке этом заключены зато такие монументальные издания, как «Русские древности», «Русские клады», «Византийские эмали», такие основоположные исследования, как «Иконография Богоматери».

Помимо того каждая, хотя бы не слишком объемистая работа Н. П. насыщена до чрезвычайности ученым содержанием. За каждым напечатанным словом его чувствуется громадный запас неопубликованного, но до конца автором впитанного и освоенного материала. Чувствуется, что лишь незначительное количество этого материала автор употребляет в дело. Поэтому так необыкновенно веско и глубоко каждое сказанное им слово. Поэтому каждая работа Н. П. есть работа первоклассная, такой труд, который надо изучать, в который надо вникать.

Каждая работа Н. П., снабженная, кроме основного исследования, рядом попутных замечаний, разрастающихся часто в особые параллельные исследования, представляет, в сущности, целый комплекс работ. Вместе с тем, каждая работа Н. П. может послужить прочным основанием для целой серии дальнейших работ и исследований. И Н. П., действительно, имел в русской науке такое руководящее значение. По словам С. А. Жебелева, «всё

современное поколение русских археологов может считаться прошедшим Кондаковскую школу» [36]. Среди видных представителей этой школы могут быть названы Я. И. Смирнов (†), Е. К. Редин (†), Д. В. Айналов, М. И. Ростовцев, П. П. Покрышкин (†), С. А. Жебелев, В. К. Мальмберг [37] (†). Из иностранных археологов сами причисляют себя к последователям Н. П-ча — Миннз (E. Minns, Англия), Милле (G. Millet, Франция), Муньос (A. Muños, Италия).

Трудная задача — распределить по каким-бы то ни было рубрикам, отделам, вопросам все написанное Н. П. — до такой степени много вопросов затрагивает и решает почти каждая его работа. Особенно многообразны в этом отношении замечательные его описания некоторых археологических путешествий — Афон, Сирия, Македония. Можно, во всяком случае, установить несколько рядов тех вопросов по истории искусства, археологии и истории культуры, которых касается Н. П. в различных своих исследованиях и которые он ныне пересматривает вновь в Карловом университете.

Ряды эти приблизительно следующие:

1. классическое античное искусство,

2. эллинистическое и древнехристианское искусство,

---

36 *С. А. Жебелев*. Введение в археологию. I. История археологического знания (Пг., 1923), стр. 134.

37 [Последний ученый включен в этот список ошибочно. — *Прим. сост.*]

3. искусство кочевников II–X веков,
4. византийское искусство,
5. западно-европейское искусство Средних веков и Возрождения,
6. славянское и русское искусство.

Первому ряду — классической археологии — Н. П. придавал всегда значение основы всякого правильного археологического образования, считая, что классическая археология «стоит выше всех отделов археологии и по количеству определившегося материала, и по методичности приемов» [38].

В числе работ Н. П. в этом ряду первою является магистерская диссертация Н. П. «Памятник гарпий из Малой Азии и символика греческого искусства» (Одесса, 1873). Под именем памятника гарпий известен столбообразный надгробный памятник в Ксанфосе (древняя Ликия), снабженный замечательными рельефами. Главное значение памятника, с точки зрения Н. П., то, что это «один из первых памятников греческой пластики на чуждой варварской почве... Памятник гарпий открывает собою интересную историческую задачу, состоящую в том, чтобы проследить художественное движение в греческой древности не в замкнутых рамках искусства ионического и дорического племени, но в широкой характеристике памятников Малой Азии и островов Средиземного и Эгейского морей». По мнению Н. П., «только в результате критического исследования памятников этого отдела решится во-

---

[38] *С. А. Жебелев.* Введение в археологию. I, стр. 131.

прос и о влиянии Востока на греческое искусство» [39]. В качестве как бы введения к своему исследованию рельефов памятника гарпий Н. П. дал в I главе своего сочинения очень содержательный очерк развития ликийской мифологии. Исследование Н. П. уясняет многие вопросы, касающееся символики античного искусства. По оценке Е. К. Редина, первое большое «сочинение Н. П. Кондакова написано с удивительным критическим талантом, с способностью глубокого проникновения в смысл и содержание художественного произведения» [40]. Временем возникновения памятника Н. П. считает годы, непосредственно предшествовавшие разгрому Ксанфоса персами (т. е. половину VI в. до Р. Хр.). Другая большая работа Н. П. по классической археологии — исследование его о греческих терракотах [41]. Отправною точкою исследования служат терракоты Керчи и Тамани, с которыми Н. П. ставит в связь терракоты Греции и Италии, находящиеся в западно-европейских музеях [42]. Изучение

39 *Н. П. Кондаков*. Памятник гарпий (Одесса, 1873), стр. 192 (цитую по отдельному оттиску из XII тома Записок Имп. Новороссийского университета).

40 См. указанный биографический юбилейный очерк *Е. К. Редина* «Н. П. Кондаков» (1896).

41 Греческие терракотовые статуэтки в их отношении к искусству, религии и быту (В «Записках Одесского Общ. ист. и др.» т. XI. 1879, стр. 75–179).

42 Западные терракоты Н. П. изучал параллельно с подготовкою своей докторской диссертации «История византийского искусства» (о которой см. ниже).

терракотовых статуэток Н. П. производит на фоне изучения погребальных обрядов и загробных верований [43]. Предварительная задача его — для решения общей задачи, которую Н. П. ставит перед русской археологией: привести среду греческих городов юга России в «историческую связь с различными центрами, как собственной Греции, так и в особенности греческого Востока» [44].

Во втором ряду (эллинистическое и древнехристианское искусство) могут быть поставлены отдельные части, главы или страницы различных работ Н. П. — I и отчасти II выпуск «Русских древностей», начало «Иконографии Богоматери», многие страницы в «Памятниках христианского искусства на Афоне», в «Археологическом путешествии по Сирии» и т. д. Древнехристианскому искусству посвящен был очень существенный доклад Н. П. Кондакова: «О барельефах на деревянной двери в базилике Св. Сабины, что на Авентинском холме в Риме», прочитанный в 1876 г. в Обществе христианского искусства в Риме [45]. Н. П. не подвел своих наблюдении в этом ряду в каком-либо одном труде. Такая сводка дана им однако в его нынешнем курсе. Как это видно и в «Иконографии Богоматери», Н. П. подчёркивает значение римских катакомб и церквей для древнехристианского

---

43 Т. к. большинство изучаемых им терракот составляет предмет погребального культа.

44 Терракоты, стр. 75.

45 Напечатано в Revue archéologique, 1877.

искусства. В этом отношении Н. П. отрицательно отнесся к постановке вопроса венским археологом Стрыговским [46].

Третий ряд — искусство кочевников II–X вв. — является для Н. П. необходимым звеном во всей схеме развертывания истории искусства. Вся принципиальная значительность этого ряда раскрыта Н. П. в его пражском курсе. Однако, и ранее этого Н. П. неоднократно касался этих вопросов.

Для истории искусства кочевников, среди прочих трудов Н. П., должны быть названы прежде всего 2-й, 3-й и 5-й выпуски «Русских древностей» («Древности скифо-сарматские», «Древности времен переселения народов», «Курганные древности и клады домонгольского периода»). Ценные страницы посвящены подобного рода вопросам в различных других сочинениях Н. П., например, в «Македонии» (по поводу древнеболгарского искусства), в «Эмалях» (по поводу Миклошского клада), в рецензии на книгу Гампеля «Древности Венгрии» [47] и т. п. Основная точка зрения Н. П. на значение кочевнического искусства и места его в общей схеме развертывания искусства достаточно ясно была высказана им уже в 3-м выпуске «Русских древностей».

---

[46] *Strzygowski*. Orient oder Rom? L., 1901, см. также введение Н. П. Кондакова к его «Археологическому путешествию по Сирии и Палестине» (СПб., 1904).

[47] Известия отделения русск. яз. и слов. Академии наук, 1906, IV.

«Варварские или народные древности начального средневековья южной Европы, — писал Н. П. в 1890 г., — от пределов Каспийского моря до Франции, Англии и Испании, связываются в одно целое общим стилем, господствующим со II-го по VII-е столетие. Единство этого стиля открывается, прежде всего, манерою украшать предметы цветными камнями или стеклянными инкрустациями, покрывать поле геометрическим орнаментом, разделывать оконечности звериными формами; стиль определялся техникою металлических вещей — резьбою, филигранью и сканью и самим подбором предметов, их формою и назначением.

Местом средоточия этого стиля служила южная Россия: именно здесь застаем мы наиболее ранние известные нам образцы и здесь можем мы наблюдать различные отношения этого стиля к искусству античному, восточному и примитивному и собственно варварскому» [48] .

Влияние кочевнического искусства отнюдь не ограничивается однако VII веком. «Старина восточного звериного стиля не исчезает, она становится достоянием народных художеств (например, в поливной посуде) и доживает до XII в., когда вновь переходит в орнаментику северо-западной Европы, под именем стиля романского» [49] .

Понимание кочевнического искусства, как одной из основных сил в истории искусства, яв-

---

[48] Русские древности, III, 4.

[49] Русские древности, V, 20.

ляется для Н. П. ключом к разгадке искусства византийского: III ряд в устанавливаемой мною шкале работ Н. П. является предпосылкою IV ряда, как, в свою очередь IV-й, — предпосылка для V и VI-го, потому что византийское искусство для Н. П., в свою очередь, — та основа, на которой строилось средневековое искусство, европейское и ближнеазиатское. Пути проникновения искусства кочевников через Византию в Европу Н. П. рисует в следующих словах: «византийцы, в качестве умирающей нации, живо интересовались всеми обычаями, особенно костюмами, народным вооружением, значками и украшениями племен, и, по мере ознакомления с ними, в Константинополе одна мода сменяла другую: мода на гуннов, готов, персов, сарацин, булгар, хазар, варягов и пр. ... Византийские власти с особенною внимательностью отыскивали всякие варварския украшения, изощрялись в их улучшении при помощи своих мастерских, затем выдавали их в виде наград и отличий предводителям. В соответствии с различными чинами, число одежд, раздаваемых в подарки «народам», было весьма значительно, а при большом дворе в кладовых лежали в запасе всякие кафтаны, кавадии, гуни и шубы для варваров и их представителей в церемониях. Таким путем произошло большинство всех знаков отличий в европейском средневековье, а также большинство корон, венцов, почетных шапок, шлемов и вообще головных уборов, мужских и женских. Так, исследование русских кокошников и кик

дало бы нам, прежде всего, ряд почетных уборов древней Византии, затем Руси и средневековой Германии и Польши» [50]. В связи с этим находится то центральное положение Византии в истории средневекового искусства, которое так подчеркивает Н. П.

Византия является средоточием всех узлов истории искусства VI–XII веков. Византия — наследница античной культуры — ранее других европейских стран восприняла кочевническое искусство и разработала это искусство для передачи его на запад, где это искусство оплодотворило местное творчество. При таком понимании Н. П. вносил совершенный переворот в историю византийского искусства. До трудов Н. П., по его собственным словам, историки искусства привыкли «видеть в византийском искусстве после Юстиниана мертвую уродливую мумию» [51]. Н. П. вдохнул жизнь в науку о византийском искусстве, поставив ее в связь с историей мирового искусства и отмерив Византии столь почетное место в этой истории. В частности, именно Н. П. выдвинул в истории византийского искусства помимо раннего, более поздний его период: «...неверно, — говорит Н. П., — будто византийское искусство XI–XII века представляет собою период упадка»: наоборот, это время процве-

---

50 Русские древности, V, 43.

51 *Н. П. Кондаков*. Мозаики мечети Кахрие Джамиси в Константинополе. (Записки Имп. Новорос. Универс., т. 31, стр. 295.)

тания византийской культуры и искусства [52]. Среди работ Н. П. по византийскому искусству должна быть, конечно, названа, прежде всего, докторская диссертация его «История византийского искусства и иконографии по миниатюрам греческих рукописей» [53]. Это сочинение, «основанное на тщательном изучении огромного числа иллюстрированных рукописей, осветило новым светом историю византийской живописи с древнейшей ее эпохи (V–VI вв.) вплоть до XIV в.» [54].

В этот же ряд должны быть поставлены «Византийские эмали», о которых скажу особо ниже.

Сюда относятся в значительной степени «Памятники христианского искусства на Афоне» (1902). Далее назову «Иконографии Спасителя», «Иконографию Богоматери», а затем ряд отдельных исследований и этюдов, посвященных большей частью отдельным памятникам византийского искусства (например, «Мозаики мечети Кахрие Джамиси в Константинополе» 1881, «Византийские церкви и памятники Константинополя» 1887, исследования о миниатюрах различных греческих рукописей) [55].

---

52 Русские древности, VI, 5; ср. также «Историю византийского искусства» (след. примеч.).

53 Записки Новороссийского университета ч. 21 и отд. Одесса, 1876. Франц. в 2 томах издание 1886, 1891 г.

54 *С. А. Жебелев*. Введение в археологию. I, 161.

55 В том числе особо должно быть названо исследование о миниатюрах псалтыри из собрания Хлудова. Труды Моск. Археол. Общ. VII, 1878.

С своей всеобъемлющей точки зрения подходит Н. П. и к изучение неисчерпаемого кладезя сведений по византийской древности — сочинению византийского императора X в. Константина Порфирородного «О обрядах византийского двора» («De ceremoniis aulae byzantinae»). Во многих деталях византийского придворного обихода, описанного Константином Порфирородным, Н. П. ищет восточных влияний. Н. П. давно обратил внимание на Константина Порфирородного. В 1890-х гг. в Петербурге Н. П. вместе с известным византинистом академиком Васильевским и арабистом бароном Розеном образовали особый кружок по изучению Константина Порфирородного [56] . В этом кружке принял потом участие известный знаток быта византийского двора, ныне покойный, Д. Ф. Беляев. К сожалению, Н. П. не свел в одно целое итогов своих разысканий по сочинениям Константина Порфирородного. Следы этих разысканий разбросаны по многим исследованиям. В том числе, главным образом, на изучении Константина основаны исследование Н. П. «Мифическая сума с земною тягою» [57] , а также о скарамангии (ездовом кафтане византийских императоров) [58] .

---

56 [Н. П. Кондаков занимался этой темой еще в 1880-е гг. — *Прим. сост.*]

57 Напеч. в «Списание на Българската Академия на науките», кн. XXII, 1921.

58 На эту тему: публичная лекция в Праге 23/XI 1923 г., доклад на конгрессе византинистов в Бухаресте в апреле 1924 г. и статья, имеющая появиться в I книжке нового международного журнала «Byzantion».

Пятый ряд (западно-европейское искусство Средних веков и Возрождения) затрагивается Н. П. в двух аспектах. Н. П. рассматривает западно-европейское искусство, во-первых, как производное искусство, вытекшее из византийского и кочевнического, и, во-вторых, как искусство творческое, в свою очередь затем (с XIII, особенно с XV века) оказывавшее влияние на Византию и на Восток. В этих двух смыслах Н. П. касается вопросов этого ряда в различных исследованиях, главным образом, все-таки в «Иконографии Богоматери».

Предварительное издание в 1911 г. одной из не вошедших в последующие тома глав «Иконографии Богоматери» носит специальный подзаголовок: «Связи греческой и русской иконописи с итальянской живописью раннего Возрождения». Для общей схемы истории искусства имеет большое значение, что, говоря об искусстве европейском, Н. П., наряду с Западной Европою, выделяет область искусства Восточной Европы и, в частности, искусства славян, которому Н. П. уделяет особое внимание, говоря о передаче на Запад начал искусства византийского и кочевнического. К этому примыкает и указанный мною **шестой ряд** — история русского искусства. Если в других рядах исследования Н. П. имеют общую ценность для историков всего мира, то исследования Н. П. в области славянского и русского искусства и русской старины имеют для всех нас, славян, и, в частности, для нас, русских, особую притягательную силу и особое обаяние.

Н. П. может по праву в археологической науке считаться создателем отдела русской археологии, как и византийской [59]. Недаром В. В. Стасов в одной из своих работ назвал Н. П. «архистратигом национальной русской археологии» [60]. В области русских древностей Н. П. был и непосредственным ученым работником и издателем, и организатором работы других. Особенно много сил потратил Н. П. на VI археологический съезд в Одессе в 1884 г. На этом съезде сам Н. П. выступил с большим докладом по византийской археологии.

Капитальные издания Н. П. по истории русского искусства — «Русские клады» и «Русские древности» — надолго останутся настольными справочниками по древнерусским древностям и будут непременным спутником всякого любителя древнерусской старины. «Русские древности» (которые издавались совместно Н. П. и гр. И. И. Толстым, но в которых текст принадлежит одному Н. П.) по форме объяснительного к иллюстрациям текста представляют как бы популярное, рассчитанное на широкую публику, издание. (Нет, например, ученого аппарата ссылок, примечаний и пр.) Но вместе с тем это издание есть научное исследование, представляющее итоги большой предварительной работы, а равно могущее послужить и отчасти послужившее в от-

---

59 *С. А. Жебелев*. Введение в археологию. I, стр. 134.

60 См. посвящение *В. В. Стасова* к его работе «Некоторые миниатюры рукописей византийских, болгарских, русских, джагатайских и персидских». 1902.

дельных частях отправным пунктом других ученых работ. Так, первые выпуски «Русских древностей» послужили исходным пунктом работы английского ученого Миннза[61] и русского ученого (ныне профессора Йельского университета в Соединенных Штатах Америки) М. И. Ростовцева[62]; 6-й выпуск «Русских древностей» (памятники Владимира, Новгорода и Пскова) явился одним из существенных оснований для известной работы петроградского историка профессора А. Е. Преснякова «Образование великорусского государства» (1918). Одним из доказательств старинной культуры северо-восточной Руси для Преснякова является глубокое развитие уже в XII веке художественной культуры Суздаля и Владимира. Большое принципиальное значение для истории русского искусства имел доклад Н. П. в 1899 г. «О научных задачах истории русского искусства»[63]. Доклад этот, по выражению одного из учеников Н. П., — как бы «боевой клич» русской археологии[64]. В докладе этом во всю ширину поставлен вопрос о самобытной силе русского искусства (одним из примеров этой силы для доклада по-

---

61 *E. Minns*. Scythians and Greeks. 1913.

62 См. например, *М. И. Ростовцев*. Эллинство и иранство на юге России. Пг., 1918, также Iranians and Greeks in South Russia by *M. Rostowtzeff*. 1922.

63 Доклад прочтен был в «Обществе любителей древней письменности и искусства» и напечатан в № 132 «Памятники древней письменности» (СПб. 1899).

64 *С. А. Жебелев*. Введение в археологию. I, 178.

служили скульптурные украшения Дмитровского собора во Владимире и собора в Юрьеве Польском). Одновременно эта точка зрения развита была и в VI выпуске «Русских древностей». «Русское искусство, — утверждает Н. П., — имеет не только оригинальный художественный тип, но и составляет крупное историческое явление, сложившееся работою великорусского племени при содействии ряда иноплеменных восточных народностей, вызванных этим племенем к государственной жизни и художественной деятельности. Русское искусство является последствием вековой работы и сотрудничества многих сил, но именно потому оно и владеет самобытностью и представляет цельный тип, и его декоративные начала, подобно другим европейским художественным силам, способны к исторической разработке и могут служить основанием будущей художественной жизни» [65]. Ценность и значительность древнерусского искусства в наши дни становятся общепризнанными, но цитованные мною слова напечатаны Н. П. четверть века тому назад (в 1899 г.). Утверждение самобытной силы русского искусства, разумеется, не отрицает взгляда на искусство византийское как главную основу древнерусского искусства.

«Русской древности ставили в вину, — говорит Н. П., — что она начала бытие свое с заимствования византийских образцов, а эти образцы, уже начиная с XI века, представляли, будто бы, упадок

---

65 Русские древности. VI, 3–4.

искусства. Но история искусства, научно поставленная, указывает, что искусство вообще начинает свою деятельность заимствованием, правильнее говоря, — общением с высшею культурою и потому в показных произведениях древней эпохи мы встречаем работы чужих мастеров» [66] . Русское искусство, во всяком случае, не менее оригинально, чем искусство Италии, Грузии и других стран раннего средневековья. Раннее русское искусство принимается Н. П. как своего рода синтез византийского и кочевнического искусств. Н. П. находит возможным говорить об особом «русско-византийском» искусстве. В качестве одного из явлений этого искусства исследованы были Н. П. фрески лестниц Софийского собора в Киеве [67] . Н. П. показал, что сюжеты этих фресок заимствованы не из древнерусской жизни (как считалось до того времени), а из византийской (ипподром).

Группировка работ Н. П. по указанным рядам необходима была для того, чтобы охватить многообразие всего круга вопросов, которых Н. П. касался. Но независимо от рамок этой группировки могут быть выделены отдельные вопросы, на которых с особенною настойчивостью и пытливым вниманием останавливается ум Н. П. Таковы, например, следующие вопросы:

1. История иконы.
2. История костюма.

---

66 Русские древности. VI, 5.

67 Записки Русского Археологического общества. III (1887).

3. История орнамента.
4. Миниатюра.
5. Эмаль.
6. Филигрань и скань.

Из этих вопросов **филиграни и скани** посвящены ценные страницы в V вып. «Русских древностей» и в «Русских кладах» (в отделе о шапке Мономаха), филигрань из волоченой нити, около IX в., «создает в искусстве работы поистине художественные; при этом в древностях России IX–XII стол. мы имеем едва ли не лучшие образцы этого вида» [68]. Наиболее редкий тип — филигрань «ленточная», исполняемая «из листовых ленточек, выгнутых и припаянных к лоточку, без зерни, как бы фактура перегородчатой эмали, но без самой эмали». Это — «высшая по технической утонченности скань». Это — скань величайшего памятника русской древности — Мономаховой шапки [69]. Для эмали особенно важно, конечно, специально посвященный этому вопросу труд «Византийские эмали. Собрание А. В. Звенигородского. История и

68 Русские древности. V, 38.

69 Русские древности. V, 44. Напомню заключение Н. П. относительно этого памятника: «Мы должны признать Мономахов венец византийским памятником, который был выполнен не в Константинополе, но или в Малой Азии, или на Кавказе, или в самом Херсоне — словом, в местности, где византийское искусство в XI–XII вв. соприкасалось с развитым арабским орнаментом. Мономахову шапку по деталям техники необходимо относить к XII веку». Там же, 48.

памятники византийской эмали. Спб. 1872». Сочинение это может быть названо (и неоднократно называлось в отзывах различных русских и европейских ученых) классическим трудом по истории византийской эмали. Говоря словами Е. К. Редина, «если будет когда-нибудь составляться хрестоматия по истории византийского искусства, то в нее должна войти» и часть названного труда Н. П. Кондакова [70]. Первая глава труда Н. П. Кондакова является «техническим введением в историю перегородчатой эмали». Н. П. рассматривается техника эмали в древнем мире и раннем средневековье. На этом широком основании дается уже описание памятников византийской перегородчатой эмали и анализ их.

Для **миниатюры** — капитальное общее исследование «История византийского искусства и иконографии по миниатюрам греческих рукописей» и ряд специальных работ [71].

По **истории орнамента** ценные замечания разбросаны в различных трудах Н. П. (между прочим в «Памятнике гарпий» 1873 г.); более системати-

---

[70] См. указанный юбилейный биографический очерк *Е. К. Редина*, Н. П. Кондаков (1896).

[71] «Миниатюры греч. псалтыри IX в. из собр. А. И. Хлудова» (Труды Моск. Археол. общ., VII, 1878); «О миниатюрах Кенигсбергского списка начальной летописи» (1902); «Зооморфические инициалы греческих и глаголических рукописей X–XI ст. в библиотеке Синайского монастыря» (1903); «Изображения русской княжеской семьи в миниатюрах XI в.» (1906).

ческой обработке подверг Н. П. вопрос о развитии орнамента в своем пражском курсе (зимний семестр 1924 г.); можно ждать появления дальнейших трудов Н. П. по этому вопросу.

По истории **костюма** много данных разбросано в некоторых томах «Русских древностей». Ценные страницы посвящены этому вопросу в «Македонии». Итоги некоторых наблюдений над византийским костюмом сведены в лекции о развитии костюма, читанной в Праге осенью 1923 г., и в докладе на конгрессе византиноведов в Бухаресте в апреле 1924 г. [72].

В области **истории иконы** капитальные труды Н. П. — «Иконография Спасителя» (1905) и «Иконография Богоматери» (предварительное издание вышло в 1911 г., I том всего труда в 1914 г. и II — в 1915 г.). Очень существенны, кроме того, данные, разбросанные в других работах Н. П., между прочим в «Памятниках христианского искусства на Афоне» (1902) и в «Иконах синайской и афонской коллекций преосв. Порфирия» (1902). Н. П. собран громадный иллюстрационный материал по истории русской иконы в виде фотографий и воспроизведений в красках [73]. Только незначительная часть этого материала может быть использована в книге Н. П. о русской иконе, имеющей

---

[72] Ср. выше в отделе о византийском искусстве. Пражская лекция была организована обществом Kruh pro pěstování dějin umění в Праге.

[73] Только часть этого материала могла быть вывезена Н. П.

выйти на русском языке в Праге и на английском в Лондоне [74].

Некоторые итоги своих размышлений по истории иконы Н. П. развил в своем пражском курсе, а совершенно вкратце и в сжатом виде изложил в своей публичной лекции (на французском языке) в Праге 30 сентября 1923 г. [75] Исходный пункт размышлений Н. П. — развитие иконы из египетских надгробных портретов, удивительные образцы которых можно видеть, например, в Москве (Музей Александра III), в Париже (в Musée Guimet и Лувре) и Вене (Коллекция Graf). Подробно останавливается Н. П. на самой технике древнейшей иконописи (так называемая восковая живопись, или энкаустика). История иконы представляет, вообще, особые трудности для исследователя ввиду того, что от древнейших времен сохранилось памятников очень мало, а от последующих, наоборот, очень много. Исследователю нужно избежать различных соблазнов, не вдаться в преждевременную для историка искусств философию иконы, а с другой стороны, — не потеряться в мелочах, в томительном однообразии поздних образцов. В сущности, научная история иконы только лишь начинается. И в основе ее будут, конечно, лежать труды Н. П. как

---

[74] [*Kondakov N. P.* The Russian Icon. Oxford, 1927; *Кондаков Н. П.* Русская икона. Прага, 1928. Т. I; 1929. Т. II; 1931. Т. III. Ч. 1; 1933. Т. IV. Ч. 2. — *Прим. сост.*]

[75] Лекция организована была тем же Обществом Kruh pro pěstování dějin umění в Праге.

обнародованные, так и те, которые, Бог даст, будут им обнародованы. Приходится только изумляться глубокому проникновенно в запутанные и темные лабиринты истории иконы, которые обнаружил Н. П., тонким оттенкам его мысли и громадному количеству материала по вопросу, Никодимом Павловичем собранному и пересмотренному. Н. П. явился душою Комитета попечительства о русской иконописи, учрежденного в 1901 г. Н. П. объезжал лично иконописные села, знакомился с положением иконописания и проводил через Комитет ряд мер к поднятию этого дела.

Непременным свойством всех работ Н. П. является присущая им, глубоко проникающая их конкретность. Н. П. рассуждает об истории искусства не теоретически, не по книжным выводам и не по фотографиям. В основе его работы лежит глубокое личное научное освоение вещей. Н. П. **знает** вещи, как, может быть, никто другой.

Именно поэтому в процессе его ученого творчества такое место занимают путешествия, во время которых Н. П. мог смотреть и непосредственно ощущать вещи. Поездки Н. П. в южную Россию, в Грузию, затем (1875–1876) в Западную Европу в ученую командировку. Восьмидесятые и девяностые годы — ряд поездок на Восток: в 1881 г. в Константинополь и на Синай [76], в 1884 — в Константинополь, 1889 — на Кавказ (Грузия), 1891 —

---

[76] Яркое описание «Путевых впечатлений» этой поездки см. в т. 33 Записок Новороссийского университета (1882).

в Сирию и Палестину, 1898 — на Афон, 1900 — Македонию. Каждая поездка Н. П. сопровождалась внимательным осмотром археологического материала, и результаты этого осмотра часто приводили Н. П. к установлению совершенно новых археологических фактов. Примером может быть указан Синай, где в монастыре св. Екатерины Н. П. описал мозаику «Преображения» и ряд рукописей, этим добавив существенное звено к истории византийского искусства (Описанные древности относятся к самому темному периоду византийского искусства — VIII веку, эпохе иконоборчества) [77] . Осмотр археологических вещей у Н. П. не беглый или поверхностный. Н. П. глубоко вдумывается в каждую вещь. На этом, между прочим, основано и отношение Н. П. к памятникам архитектуры. Считая необходимым, вообще, точное понимание материала и овладение им, Н. П. отрицательно относится к рассуждению об архитектуре только с точки зрения внешне-эстетической оценки. По мнению Н. П., нужно, чтобы занимающийся историей архитектуры, сам был ученым архитектором. С этой точки зрения Н. П. высоко ценил ученых исследователей типа П. П. Покрышкина, (который, с своей стороны, причислял себя к ученикам Н. П.).

Этим свойством в ученом творчестве Н. П. наука археологическая становится наукою чрезвычайно точною и конкретною.

---

[77] Мозаика «Преображения» ранее вовсе не была научно изучена и относилась «на глаз» ко времени Юстиниана.

Н. П. пытливо добивается основных качеств самого материала, из которого сделана та или иная вещь.

Здесь, в глазах Н. П., археология тесно соприкасается с естествознанием. Близкая связь археологии с естествознанием у Н. П. проявляется во многих отдельных вопросах. Так, например, для точного определения свойств древней пурпуровой краски Н. П. обращается к И. И. Мечникову за разъяснениями касательно раковины, из которой добывалась эта пурпуровая краска [78] .

Для объяснения древнего орнамента Н. П. ищет, прежде всего, растительную или животную форму, которая могла дать образец этому орнаменту, стремится выяснить причины, придавшие той или иной форме религозно-художественное значение [79] . Не случайно также всегда живы и тесны были личные связи Н. П. с учеными естествоиспытателями. Будучи профессором Новороссийского университета, Н. П. находился в тесном общении с И. И. Мечниковым и И. М. Сеченовым, в Петербурге был знаком с И. П. Павловым.

Точность и конкретность методов работы Н. П. сопрягается с необыкновенною широтою охвата его научной мысли. Археология и история искусства в этом аспекте превращается у Н. П. в общую историю культуры человечества. С особым вниманием

---

78 Пражский курс.

79 См. например, рассуждения о гранатовом яблоке и цветке в «Памятнике гарпий» (1873) стр. 97–102.

Н. П. изучает археологические вещи, с точки зрения их роли в религиозно-культовой жизни прошлого. Н. П. является глубоким исследователем в области истории религии и культа античной Греции (рельефы памятника гарпий, терракоты), раннехристианского мира (происхождение иконы, лекции о развитии монашества, в пражском курсе), азийских кочевников (о шаманстве, в пражском курсе) и т. д.

Как общий историк Н. П. проявил себя особенно как исследователь эпохи так называемого переселения народов, а также истории Византии (блестящие и глубокие лекции о Константине Великом, о строе византийского двора и пр. — в пражском курсе).

Н. П. свободен от той узкой предвзятости взглядов, которая приводит многих европейских (в том числе и русских) ученых к представлению о современной европейской культуре, как высшей ступени развития человечества, для достижения коей все остальные культуры — лишь низшие подготовительные ступени. Идея прогресса в этом смысле чужда научному творчеству Н. П. Ей противополагает он идею развития, или эволюции, которая может идти в ту или в другую сторону, представлять собою прогресс, регресс или просто боковое отклонение. Развитие культуры идет и не по одной восходящей линии, но одновременно по различным линиям в разных направлениях. Отсюда следуют два, в высшей степени важных вывода. С одной стороны, Н. П. утверждает существование в различных и часто отдаленных от нас периодах искусства и культу-

ры таких достижений методов и творчества, которые потом вновь достигнуты человечеством не были. Примером могут быть выставлены упоминавшиеся ранее филигранные или сканные изделия, эмаль, миниатюра, восковая живопись (энкаустика). Другое следствие тех же посылок — признание ценности культуры и искусства тех народностей и ступеней быта, за которыми обычно высот достижения всерьез не признается. «Быт кочевников в известную эпоху шел впереди быта земледельческого по усвоению культурных форм, хотя бы эти формы касались исключительно личных украшений, уборов, того, что называется доселе богатством в народе» [80]. «Варварство», столь охотно приписываемое европейскою наукою многим племенам и народам, по удачному выражению Н. П., часто «должно понимать не в смысле примитивной грубости, начальной первой ступени цивилизации, но в том смысле, как этот термин понимали греки, называя древних персов варварами, т. е. в смысле особой, отличной от Запада культуры, восточного происхождения и характера, наиболее оригинально выражавшейся в быту кочевников» [81]. Кочевники Средней Азии, как самостоятельный мощный очаг культуры и как передаточный привод между культурами народов Европы и Азии (срединной, южной, восточной, Туркестана, Индии и Китая) — другими словами — Восток, как важнейший двигатель истории культуры.

---

80 Русские древности. V, 25.

81 Русские древности. V, 25.

«То Сирия, то Персия, то Индия и Средняя Азия выступают своего рода руководителями русской культуры», — говорит Н. П. — «Все дело в том, чтобы и нам самим, наследникам этой культуры, стать на истинную точку зрения теснейших родственных связей древнейшего населения Европейской России с Азией едва ли не на всем пространстве этой части света» [82].

Н. П. является одним из самых крупных знатоков Востока и восточного искусства. Не владея сам восточными языками, Н. П. прибегал в нужных случаях к помощи своих друзей — востоковедов. Среди этих друзей был, например, известный арабист барон Розен. Любовь свою к Востоку и восточному искусству Н. П. стремился передать и своим ученикам. Не случайно любимый ученик Н. П., покойный акад. Я. И. Смирнов, отдал главные свои силы восточному искусству. Атлас восточного серебра, составленный Смирновым, возник на почве, уготованной Н. П. Не без указаний Н. П. производил Смирнов и свои археологические исследования в Малой Азии (те, которые послужили основанием работы Стрыговского).

Заявления о решительной роли Востока в истории культуры делаются в наши дни, с разных сторон, все чаще и чаще; роль эта, однако, начинает еще только обрисовываться в главных своих чертах.

Прозорливый взгляд Н. П. давно устремлен в эту сторону, и новейшие угадывания и искания

---

[82] Русские древности. V, 25.

историков культуры им отчасти давно выражены в его собственных исследованиях, хотя бы в «Русских древностях».

Мною отмечено уже было раньше, что мысль Н. П. и ученое творчество его неустанно идут все дальше вперед.

Высказанные тридцать пять лет тому назад в «Русских древностях» начала им теперь развиваются в пражском курсе и связанных с этим курсом работах.

Выводы Н. П., давно им установленные, лишь в наши дни начинают делаться достоянием научной мысли более или менее широких кругов. Это лучшее доказательство размаха научного творчества и пророческого вдохновения Н. П.

Знаменитый японский художник Хокусай, проживший сам около 90 лет (1760–1849), говорил, что лишь 75 лет он начал понимать, как нужно изображать природу и только 80 лет достиг серьезного проникновения в живопись.

Никодим Павлович создавал замечательные научные труды задолго до возраста, указанного Гокусайей. Но, кажется, что подходя к этому возрасту, Н. П. доходит до каких-то совершенно новых научных достижений и откровений.

Пожелаем единодушно и благоговейно, чтобы ему было дано высказать их.

9 — 5428

Г. В. Вернадский

Никодим Павлович Кондаков [83]

Никодим Павлович Кондаков был выдающимся ученым. Имя его пользуется широкой известностью в научных кругах. Его творчество оказало огромное влияние на развитие археологии, истории искусства и византиноведения.

В вопросах выбора тематики и методов работы, в своих великих достижениях и даже в своих недостатках Н. П. Кондаков проявлял себя как ученый глубоко русский, с теми особенностями и оригинальностью, какие свойственны русскому гению.

Он оставил колоссальное научное наследие. Это наследие должно послужить отправной точкой для всех последующих изысканий в области византийской археологии.

Биография Кондакова очень интересна. Его личность — редкий пример человека, который,

---

83 Опубликовано по-французски в: Сб. статей, посвященных памяти Н. П. Кондакова: Археология. История искусства. Византиноведение. Изд. Seminarium Kondakovianum. Прага, 1926. Опечатки и прямые ошибки исправлены нами. Недостающие сноски дополнены в квадратных скобках.

поднявшись из темных глубин рабства, стал одним из известнейших ученых.

Необходимо составить научную биографию Кондакова, точную и полную. Для его учеников эта задача является нравственным долгом.

В данной статье мы указываем лишь основные факты биографии Никодима Кондакова, чтобы показать, как развивалась его научная деятельность.

I
Годы учебы

Никодим Павлович Кондаков посвятил бо́льшую часть своей долгой научной деятельности исследованиям древностей, оставленных различными кочевыми народами, пересекавшими степи южной России. Кажется, Никодим Павлович с особой симпатией относился к аланам, «красивому племени стройных белокурых людей». Указывая в своих лекциях на следы пребывания аланов в южной России, что́ отразилось, в частности, в географических названиях, Никодим Павлович упоминал наименование Халань (слобода в Курской губернии).

Именно в этой слободе Халань и родился Никодим Павлович 1 ноября 1844 г., еще при крепостном праве в России, в царствование Николая Первого и за несколько лет до Второй французской революции. Отец Кондакова был вольноотпущенный крепостной князей Трубецких, управлявший

их многочисленными владениями в уезде Новый Оскол (Курская губерния) [84] .

Никодима Павловича привезли в Москву еще совсем ребенком. Здесь и прошли все его юные годы. Сперва он поступил в церковноприходскую школу, затем учился во Второй московской гимназии, «что на Разгуляе». Он был еще младшим школьником, когда, во второй половине февраля 1855 года, в разгар Крымской войны, в Москву пришла весть о смерти царя Николая Первого. Никодим Павлович на всю жизнь запомнил, какой тревожный вид был у старой столицы в те февральские дни 1855-го. Полицейские с шумом и грохотом разъезжали по городу. «Школьники, среди которых был тогда и я, прятались под воротами, чтобы они не заметили», — рассказывал Никодим Павлович.

Кондаков окончил гимназию в год отмены крепостного права в России (1861), получив «чин XIV класса». Затем стал студентом и посещал лекции на факультете «исторических и филологических наук» в Московском университете. Уже тогда проявился интерес Никодима Павловича к истории искусства и археологии. В то время эти дисциплины были не в чести. Единственный преподаватель, которому было официально поручено вести данный курс

---

84 Автобиографические заметки Кондакова (Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Санкт-Петербургского университета за истекшую третью четверть века его существования. 1869–1894. Т. I, А–Л. СПб., 1896), с. 337–338.

(К. К. Герц), не имел даже степени «магистра»[85]. Лекции Герца мало способствовали научному формированию Никодима Павловича, так как впоследствии он считал своим учителем не его, а Федора Ивановича Буслаева, читавшего на кафедре истории русской литературы Московского университета. В своих автобиографических записках Кондаков говорил: «Во время моего пребывания в университете я посещал лекции по истории искусства преподавателя К. К. Герца, но именно Буслаев сообщил определенное направление моим исследованиям в этой области»[86]. Крупный ученый с широким кругозором, Ф. И. Буслаев проводил изыскания в области древнерусской литературы, а также занимался изучением древнерусского искусства. Кондаков видел в нем не только «основоположника науки о русском фольклоре», но и «одного из первых, кто своими изысканиями в области символики и мифологии древнерусского искусства заложил основы изучения его истории»[87].

Кроме того, Буслаев сумел вызвать у молодого Кондакова интерес к византийскому искусству как базису искусства древнерусского[88].

---

85 Позднее он опубликовал свою диссертацию под названием «Археологическая топография Таманского полуострова». М., 1870.

86 Ук. соч., т. I, с. 338.

87 Кондаков. Русский лицевой апокалипсис (Журн. Мин. нар. просв., 1885, ч. 210, июль), с. 110–111.

88 Много позже Кондаков отдал дань своему учителю, редактируя труды Буслаева, относящиеся к археологии и исто-

Позднее ученик достиг уровня своего бывшего учителя. И когда в 1876 г. в Москве Кондаков защищал диссертацию, они встретились уже на равных.

Университетские годы Кондакова совпали с эпохой благоприятных для России перемен, эпохой «великих реформ» императора Александра Второго. Вероятно, общая атмосфера расцвета творческой деятельности оказала влияние и на студента Кондакова.

Никодим Павлович окончил университет в 1865 г. со званием «кандидата» и начал преподавать в средней школе. Он давал уроки русского языка и литературы в той Второй московской гимназии, где раньше учился сам, а также в Александровском военном училище; позднее он преподавал историю России и археологию в Московской школе живописи и ваяния.

Однако преподавание в средней школе не удовлетворяло Никодима Павловича. Его влекло к чистой науке.

Сразу по окончании университета Кондаков стал посещать кружок любителей археологии и древностей, организовавших «Общество древнерусского искусства при Московском публичном музее» [89] .

рии искусства (см. предисловие Кондакова к I тому «Сочинений Буслаева» 1908 г. — Сочинения Ф. И. Буслаева, изд. Отделения русск. яз. и слов. Имп. академии наук).

89 Московский Румянцевский музей (Московские Публичный и Румянцевский музеи, или просто Румянцевский музей), который играет и играл такую важную роль в развитии русской культуры, был создан незадолго до этого (1862).

Председателем этого общества являлся Д. С. Левшин, директор Румянцевского музея, секретарем — Ф. И. Буслаев, главным редактором — Г. Д. Филимонов. Среди членов-учредителей были М. П. Погодин, И. Е. Забелин, А. М. Кубарев, А. Е. Викторов, П. И. Севастьянов, Д. А. Ровинский и другие [90]. 9 января 1866 г., на 12-м заседании общества, Кондаков был избран его членом [91].

На том же заседании 9 января 1866 г. Ф. И. Буслаев представил две статьи Кондакова [92], которые решено было опубликовать в Сборнике общества, тогда готовившемся к печати.

Этот сборник за 1866 г., изданный Обществом древнерусского искусства при Московском Публичном музее [93], вышел в первые же месяцы после

---

90 К. К. Герц не был членом-учредителем (он принимал участие в деятельности общества-конкурента — «Московского археологического общества», см. ниже).

91 Согласно протоколам общества, Кондаков участвовал во всех заседаниях 1866 г., в единственном заседании 1867 г., в двух заседаниях 1869 г. (25 марта и 18 мая). Кондаков не принимал участия в единственном заседании 1868 г., так же как и в заседаниях, проходивших после мая 1869 г. — Вестник Общества древнерусского искусства при Московском Публичном музее, издаваемый под ред. Г. Д. Филимонова. 1874–1876, М., 1876, № 1–12, официальный отдел.

92 «О православных храмах в Сербии» и «Об англосаксонском кресте VIII в.»

93 Сборник на 1866 год, изданный Обществом древнерусского искусства при Московском Публичном музее. М., 1866, IV, с. 181–161.

заседания. Он состоял из двух частей. Первая, включавшая редакционные статьи, открывалась фундаментальным сочинением Буслаева: «Общие понятия о русской иконописи». Вторая часть была посвящена «Критике и библиографии». В нее вошли три статьи Кондакова, его первые печатные труды.

В статье «Древнехристианские храмы», с. 4–19, он пишет о работах Хюбша и Мотеса [94] и уже делает свои оригинальные замечания.

Другая статья Кондакова: «Православное искусство в Сербии», с. 49–52, представляет собой изложение двух сочинений Каница [95]. Независимо

---

94 Hübsch, Die altchristlichen Kirchen nach den Baudenkmalen und älteren Beschreibungen und der Einfluss des altchristlichen Baustyls auf den Kirchenbau aller späteren Perioden, Karlsruhe 1862. — *Mothes O.* Die Basilikenform, ihre Vorbilder und Entwickelung, Leipzig, 1865. — В своих записках Кондаков не упоминает о вопиющем невежестве, которое проявляется в высказываниях Мотеса по поводу древнерусского церковного искусства. Мотес утверждал, что в России приходская церковь называлась «vassilje» (василье), а церкви бо́льших размеров — «codopr» (O. Mothes, Op. cit., с. 28). Странное утверждение Мотеса Буслаев объяснил таким образом (тот же Сборник, с. 58): термин «vassilje» возникает у Мотеса по ассоциации с названием старинной московской церкви — «Василий Блаженный», а «codopr» — просто латинская транскрипция русского слова «собор».

95 Serbiens byzantinische Monumente gezeichnet und beschrieben von F. Kanitz. Wien, 1862. — Ueber alt- und neueserbische Kirchenbaukunst. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte. Von F. Kanitz. Wien, 1864.

от Каница в этой статье Кондаков описывает русский исторический памятник, храм св. Димитрия во Владимире, на Клязьме.

В третьей статье (самой краткой): «Англосаксонский крест VIII столетия», с. 60–62, Кондаков, опираясь на научные исследования Дитриха [96], знакомит читателей с замечательным крестом города Рутвелла в древнем Нортамберленде.

В следующем году (31 января 1867) Кондаков был избран членом-корреспондентом конкурирующего центра археологов — Московского археологического общества.

В том же году Кондаков совершил свою первую научную поездку за границу с целью изучения памятников античности.

1869 г. имеет большое значение для русской археологии. В этом году, с 16 по 28 марта, в Москве под председательством графа А. С. Уварова состоялся первый всероссийский археологический съезд [97], на котором почтенный М. П. Погодин произнес прекрасную речь: «О судьбах русской археологии» [98]. Впоследствии Кондаков дал высокую оценку этой речи в своем докладе, посвященном

---

96 De Cruce Ruthvellensi et de auctore versuum in illa inscriptorum qui ad passionem Domini pertinent. Scripsit Fr. Ed. Chr. Dietrich. Marburgi. MDCCCLXV.

97 [В точном названии съезда слово «всероссийский» не использовалось. — *Прим. сост.*]

98 Съезд был организован Московским археологическим обществом. Кондаков был участником съезда.

памяти Погодина, на собрании Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук 11 ноября 1900 г. [99].

В своей речи Погодин, в частности, утверждал, что «прилепы» (барельефы) владимирских церквей нельзя объяснить одним только западным влиянием и что они имеют присущий им оригинальный характер.

Позднее этот тезис получил блестящее развитие в знаменитом докладе Кондакова от 1899 г. о проблемах истории русского искусства.

В 1870 г. Кондакову наконец представилась возможность оставить преподавание в средней школе и полностью отдать себя науке. В Новороссийском университете [100] была вакансия на кафедре теории и истории искусства; Кондаков получил предложение поступить на нее в качестве доцента. Он согласился сразу же и с радостью, так как университетская кафедра давала ему возможность заниматься научными исследованиями [101].

Так закончился московский период жизни Никодима Павловича. Все эти годы Кондаков посвятил учебе, и теперь стал истинным ученым.

---

99 См. Сборник отдел. русск. яз. и слов. Имп. Академии наук, LXXI, № 4 (1901).

100 Новороссийский университет был основан в Одессе в 1865 г. (ранее он существовал частично под именем Лицея Ришелье).

101 Он получил разрешение остаться еще на год в Москве, чтобы подготовить свой курс.

II
Период классической и византийской археологии

9 сентября 1871 г. в Новороссийском университете Одессы Кондаков прочел свою вводную лекцию на тему: «Наука классической археологии и теории искусства».

Впоследствии ученик Кондакова, выдающийся ученый профессор Редин дал этой лекции следующую оценку: «Эта лекция служит блестящим введением к последующей деятельности его и как ученого, и университетского преподавателя. Она — свидетельство того, как глубоко и основательно подготовлен был начинающий профессор к своей будущей деятельности, как широко он охватывал свой предмет» [102].

Кондаков провел в Новороссийском университете 17 лет (1871–87). Это был период напряженной работы, во время которого кабинетные научные занятия чередовались с путешествиями и археологическими раскопками.

Осенью 1871 г. Кондаков принял участие во втором всероссийском археологическом съезде в Санкт-Петербурге (7–20 декабря 1871). На этом съезде он сделал доклад: «О некоторых мелких предметах древности, найденных в Аккермане в тече-

---

102 [*Редин Е. К.* Профессор Никодим Павлович Кондаков: К тридцатилетней годовщине его учено-педагогической деятельности // ЗИРАО. СПб., 1896. Т. IX. Кн. 2. С. 3. — *Прим. сост.*]

ние 1867 г.» [103]. В своем докладе Кондаков выдвигает предположение, что древний Тирас (в настоящее время Аккерман) мог быть просто факторией богатой общины, члены которой в интересах торговли расселялись по всему прилегающему району Лимана и Днестра. В заключительной части доклада Кондаков излагал принципы, какими, по его мнению, археолог должен руководствоваться прежде всего: «Только строгая проверка, в связи с постоянным контролем над всеми крупными и мелкими находками в данных местностях, одна в состоянии поставить на прочных основаниях историю этого уголка античного мира в нашей родине. Что бы не утвердили эти расследования, всегда действительность, хотя и жалкая, лучше роскошных, но праздных мечтаний и толков, поддерживаемых притом зачастую мотивами, чуждыми науке».

Первые годы в Одессе Кондаков посвятил своей первой диссертации, опубликованной в 1873 г. [104], которую он защитил в том же году при Московском университете. Это «Памятник гарпий из Малой Азии и символика греческого искусства» [105].

---

103 Труды II Археологического съезда в С.-Петербурге. СПб., 1876, Т. I, III часть, с. 20–24. [Далее цит. с. 24. — *Прим. сост.*]

104 В России преподаватели университета должны были защищать две диссертации: первая из них давала степень «магистра», а вторая — «доктора».

105 Памятник гарпий из Малой Азии и символика греческого искусства (см. Записки Императорского Новороссийского университета, Одесса, т. XII).

Под названием «Памятник гарпий» известно покрытое замечательными рельефными изображениями надгробие, находящееся в Ксантосе, в античной Ликии. Для Кондакова основной интерес данного надгробия заключается в том, что это «один из первых памятников греческой пластики на чуждой, варварской почве... памятник гарпий открывает собою интересную историческую задачу, состоящую в том, чтобы проследить художественное движение в греческой древности не в замкнутых рамках искусства ионического и дорического племени, но в широкой характеристике памятников Малой Азии и островов Средиземного и Эгейского морей». С точки зрения Кондакова, «только в результате критического исследования памятников этого отдела решится вопрос и о влиянии Востока на греческое искусство» [106] . В качестве введения к своим исследованиям барельефов на Памятнике гарпий Кондаков дает в первой главе своего труда тщательно документированный анализ развития ликейской мифологии. В своей первой диссертация Кондаков прояснил многие вопросы символики античного искусства, глубоко подойдя к проблеме и проявив большой критический талант.

В следующем году в Киеве (с 2 по 16 августа 1874) прошел третий всероссийский археологический съезд. Доклад Кондакова «Мелкие древности Кубанской и Терской областей» опубликован в

106 Памятник гарпий, с. 192.

трудах этого съезда [107]. Но сам Кондаков в это время был занят на археологических раскопках в Крыму и на Кавказе [108].

Кондаков совершил также путешествие в Грузию, чтобы изучать архитектуру грузинских церквей. В результате этой поездки в 1876 г. вышла работа Кондакова: «О древней грузинской архитектуре» [109].

С 1 марта 1875 г. по 1 августа 1876 г. Кондакова направляют в научную поездку за границу для подготовки докторской диссертации [110]. Эта поездка оказала огромное влияние на научную деятельность Кондакова. Он посетил центры, где хранятся драгоценные манускрипты Западной Европы (Вену, Париж, Лондон), объездил всю Италию, включая Сицилию. Украшенные миниатюрами византийские рукописи, терракота, древние иконы, живопись и скульптура, в особенности принадлежавшие ко времени христианства и к византийской эпохе, стали для Кондакова предметом тщательного изучения. Во время этого путешествия он познакомился в Риме с французскими и итальянскими кругами археологов

---

107 Труды III Археологического съезда в Киеве (Киев, 1878), с. 139–146.

108 Его письмо из Керчи вышло в № 202 «Московских ведомостей» от 13 августа 1874 г. Следующее письмо, «О кавказском побережье», — в № 208 того же издания.

109 Труды Московского археологического общества, т. VI, 1876.

110 См. отчеты об этой командировке в Записках Новороссийского университета, т. XVIII (1876), XX и XXI (1877).

и историков искусства. Со многими из них он поддерживал связь до конца жизни.

Личностью, объединявшей эти круги, являлся знаменитый итальянский археолог Джан-Батист де Росси. Этот выдающийся знаток христианской археологии в высшей степени обладал даром увлекать слушателей своей вдохновенной речью [111].

По словам итальянского ученого Муньоса, Росси, «этот великий римский археолог, оценил молодого русского профессора и с тех пор всегда любил его» [112].

Молодые французские ученые, которые в то время находились в Риме, оказали на Кондакова большое влияние. Незадолго до того была учреждена Ècole Française. Директором ее являлся Жеффруа, а членами — Байе, Мюнц и Дюшен [113]. Видимо, Кондаков больше всего сдружился с этим последним [114].

---

111 См. блистательные страницы в письмах Буслаева из Рима (Буслаев. Мои досуги. М., 1886. Т. I, с. 81–88). Он называет Росси «одной из римских достопримечательностей». — Буслаев был в Риме почти одновременно с Кондаковым (с весны 1874 до осени 1875).

112 См. сборник «Никодим Павлович Кондаков. 1844–1924». Прага, 1924, с. 20 [см. наст. изд. — *Прим. сост.*].

113 Именно в это время Шлюмберже начинает интересоваться археологией. Он проводит в Италии зимы 1872–73 и 1873–74. D. Mazerolle. L. G. Schlumberger (Chalon-s-Saône) 1901, pp. 5–6. Шлюмберже — ровесник Кондакова, т. к. он родился 17 декабря 1844 г.

114 Они были почти одних лет. Дюшен (родившийся 23 сент. 1843 г.) был всего на один год старше Кондакова.

Кондаков и римские археологи-французы приняли активное участие в работе археологического общества Societa di Cultori della Christiana Archeologia in Roma, где центральное место занимал Росси. Луиджи Бруцца был председателем, Орацио Маруччи — секретарем, а Росси делал сообщения почти на каждом заседании общества и был его душой.

Первое заседание общества состоялось 12 декабря 1876 г. Кондаков, по всей вероятности, постоянно участвовал в этих заседаниях [115]. 12 марта 1876 г. он сделал сообщение о рельефах на дверях св. Сабины в Риме [116].

Сообщение представляет большой интерес. В нем Кондаков доказывает, благодаря тонкому анализу рельефов дверей и сравнению их со скульптурными изображениями саркофагов, что двери св. Сабины относятся к V–VI векам, а не к XII и XIII, как считалось ранее.

Основополагающий труд Кондакова «История византийского искусства и иконографии по миниа-

---

[115] К сожалению, в печатных протоколах Общества все участники заседаний не упоминаются, говорится лишь о делавших сообщения или принимавших активное участие в дискуссиях. В частности, отмечается, что на заседании 5 марта 1876 г. Кондаков активно участвовал в одной из дискуссий. Протоколы начала 1876 г. были изданы Росси: Rossi, Bulletino di Archeologia Christiana, serie terza, anno secondo, Roma, 1877.

[116] Публиковалось в «Revue archéologique» Nouvelle série, vol. 33 (1877), p. 361–372 [см. русское издание в кн.: Мир Кондакова /в печати/ — *Прим. сост.*].

тюрам греческих рукописей» является результатом этой научной поездки [117].

Сразу после публикации критика единодушно оценила его как выдающийся.

«В нем [труде] [118] впервые надлежащим образом устанавливается история византийского искусства, отмечаются главные эпохи его и даются блестящие характеристики их, устанавливается ближайшая связь различных памятников искусства — монументальной и мелкой производительности, намечаются пути византийской иконографии в ее отношении к литературе, церковной догме и т. д., затрагивается попутно масса вопросов, касающихся истории, быта, религии Византии, отношения ее памятников к памятникам Запада» [119].

Научный труд Кондакова основан на глубоком знании иллюстрированных миниатюрами византийских рукописей, сохранившихся в собраниях Западной Европы. Эта работа была представлена автором в качестве второй диссертации, которую он защитил в Московском университете в 1876 г. Основным оппонентом был Буслаев.

---

[117] Записки Новороссийского университета, т. XXI (Одесса, 1877).

[118] Слово вставлено составителем.

[119] *Редин Е. К.* Н. П. Кондаков. Записки Импер. Русского археологического общества, т. IX (Труды отделения археологии древнеклассической, византийской и западноевропейской, кн. II). с. 9. — См. замечания Стасова (Сочинения, I, 726), Шпрингера в предисловии к французскому изданию труда Кондакова, Байе в Byz. Zeitschrift. 1896, V, p. 192.

Императорское Русское археологическое общество в Санкт-Петербурге наградило Кондакова золотой медалью за его «Историю византийского искусства». В своем докладе оно подчеркивало значение данного труда для истории русского искусства. После защиты диссертации Кондаков был избран профессором Новороссийского университета. Он играл важную роль в академических кругах Одессы. Со многими из коллег в Новороссийском университете он завязал дружбу еще раньше. Следует отметить его тесные связи с естественниками. Так, он дружил с Мечниковым, Ковалевским (А. О.) и Сеченовым. В 1876 г. Кондаков становится членом Императорской Археологической комиссии и, по его собственным словам, занимается археологическими раскопками в Керчи, на Таманском полуострове, на Кубани и в Херсонесе в Таврии [120].

Через несколько лет после «Истории византийского искусства» Кондаков опубликовал новую замечательную работу, для которой собрал материал также во время своей научной поездки за границу (1875–1876): «Греческие терракотовые статуэтки в их отношении к искусству, религии и быту» [121]. Терракотовые предметы из Керчи и Тамани служат

---

120 [Кондаков Н. П. // Материалы для биографического словаря действительных членов ИАН. Пб., 1915. Ч. 1., с. 339. — *Прим. сост.*] Он состоял в Императорской Археологической комиссии до 1891 г.

121 В Записках Одесского общества истории и древностей, т. XI, 1879, с. 75–179.

отправной точкой для работы Кондакова, устанавливающей связь между ними и итальянскими и греческими терракотовыми изделиями, сохранившимися в западных музеях. Кондаков изучает их в связи с погребальными обрядами и верованиями в загробную жизнь [122] . Он стремился найти историческую связь между греческими городами южной России и различными центрами собственно Греции, особенно греческого Востока [123] .

И. В. Помяловский по достоинству оценил этот научный труд Кондакова в своем докладе Императорскому Русскому археологическому обществу [124] . «...Читатель с наслаждением следит, — пишет Помяловский, — как вся, представляющаяся на первый взгляд бесформенною, масса древних терракот под строго методическим исследованием г. Кондакова мало-помалу расчленяется, как каждый ее отдел ставится в органическую связь с другим и в непосредственное отношение к целому и как, наконец, умственному взору читателя представляется в ясных и определенных чертах значительный отдел древней пластики, уясняется его значение в ряду других произведений греческой

---

122 Бо́льшая часть исследуемых Кондаковым предметов из терракоты использовалась для погребального ритуала.

123 Там же, с. 75.

124 В соответствии с этим докладом Кондаков был награжден Большой золотой медалью. См. Известия Императорского Русского археологического общества, X, 320–323. [Далее цит. с. 320. — *Прим. сост.*]

техники, раскрывается смысл и содержание входящих в его область предметов».

Исследование, посвященное терракотовым статуэткам, вышло в Записках Одесского общества истории и древностей. С самого приезда в Одессу Кондаков был членом этого общества, сыгравшего такую важную роль в изучении истории и археологии южной России. «Терракотовые статуэтки» — последний труд Кондакова, посвященный целиком классической археологии. С тех пор он касался этого предмета лишь вскользь[125]. Однако глубокие познания в данной области послужили ему прочной основой для всех дальнейших исследований.

После 1880 г. наступил период путешествий Кондакова по Ближнему Востоку. В своей автобиографии он пишет, что с 1879 г. совершил ряд путешествий на Восток (Турция, Греция, Египет, Синай) «с целью обозрения христианских древностей»[126]. Он уезжал почти каждую весну.

В 1880 г. он отправляется в Константинополь изучать византийскую мозаику. Научная работа «Мозаики мечети Кахрие Джамиси — μονὴ τῆς Χώπας — в Константинополе»[127] — вот плод его путешествия.

---

125 См. напр., его отзыв о книге В. К. Мальмберга «Метопы древнегреческих храмов».

126 [Кондаков Н. П. // Материалы для биографического словаря действительных членов ИАН. с. 339. — *Прим. сост.*]

127 Записки Новороссийского университета. Одесса, 1880, т. XXXI. [Далее цит. с. 4. — *Прим. сост.*]

Эти мозаики представляют собой один из наиболее примечательных памятников византийского искусства. По словам Кондакова, «мозаики мечети Кахрие Джамиси по своему стилю и техническому исполнению, равно как и по самым задачам внутреннего содержания, составляют произведение собственно византийского искусства, без участия в каком бы то ни было виде западных мастеров живописи, и принадлежат периоду вторичного процветания византийского искусства в течение XI–XIII столетий».

В 1881 г. Кондаков вместе с художником-фотографом Раулем совершил путешествие на гору Синай. Он попал туда с огромными трудностями, переплыл Красное море на арабском парусном судне. Вернулся через пустыню на спине верблюда [128] .

Поездка на Синай оказалась очень интересной с археологической точки зрения, хотя Кондаков нашел мало памятников искусства в монастыре святой Екатерины. Мозаику Преображения, которую другие путешественники относили к эпохе Юстиниана, Кондаков датировал более поздним периодом (VII в.), — Никодим Павлович считал стиль этой мозаики более поздним по отношению ко

---

128 Кондаков составил очень красочный отчет об этом путешествии в своей книге: «Путешествие на Синай», Одесса, 1882. (Записки Новороссийского университета, т. XXXIII.) Эта книга заслуживает того, чтобы фигурировать в русской литературе как классический пример подобного жанра.

времени выполнения надписей [129]. По мнению Кондакова, украшенная рельефами дверь Синайской церкви должна рассматриваться как один «из любопытнейших памятников эпохи, непосредственно следующей за иконоборческим периодом» [130].

В 1884 г. Н. П. Кондаков принял активное участие в шестом всероссийском археологическом съезде, который проходил в Одессе с 15 августа по 1 сентября 1884 г. под председательством графа А. С. Уварова. Кондаков был одним из председателей Организационного комитета. Весной того же года Оргкомитет направил Кондакова на константинопольскую экскурсию. По возвращении он представил съезду в Одессе подробный доклад о византийских церквях и исторических памятниках в Константинополе. В докладе Н. П. Кондаков подчеркивает огромную важность античных памятников этого города для будущего археологической науки. По мнению Кондакова, «изучение древностей византийской столицы со временем станет наравне с наукою языческого и древнехристианского Рима и, по плодотворности своих результатов, займет одно из важнейших мест в науке средневековой древности вообще и христианского Востока в частности» [131].

---

129 Новые сведения о надписях см. в статье В. Н. Бенешевича в I т. журнала «Byzantion».

130 Путешествие на Синай, с. 73–74.

131 [*Кондаков Н. П.* Предисловие // Византийские церкви и памятники Константинополя. Одесса, 1887, с. II. — *Прим. сост.*]

Этот труд Н. П. Кондакова также был отмечен Большой золотой медалью Императорского Русского археологического общества [132].

В 1884 г. Кондаков возглавил основанную им Одесскую рисовальную школу. Он оставался ее директором и после отъезда из Одессы.

Научную деятельность Н. П. Кондакова во время пребывания в Одессе можно резюмировать следующим образом:

1) Опираясь на солидную базу своих работ по классической археологии, он стал законченным специалистом в совершенно новой для того времени науке византиноведения.

2) К концу своего пребывания в Одессе он занял выдающееся место среди крупнейших ученых мира. Первый том его «Истории византийского искусства» вышел в переводе на французский в 1886 г. во «Всемирной библиотеке искусств», издаваемой под эгидой Мюнца, с которым Кондаков ранее познакомился в Риме.

III

Период русских древностей

В 1888 г. Кондакова пригласили на кафедру истории искусства в университете Санкт-Петербурга. Начинается длительный петербургский период

---

132 См. Записки Русского археологического общества, т. III (1887), протоколы, с. 34.

жизни Кондакова, эпоха широкого развертывания его научной деятельности. Никодим Павлович прожил в Санкт-Петербурге 30 лет. Впрочем, из этих тридцати следует вычесть несколько лет, посвященных различным археологическим путешествиям и поездкам в Ялту (в Крыму).

В 1898 г. Кондаков был избран в Императорскую Академию наук. Эта внешняя перемена в его жизни совпадает с новой ориентацией его научной деятельности.

В 1880–1890 гг. и до конца следующего десятилетия главной темой его научных работ стало исследование русских древностей и тесно с ним связанное изучение истории эмалей.

Последние годы XIX века до самого конца своего пребывания в Петрограде Кондаков посвятил изучению церковной живописи — русской, византийской и итальянской.

Таким образом, петербургский период жизни Кондакова можно разделить на две части: одна отдана «русским древностям», а другая — «иконографии».

Университетские лекции Кондакова продлились недолго, так как с 1892 г. из-за проблем со здоровьем ему пришлось уехать из Петербурга и поселиться на юге. Его преподавание в университете, несмотря на короткий срок, оставило глубокий след среди целого круга учеников и последователей.

Двое из его одесских студентов, Д. В. Айналов и Е. К. Редин, последовали за учителем в Санкт-Петербург и закончили там свое научное образование.

Среди его петербургских студентов следует отметить: Я. И. Смирнова, любимого ученика Никодима Павловича, одаренного редкой археологической интуицией [133], А. Н. Щукарева, С. А. Жебелёва, М. И. Ростовцева, а также А. А. Павловского, Б. А. Тураева, Г. Ф. Церетели, Б. В. Фармаковского, П. П. Покрышкина, В. К. Мальмберга.

Этот кружок молодых историков и археологов, где все в той или иной мере были учениками Кондакова, собирался в Музее древностей Петербургского университета. Членов кружка прозвали «фактопоклонниками» (приверженцами фактов) за их любовь к материальным памятникам античности [134].

Среди друзей Кондакова более старшего возраста следует прежде всего назвать нумизмата графа И. И. Толстого (с 1892 г. вице-президента Академии художеств), вместе с которым он издавал «Русские древности» [135], и В. В. Стасова. Этот последний оказывал значительное влияние на русскую науку и искусство благодаря своей красноречивой защите «русской мысли», а также живому интересу ко всем проявлениям русской творческой

---

133 В 1917 г. Я. И. Смирнов был избран членом Российской Академии наук; он умер от истощения — русские ученые в Петрограде 1918 г. страдали от голода.

134 См. воспоминания М. И. Ростовцева о Кондакове в сборнике «Н. П. Кондаков. 1844–1924», Прага, 1924, с. 24–25. [См. наст. изд. — *Прим. сост.*]

135 Кондаков познакомился с графом И. И. Толстым на Археологическом съезде в Одессе, а до этого состоял с ним в научной переписке.

художественной деятельности. Кондаков искренне любил Стасова и очень его уважал, однако это не мешало ему строго судить своего друга за дилетантство, когда тот пытался заниматься серьезными исследованиями [136] .

В Петербурге, как и в Одессе, Кондаков продолжал искать общества естествоиспытателей (И. П. Павлова, А. О. Ковалевского и др.).

В 1888 г. Кондакова назначили хранителем Отделения Средних веков и Возрождения в Эрмитаже. Это назначение имело большое влияние на его научную деятельность в первые годы пребывания в Петербурге.

Вышеупомянутое отделение ранее не существовало. Создание его стало возможным лишь с 1885 г., когда по указу императора коллекции из арсенала в Царском Селе были перевезены в Эрмитаж, получивший разрешение приобрести богатое археологическое собрание А. П. Базилевского (в Париже). Благодаря этому указу Эрмитаж пополнился огромным количеством археологических находок, связанных со средневековыми ремеслами, которые были развиты как в Западной Европе, так и на Востоке (в частности, богатыми коллекциями восточ-

---

[136] См. написанный Кондаковым некролог В. В. Стасова в ЖМНП в январе 1907 г., а также Записки Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук 1906 г. (Сборник отд. рус. яз. и слов., т. 82). Кондаков повторил свое суждение о Стасове на лекции в Пражском университете по случаю столетней годовщины со дня рождения Стасова в 1924 г.

ного оружия и снаряжения, собранными разными поколениями в Царскосельском арсенале). Кондаков был знаком с собранием Базилевского еще до его приобретения Эрмитажем [137]. Размещение полученных коллекций закончилось лишь в феврале 1888 г., когда Отделение Средних веков и Возрождения открылось для публики.

Таким образом, Кондаков принял руководство над Отделением с момента его организации. Надо было определять, каталогизировать и сортировать экспонаты. Эту задачу несколько облегчало наличие прекрасного, продуманного каталога художественных изделий коллекции Базилевского [138]. Кондаков высоко ценил этот каталог. Он писал по этому поводу, что «всякое собрание памятников древности приобретает действительное значение только под условием объяснительного каталога. От подобного каталога требуется более, чем указание на место и

---

137 См. в том же «Bulletino di archeologia christiana» 1877 г., где были опубликованы Записки Общества любителей археологии, на с. 72–85 запись (де Росси?): «Надпись piatto vitreo di Podgoritza oggi del Museo Basilewsky Parigi». Дается ссылка на французский каталог коллекции Базилевского. Collection Basilewsky. Cataloque raisonné, précédé d'un Essai sur les arts industiriels du I-e au XVI-e siècle par A. Darcel et A. Basilewsky. Paris, 1874.

138 Коллекция Базилевского. Продуманный каталог, предваряемый очерком о ремеслах с I по XVI века. [См. предыдущее прим. *Кондаков Н. П.* Указатель Отделения Средних веков и эпохи Возрождения в Императорском Эрмитаже. СПб., 1891. С. 11. — *Прим. сост.*]

время происхождения предмета: необходимо указать способ изготовления его и практическое назначение — словом, представить в определенном подборе предметов исторический очерк приложения искусства к различным произведениям промышленности и ремесел»[139]. «Указатель Отделения Средних веков и Возрождения Императорского Эрмитажа» (СПб., 1891), составленный Кондаковым, преследовал другие цели. Он был составлен иным способом, более точно и кратко. «... Указатель этот не может, прежде всего, дать полного каталога предметов Отделения уже в силу их крайней многочисленности, служебного характера многих частей и отделов, декоративного расположения их и размещения их вне необходимых условий для ближайшего изучения предметов... указатель имеет своею задачею лишь помогать обозрению коллекций как самым перечнем, так и краткими характеристиками отделов и способствовать распространению художественно-исторических сведений...»[140].

Несмотря на всю краткость своего каталога, Кондаков сумел включить в него серию ценных исторических и археологических замечаний, касающихся целых залов или некоторых отдельных экспонатов. Таковы, например, сжатая и точная характеристика индийского искусства и заметка об изделиях из выемчатой эмали Западной Европы.

---

[139] [*Кондаков*. Указатель Отделения Средних веков и Возрождения, с. 11. — *Прим. сост.*]

[140] [Там же. С. 12. — *Прим. сост.*]

В Эрмитаже Кондаков находился среди множества предметов древнего Востока. Именно там он мог проникнуться убеждением, что Восток оказал влияние на древнерусские памятники. Тогда (в 1890 г.) Эрмитаж был, может быть, первым среди европейских музеев по богатству своих восточных коллекций. Эту особенность Эрмитажа хорошо чувствовал и ценил Кондаков, в научной деятельности которого она оставила глубокий след. «В этой связи русских древностей с Востоком, — писал Кондаков в предисловии к указателю, — заключается важнейшая задача русской науки и наших археологических собраний» [141] .

Восточная секция Средних веков (залы IV, XX, XIX Эрмитажа) по своему топографическому расположению предшествовала западноевропейской секции. «Такое распределение отделов, — писал Кондаков, — вполне отвечает исторической роли Востока, со времени падения Западной Римской империи и кончая крестовыми походами. Уже эпоха переселения народов есть передвижение народов и культуры с Востока на Запад. Новая жизнь европейского Запада обязана формам, перенесенным из степной полосы от берегов Дуная до Каспийского моря. Начавшееся ныне изучение средневековья приводит все ближе к восточным оригиналам. Одним из важнейших явлений было перенимание варварами форм восточного оружия и во-

---

[141] [Там же. С. 8. — *Прим. сост.*]

оружения, и задача проследить путь искусства и техники в вооружении средних веков к его источнику представляется ныне одною из наиболее благодатных»[142]. Отчасти именно благодаря изучению и оценке сокровищ русских и восточных древностей, хранившихся в Эрмитаже, Кондаков решил совместно со своим другом графом И. И. Толстым издавать значительный труд: «Русские древности».

В предисловии к первому выпуску «Русских древностей» авторы так определяли свою задачу и планы: «В течение двух с половиною тысяч лет много племен и народностей жило и основалось на памяти истории в пределах нашего отечества. И чем разнороднее был самый племенной состав, чем продолжительнее время претворения его в одно государство с единым народом, тем обильнее был вклад в общую сокровищницу русской древности. В нее вносил свою лепту и огреченный скиф, и корсунский мастер, и генуэзский торговец в Крыму, немчин в Москве. Эту сокровищницу наполняли и арабские караваны, везшие товар Волжским болгарам и языческой Руси, и набеги руссов на Византию, и домовитое хозяйство великих собирателей земли русской.

Красноречивыми свидетелями двух тысячелетий являются тысячи тысяч курганов, которыми усеяна русская земля, и многочисленные памятники русской старины и искусства в древлехранили-

---

142 [Там же. С. 19. — *Прим. сост.*]

щах, храмах и церковных ризницах <...>. Наследие многих веков, усвоенное русским народом, стало его художественным преданием и последовательно образовало древнерусское искусство. Русское искусство было и осталось искусством народным, сложившись в оригинальный исторический тип, закрепленный народным орнаментом, и остается доныне жизненным, во множестве местных художественных производств, сложившихся еще в древности.

Представить историческое образование и развитие древнерусского искусства, в точных снимках с художественных памятников русской древности и старины, — такова основная задача настоящего издания; необходимым дополнением снимков служит пояснительный текст» [143].

Это издание, продававшееся по доступной цене (1 выпуск стоил 1 рубль) и понятное каждому ввиду простоты стиля (отсутствие примечаний и цитат), имеет большое научное значение как по содержанию, так и благодаря иллюстрациям.

За десять лет, с 1889 г. по 1899 г., вышло шесть выпусков; два первых появились в 1889 г. Это были: 1. «Классические древности южной России» (со 145 рисунками) и 2. «Древности скифо-сарматские» (147 рисунков). Третий выпуск вышел в следующем году (1890). Он назывался «Древности времен переселения народов» (189 рисунков), в нем

---

[143] [*Кондаков Н. П., Толстой И. И.* Русские древности. СПб., 1889. Вып. I. С. I–III. — *Прим. сост.*]

широко использовались средневековые коллекции Эрмитажа.

Французское издание первых трех выпусков, в котором принял участие выдающийся французский археолог г-н Соломон Рейнак, появилось в 1891–1893 гг. под названием «Antiquités de la Russie méridionale (édition française des Ruskija drevnosti) par le prof. N. Kondakoff, le comte I. Tolstoï et S. Reinach» (Paris, Leroux, 1891). В предисловии г-н С. Рейнак говорил: «Сразу после выхода первого выпуска „Русских древностей“ г-н Луи Леже писал в „Revue archéologique“: „Очень желательно, чтобы весь этот труд или часть его были переведены и иллюстрации воспроизведены в каком-либо западном сборнике“. Авторы попросили моего содействия, чтобы исполнить пожелание г-на Леже. Данный труд — плод сотрудничества, характер которого я в нескольких словах должен обрисовать. Не зная русского, я не мог переводить прямо с оригинала, а только обработал французский подстрочник, который мне переслали господа Кондаков и Толстой. Моя задача сводилась к тому, чтобы придать ему, насколько это возможно, подлинно французский стиль, изменив кое-где содержание для бóльшей ясности и точности. Гранки французского издания всегда представлялись господам Кондакову и Толстому, которые приняли предлагаемые мною изменения, внесенные в их первоначальную работу» [144].

---

[144] Древности южной России — предисловие с. VII и VIII.

Четвертый выпуск «Русских древностей» — «Христианские древности Крыма, Кавказа и Киева» (168 рисунков) — вышел в 1897 г. при участии Я. И. Смирнова. Другая замечательная публикация «Византийские эмали. Собрание Звенигородского», осуществленная по инициативе этого последнего, имевшего богатую коллекцию византийских эмалей, соотносилась с «Русскими древностями».

Эта книга вышла одновременно на русском, французском и немецком языках [145] (всего 600 экземпляров, 200 экземпляров на каждом языке). Ни один из них не был пущен в продажу. Роскошное издание имело парчовый переплет. Цветные иллюстрации были великолепно выполнены.

Неоценимое по значению содержание соответствовало блистательному внешнему виду. Текст под названием «История и памятники византийских эмалей» — может быть, лучшее, что написал Кондаков [146] .

Остается сожалеть, что из-за роскошного издания книга была так малодоступна [147] .

---

145 Francfort-sur-Mein, 1892 in 4°, p. XI+385, ill. 28+2.

146 См. аналитические статьи г-на Ш. Диля в «Gazette des Beaux Arts» (1895) 3^{e} période, p. 13 и Вебера в «Repertorium für Kunstwissenschaft», 1895, XVIII, p. 288 и след. страницы. Кроме того, данный научный труд получил золотую медаль Императорского Русского археологического общества.

147 Многие фрагменты этой научной работы Кондаков использовал в своих последующих работах, в частности, в I т. «Русских кладов» и V выпуске «Русских древностей».

Кондаков работал несколько лет, чтобы закончить «Эмали Звенигородского». Для сбора необходимых материалов совершил ряд поездок в Европу и Грузию. Поездка в Грузию в 1889 г. по приказу императора для описания наиболее ценных памятников древности, сохранившихся в грузинских монастырях, оказалась для него очень полезной в области исследований по истории эмали.

В 1891 г. Императорское Палестинское общество направило Кондакова в Сирию и Палестину в качестве главы первой научной экспедиции общества с целью изучения христианских древностей Святой Земли. Подробное описание этого путешествия Кондаков опубликовал значительно позже [148]. Вскоре после возвращения из Сирии Кондаков заболел туберкулезом. Сначала он уехал на юг Франции, затем поселился в Ялте, где у него был дом, и прожил там с перерывами несколько лет. Кондаков проводил зимы в Ялте, но летом отправлялся в Петербург, хотя бы ненадолго. Таким образом, его связи с друзьями и столичными учеными не прерывались. Он продолжал также интересоваться различными проектами, касавшимися науки и образования. Так, Кондаков активно участвовал в подготовке нового устава Академии художеств. Он обсуждал его вместе со своим другом графом И. И. Толстым (которого только что назначили вице-президентом этой Академии) не только

[148] Археологическое путешествие по Сирии и Палестине. СПб., 1904.

в целом, но и в деталях. Следовательно, устав 1893 г. во многом обязан своим существованием заботам Никодима Павловича.

Новым начинанием Кондакова, имевшим большое значение, была идея об изучении в России научных трудов Константина Багрянородного. 28 декабря 1889 г. Кондаков совместно с историком В. Г. Васильевским представил общему собранию Императорского Русского археологического общества доклад, в котором они предлагали обществу назначить премию за изучение ценных археологических свидетельств, содержащихся в «Книге церемоний византийского двора», знаменитом сочинении Константина Багрянородного, византийского императора X века. Частичный ответ по поводу решения этого вопроса дал профессор Казанского университета Д. Ф. Беляев в своих прекрасных очерках «Byzantina».

Проблема требовала долгого и тщательного изучения. Кондаков и Васильевский совместно с Беляевым и бароном В. Розеном, арабистом, начали производить научные изыскания, но они так и не были закончены. Кондаков возобновил методичный анализ книги Константина Багрянородного лишь в последние годы жизни в Софии и Праге, но не успел его завершить.

Зимой 1895–1896 гг. Кондаков с Я. И. Смирновым совершил путешествие в Испанию и Италию. В Испании Кондаков изучал рукопись хроники Иоанна Лествичника (Национальная библиотека в Мадриде). Эта рукопись имеет большое историче-

ское и археологическое значение благодаря своим миниатюрам, изображающим среди прочего сцены болгарской кампании князя Святослава Игоревича.

Издание «Русских древностей», прерванное на несколько лет, вскоре возобновилось. В 1896 г. вышел первый том аналогичной серии: «Русские клады. Исследование древностей великокняжеского периода». Он состоял из восьми глав. В первой содержится введение о значении для русской археологии художественных ценностей, принадлежащих к «звериному стилю», и очерк о перегородчатой эмали древнерусского искусства, в особенности о технике исполнения шапки Мономаха. Вторая глава включает описание различных кладов, начиная с Рязанского (1822) и заканчивая Черкасским (1892–1893). В третьей главе дается историческое и художественное описание ритуальных и бытовых предметов, различных видов украшений одежды в древности, в период, предшествующий татарскому нашествию.

Это издание гораздо глубже, чем «Русские древности». В основном оно предназначалось для ученых и имело огромное значение для русской археологической науки [149] .

Материалы, которые использовались в «Русских кладах», отчасти вошли и в пятый выпуск «Рус-

---

[149] Ученики и друзья Н. П. Кондакова, оставшиеся в России, желали бы благоговейно поклониться его памяти и вместе с тем послужить русской науке, подготовив издание второго тома «Русских кладов», иллюстрации которого были уже готовы до отъезда Н. П. Кондакова из Петрограда.

ских древностей», который появился в 1897 г. под названием: «Курганные древности домонгольского периода».

Шестой и последний выпуск «Русских древностей» вышел два года спустя, в 1899 г. Он включал «Памятники Владимира, Новгорода и Пскова» (233 рисунка). Значительную часть этого выпуска занимает исследование барельефов суздальских церквей. С той же темой тесно связан доклад Кондакова «О научных проблемах истории древнерусского искусства». Он прозвучал 13 ноября 1898 г. на заседании Общества любителей древнерусской литературы [150]. По определению С. А. Жебелева, это был боевой клич русской археологии [151].

В этом докладе Кондаков защищал тезис об оригинальности древнерусского искусства. «Русское искусство есть оригинальный художественный тип, крупное историческое явление, сложившееся работою великорусского племени при содействии целого ряда иноплеменных и восточных народностей, вызванных этим племенем к государственной и художественной деятельности. Как всякий крупный характер, это искусство является сложным типом, отлитым лишь после работы вековой и сотрудничества многих сил, но именно потому оно и владеет самобытностью и является цельным типом, и его декоративные начала, подобно другим евро-

---

[150] Опубликован в «Памятниках древней письменности», вып. 132 (1899).

[151] *С. А. Жебелев*. Введение в археологию, I, с. 178.

пейским художественным типам, способны к исторической разработке и могут служить основанием будущей художественной жизни» [152].

«Русской древности поставляли в вину (впрочем, только у нас дома) [153], что она начала бытие свое с заимствования византийских образцов... Но история искусства, научно поставленная, показывает нам, что всякое искусство начинает свою деятельность так называемым заимствованием, правильнее говоря, — общением с высшею культурою, и потому в известных, показных сферах, где ищут нового и неизвестного, мы встречаем памятники, выполненные чужими мастерами» [154].

Часто за памятник чужеземного искусства, работу немецких мастеров, а следовательно, не имеющую ценности для русской археологии, принимают замечательные скульптурные украшения, «прилепы» храма св. Дмитрия во Владимире и храма в Юрьеве-Польском. По этому поводу Кондаков замечает: «Русская археология много раз приступала к разрешению вопроса о происхождении этих скульптур, но обыкновенно в связи с архитектурою храмов Владимиро-Суздальской области вообще, и высказывалась в большинстве случаев в пользу

---

152 Доклад Н. П. Кондакова «О научных задачах истории древнерусского искусства», с. 2.

153 Это было написано в 1898 г. Ср., однако, известный труд г-на *Louis Réau* «L'art russe». Paris, 1920 [1921 — *Прим. сост.*].

154 Доклад Кондакова, с. 6.

германо-романского происхождения того и другого. Скажем кратко, что этот взгляд верен постольку, поскольку он охватывает только общие формы романской архитектуры и скульптурных украшений не только в Италии, но и Германии и в славянских странах: план суздальских церквей является греко-византийский, как в большинстве стран придунайских, композиция сводов, куполов также византийская, но расчленение фасадов, украшение портиками, аркадами и горельефными скульптурами по этим расчленениям относится уже к романским оригиналам на почве Германии».

Однако, — говорит Кондаков, — «пересмотрев (по изданиям) всю массу церквей со скульптурными украшениями на пространстве от Галиции по Дунаю и через Венгрию до Тироля и верхней Италии, равно через Швейцарию до южной Франции включительно, как от восточной Померании до берегов Рейна, за период IX–XII веков, мы нигде не нашли ни одной церкви, собора, дворца или здания, которое могло бы быть принято за образец украшения двух владимирских церквей. Можно найти по частям фигуры святых, животных, фантастических зверей и орнаменты; можно встретить тот же порядок украшений; можно, наконец, найти много лучше скульптур, более затейливых, более характерных, но нельзя встретить ничего подобного: наши два собора в своем роде единственные памятники, особенно Дмитровский собор, по небывалому богатству скульптур, рассыпанному на южной, западной и северной сторонах храма».

«Эта условная оригинальность наших памятников еще подтверждается внутренним смыслом всей скульптурной декорации Дмитриевского собора и художественным стилем изображений его и особенно скульптур собора в Юрьеве-Польском. Что особенно существенно, в первом случае внутренний смысл раскрывается всем ансамблем изображений: религиозных сцен и фигур по отношению к звериному царству, и стало быть, ясно показывает нам не декоративную игру, но осмысленный расчет с известною целью на понимание зрителями».

«В среде владимиро-суздальских церквей собор Юрьева-Польского занимает едва ли не первое место по своей древности и главное по оригинальности своих скульптур, выдвигающих вообще эти церкви из их скромного угла во главу любопытного общеевропейского вопроса об отношении романского, или западно-римского средневекового искусства, к восточно-византийскому. В самом деле, именно в юрьевских прилепах мы видим восточный тип и формы, наблюдаемые нами только в Сирии и отчасти на Кавказе» [155] .

В самом конце периода «Русских древностей» у Кондакова появился ученик-англичанин. Г-н Эллис Х. Миннз, будущий автор прекрасной книги о скифах и греках Южной России [156] , приехал в Россию, чтобы продолжить свое образование.

---

155 Там же, с. 14–15, 18–19, 29–30.

156 *E. H. Minns*. Scythians and Greeks (1913).

IV
Период иконографии

В 1898 г. Кондаков был избран членом Императорской Академии наук. Свою карьеру академика он начал с путешествия на Афон для изучения его древностей и искусства. Во время этого путешествия Кондаков уделял большое внимание иконописи и фрескам. К сожалению, он не смог промыть фрески Панселина, и позднее публикацию о них сделал В. Т. Георгиевский [157] .

Кондаков сделал отчет об этом путешествии в обширном труде под названием «Памятники христианского искусства на Афоне», который вышел в 1902 г. Многие страницы этой книги содержат подробное описание византийских икон, так же как писанных восковыми красками древних икон из коллекции епископа Порфирия (Успенского) [158] .

В последующие годы Н. П. Кондаков отдавал все больше времени изучению истории иконы. В июне 1900 г. Кондаков посетил села Мстера, Холуй и Палех во Владимирской губернии, основные центры иконописи. Его сопровождали граф С. Д. Шереметев,

---

157 *В. Т. Георгиевский.* Фрески Панселина в Протате на Афоне. Изд. Императорского археологического общества (без указания года).

158 Именно данные иконы не были отражены в издании дурных репродукций, подготовленном епископом Порфирием Успенским; Академия наук просила Кондакова написать предисловие к этому изданию (см. *Н. П. Кондаков.* Иконы синайской и афонской коллекций преосв. Порфирия. 1902).

председатель Общества любителей древнерусской словесности, и В. Т. Георгиевский, который уже ездил в эти села раньше[159]. Поездка была предпринята из-за слухов о бедственном положении суздальской иконописи, которая не выдерживала конкуренции с массовым производством новых «икон» на жести и бумаге, налаженным в Москве предприятиями Жако и Бонакера. (Фабрика Жако занималась оптовыми поставками банок для ваксы.)

Суздальские иконописцы продолжали древнюю традицию. В селе Холуй иконопись существовала еще в начале XVII в. Первые сведения о палехских мастерах относятся к правлению царя Алексея Михайловича. Вероятно, в то же время это искусство начало развиваться и во Мстере. Церковь в Палехе представляет собой настоящий музей иконы XVII–XVIII вв.

У Кондакова не было времени детально осмотреть эти села, но даже одного поверхностного визита было достаточно, чтобы он понял необходимость принимать срочные меры для сохранения художественной иконописи.

По мнению Кондакова, этот промысел страдал как от внутренних причин (нехватка технических навыков и художественных знаний у молодых иконописцев), так и от внешних (недостаточное жалованье, растущая конкуренция с иконами, печатанными на жести или на бумаге).

---

159 Отчет об этой поездке дан Кондаковым в «Памятниках древней письменности», вып. 139.

Кондаков выражал мнение, что следует прежде всего полностью запретить кому бы то ни было производство «поддельных икон», то есть печатание икон на бумаге и жести. Кроме того, необходимо было «любым способом укрепить в народном сознании мысль о том, что, согласно древней традиции, в православной церкви иконами называют изображения, писанные по дереву».

Кондаков считал печатаемые на бумаге и жести иконы явлением абсолютно пагубным. Фабричное производство икон придает «ликам святых выражение мертвой маски». При всех своих недостатках, иконописец всегда сумеет сохранить характер и выражение лика святого. Фабричный же художник, наоборот, неизбежно должен будет лишить лицо характерных особенностей, округлить его, смягчить строгость черт, убрать морщины; он будет стремиться к шаблону, к совершенной стертости характера. Духовная икона не может отождествляться с гравюрой или литографией, как это происходит на католическом Западе. Цель гравюры — всего лишь напоминать о данном оригинале, не более того, и ее ни в коей мере нельзя чтить как изображение святого. Икона должна иметь что-то от памятника... Как только будет предоставлена полная свобода печатания икон на жести или бумаге, религиозная икона исчезнет из обихода русского народа, как исчезла из мира католического [160] .

---

160 *Кондаков*, там же, с. 88.

Затем Кондаков предложил ряд практических мер: создание школ иконописи в тех селах, которые выразят желание; создание музеев и выставок икон и, наконец, улучшение экономических условий для этой живиописи: льготные расценки для транспортировки икон (такие же, как для книг), прокладывание дорог к селам, где занимаются иконописью, и. т. д. [161] .

Кроме проблемы поощрения искусства иконописи, Кондаков затрагивал также вопрос о сохранении других форм народного искусства, имеющего отношение к церкви: работ по металлу, резьбы и финифти. Благодаря влиянию Кондакова, А. А. Титов занялся изучением искусства финифтяников в Ростове Ярославской губернии и по поводу их ремесла сделал такой же вывод, что и Кондаков в связи с иконописью [162] .

Тем же летом Кондаков принял участие в исторической, этнографической и археологической экспедиции в Македонию. Она была организована по инициативе и на средства президента Академии наук, великого князя Константина Константиновича. Кондаков возглавлял экспедицию. Среди ее участников кроме Кондакова можно назвать слависта П. А. Лаврова, историка П. Н. Милюкова, ар-

---

161 Кондаков очень образно рассказал об ужасном состоянии дорог, ведущих к этим селам. Там же, с. 6–7.

162 См. Кондаков. Предисловие в кн. *А. А. Титов*. Финифтяники в городе Ростове. СПб., 1901, с. III–X.

хитектора П. П. Покрышкина и художника-фотографа Д. К. Крайнева.

Экспедиции пришлось преодолеть большие трудности во время путешествия по стране, еще мало обустроенной (в то время под турецким владычеством). Тем не менее, она имела большое значение как с точки зрения исторической этнографии (например, одежда славянского населения в Македонии), так и чисто археологической (старинные иконы в Охриде).

Кондаков проанализировал результаты экспедиции в издании, которое появилось в 1909 г. среди публикаций Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук под заглавием: «Македония. Археологическое путешествие».

По окончании экспедиции возобновились работы, связанные с иконами. 19 марта 1901 г. под высоким покровительством императора по инициативе Кондакова был основан Комитет попечительства о русской иконописи. Этот Комитет должен был принимать меры для поощрения иконописи, для сохранения художественных традиций, идущих от византийских и древнерусских образцов. Комитет имел право открывать школы иконописи, способствовать организации артелей иконописцев, издавать учебники и пособия, открывать магазины икон, создавать музеи, коллекции и устраивать выставки икон. Кондакова избрали управляющим делами Комитета. Летом 1901 г. Кондаков снова посетил Владимирскую область и центры народной иконописи.

Летом 1902 г. Кондаков изучал в Москве коллекции церковной живописи, иконы храмов, церквей, монастырей, моленен и часовен, так же как собрания икон Троицко-Сергиевской лавры и Киева. В том же году он организовал мастерские иконописи во Владимирской и Курской губерниях.

Чтобы облегчить иконописцам изучение старинных образцов, Кондаков начал публикацию обширного руководства: «Лицевой иконописный подлинник». Первый том «Лицевого подлинника», «Иконография Спасителя нашего Иисуса Христа», вышел в 1905 г. заботами Комитета. Этот труд представляет собой замечательное научное исследование истории византийской и русской церковной живописи, но, ввиду чисто практического назначения «Подлинника», критический и научный аппарат решили опустить и местами упростить изложение. За «Иконографией Христа», узко практической направленности, следовала серия строго научных изданий по той же тематике. В 1911 г. был опубликован труд: «Иконография Богоматери. Связи греческой и русской иконописи с итальянскою живописью раннего Возрождения».

Через несколько лет после этого сравнительно краткого научного сочинения появились два фундаментальных тома под названием: «Иконография Богоматери» (I т. 1914, II т. 1915). Этот труд Кондакова надолго останется классическим учебником для всех желающих изучать историю христианской церковной живописи. Кроме чисто археологической части, он содержит массу подробных све-

дений по истории религии, церкви и всей средневековой цивилизации вообще. Третий том должен был быть посвящен эволюции типа Богородицы в итальянской церковной живописи. Но эта иконография Мадонны осталась в рукописи. Рукопись была куплена папским престолом, и надо надеяться, что вскоре будет опубликована [163]. В связи со всеми эими исследованиями Кондаков до войны обычно почти каждый год проводил несколько месяцев в Италии. По свидетельству итальянского ученого, г-на Антонио Муньоса, он изучил «до тонкости» итальянские музеи и памятники средневековой живописи [164].

Несмотря на все эти поездки, главным центром интенсивной научной деятельности Кондакова оставался Петроград. Его квартира была одним из центров интеллектуальной жизни Петрограда. С. А. Жебелев так описывает «журфиксы» (дни встреч) у Кондакова: «Эти журфиксы посещали чуть ли не все русские ученые, причастные к археологической науке и к гуманитарному, а отчасти и естественно-историческому знанию, и созревшие и созревающие, и юные пионеры и маститые ветераны. Всех их объединяло это радушие и непринужденное общение, где разговоры серьезные перемежались с разговорами веселыми и

---

163 [«Иконография Мадонны» опубликована не была. — *Прим. сост.*]

164 Г-н Муньос в сб. «Н. П. Кондаков. 1844–1924», с. 19. [См. наст. изд. — *Прим. сост.*]

шутливыми, где обсуждались научные, житейские злобы дня, потому что все эти разнообразные интересы были близки уму и сердцу Н. П., все они его волновали в той или иной степени. Каких-каких тем не было затронуто на этих журфиксах. Посетители „суббот“ и „воскресений“ живо помнят, например, как оживленно дебатировались на них различные вопросы, связанные с деятельностью бывших Государственных дум, как обсуждались на них военные действия в эпоху Японской и Мировой войн, сколько внимания уделялось вопросам, связанным с художественными выставками и т. д., и т. д. И сколько юношеского задора вносил во все эти дебаты сам гостеприимный хозяин, как он жестоко нападал на одних, восторженно превозносил других, едко клеймил третьих. На журфиксах все присутствующие и поучались, и отдыхали, и развлекались. И над всеми посетителями возвышалась фигура Н. П., иногда сумрачная, подчас саркастическая, но, еще гораздо чаще, озаренная яркими лучами вдохновения, восторженности и любезности» [165] .

Среди западных археологов, испытавших обаяние интеллектуального общения с Н. П. Кондаковым в тот период его деятельности, можно назвать г-на Габриеля Милле (из Франции) и г-на Антонио Муньоса (из Италии).

---

[165] [Жебелев С. А. ΟΞΥΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. См. наст. изд. — *Прим. сост.*]

V
Годы изгнания (1917–1925)

Революция (1917) застала Кондакова за изучением материалов по истории русской, византийской и итальянской иконы. Она помешала этим исследованиям. Для Кондакова, как и для множества русских, ученых и неученых, молодых и старых, начались годы изгнания. Судьба пожелала, чтобы Кондаков своими глазами увидел явление, напоминавшее эпоху переселения народов, чьи древности он с такой любовью изучал до конца жизни.

В апреле 1917 г. Кондаков, спасаясь от революционных беспорядков в Петрограде, уезжает сначала на юг, в Одессу, потом в Ялту [166] .

Осенью 1918 г. он вернулся в Одессу, где по предложению Новороссийского университета начал читать курс лекций по истории русской иконы. В конце 1919 г., видя неизбежное вторжение большевиков в Одессу, Кондаков принимает решение эмигрировать за границу. С 1916 г. он являлся Старшим офицером ордена Почетного Легиона за свои научные заслуги. Поэтому французские офицеры, находившиеся в то время в Одессе, сделали все возможное, чтобы облегчить ему отъезд и обеспечить путешествие с возможным удобством. В на-

---

166 Для получения сведений о 1917–1922 гг. я использовал почти единственный источник: юбилейный сборник «Н. П. Кондаков 1844–1924» (Прага, 1924). [См. наст. изд. — *Прим. сост.*]

чале 1920 г. Кондаков высадился в Константинополе. Он провел в Болгарии два следующих года, читая в Софийском университете курс лекций по истории искусства средневековья. Во время своего пребывания в Болгарии он был избран членом Болгарской академии наук.

Следует отметить, что болгарские ученые и болгарское общество в целом отнеслись к Кондакову необыкновенно дружелюбно и тепло его приняли. На одном из заседаний Болгарской академи наук Кондаков сделал очень важный доклад о «Мифической суме с земною тягой», в основном используя сведения Константина Багрянородного об «Акакии» византийских императоров [167] .

Осенью 1921 г. Карлов университет в Праге пригласил Кондакова прочитать двухгодичный курс лекций об истории искусства в Восточной Европе. Кондаков согласился переехать в Прагу, надеясь найти там более богатые библиотеки, необходимые для его изысканий. В конце марта 1922 г. он уехал из Софии.

8 мая 1922 г. Кондаков начал читать в Карловом университете курс лекций, в котором излагал плоды своих долгих научных трудов [168] .

---

[167] См. *Кондаков*. Мифическая сума с земною тягою. Списание на Българската академия на наукитѣ. София, 1921. Кн. XXII.

[168] Н. П. Кондаков читал лекции в Карловом университете в течение 5 с половиной семестров (с 8 мая 1922 г. по 12 декабря 1924 г.).

а) Во время летнего семестра 1922 г. Кондаков прочел 16 лекций; вот их программа: **Введение.** Эллинизм. Греческий элемент на Востоке. Религиозная жизнь греко-римского мира до Константина Великого. Истоки христианства. — **Эллинистическое и христианское искусство.** Фрески в катакомбах Рима. Лепные украшения саркофагов. Лепные украшения дверей Св. Сабины и несколько памятников древнехристианской скульптуры. Старинные христианские базилики. — **Заключение.** Константин Великий как государственный деятель и военачальник. — **Искусство кочевников** (первый период). Варвары согласно данным древнегреческих авторов (до Геродота).

б) Зимний семестр 1922–1923 гг. (40 лекций). **Искусство кочевников** (продолжение). Варвары по греческим данным (продолжение). Кочевники в эпоху переселения народов. Расы варварских племен. Искусство варваров в южной России в эпоху скифо-сарматов. Курганы. Древности Венгрии. Великое переселение народов. Столкновения с Византией. Аланы. Готы. — **Заключение.** Религиозные верования кочевников. Шаманство Центральной Азии. Очерк о религиозном и символическом значении дракона. — **Христианское религиозное искусство.** Введение. Восточное монашество. Религиозная жизнь Византии в IV веке.

в) Летний семестр 1923 г. (28 лекций). **Христианское религиозное искусство** (продолжение). Происхождение иконы. Религиозная символика древнеегипетского искусства. Греко-египетский надгробный портрет. Энкаустика. **Памятники древней христианской архитектуры.** Рим. Равенна. Мозаики Рима и Равенны вплоть до VI века. Миниатюра. Циклы иллюстраций. Византийское искусство. Введение. Топография Константинополя. Очерк об акакии и мифической суме.

г) Зимний семестр 1923–1924 гг. (37 лекций). **Византийское искусство** (продолжение). **Материальная жизнь (нравы и обычаи).** Жизнь византийского двора. «Книга цере-

Сам Кондаков придавал своему курсу лекций большое значение.

монийй» (Константин Багрянородный). Придворные звания. Приемы и процессии. Прием русской княгини Ольги. Святослав. Драматические и конные зрелища. Фрески на лестницах церкви Св. Софии в Киеве. Одежда. Материи (лен, шерсть, шелк). Расцветка материй. Пурпур. Виды тканья. Украшение тканья. Элементы орнамента. История орнамента. Растительный орнамент (лотос, пальма, виноград, роза, белая лилия).

д) Летний семестр 1924 г. (20 лекций). **Византийское искусство** (продолжение). Растительный орнамент (окончание). Орнамент с животными мотивами. Очерк о развитии тканья. — Св. София в Константинополе. Архитектура. Мозаика. Памятники византийской скульптуры. Армянская архитектура. Сирия и Палестина. Храм гроба Господня. Скульптуры Студийского монастыря. **Мозаики и фрески VI–IX вв.** Паренцо, Салоники, Рим (Св. Мария Антиква). Очерк о значении изучения исторических наук.

е) Зимний семестр 1924–1925 гг. **Искусство кочевников** (второй период). Очерк о значении и роли варваров в формировании византийского и средневекового искусства. — **Аланы**. Клады Петроссы. Очерк об инкрустации в Древнем Египте. Техника инкрустации и эмалей. Новые открытия в гробнице Тутанхамона. — **Авары**. Перещепинский клад. Клад Сцилаги-Сцомлио. — **Болгары**. Историческое введение. Преслав. Абоба-Плиска. Мадарский всадник. Скульптуры Национального музея в Софии. Фрески на камне в южной России. Очерк об императорском орле. — Болгарские катакомбы. Культ ангелов. Гностические ереси. Клад из Надь-Сент-Миклош. Следы манихейской религии. — Христианство в южной России. Житие Св. Кирилла (Константина). Херсонес в Таврии. Перенесение мощей Св. Климента из Херсонеса в Рим. Фрески церкви Св. Климента в Риме.

М. И. Ростовцев в своих воспоминаниях о преподавании Кондакова в Петербургском университете высказывал предположение, что Кондаков не имел вкуса к чтению лекций [169]. О его преподавании в Пражском университете этого сказать нельзя: Кондаков занимался им увлеченно, подчас с огромным усилием преодолевая физическую слабость и плохое самочувствие.

Этот курс лекций имел большой успех; его слушали и несколько профессоров. Среди слушателей Кондакова некоторые стали последними его учениками, и они составили комитет по изданию данного сборника [170].

Кроме своего университетского курса, Кондаков стремился передавать свои идеи и другим пу-

---

169 [*Ростовцев М. И.* Странички воспоминаний. С. 27. См. наст. изд. — *Прим. сост.*]

170 Не имея сил написать свой курс полностью, Кондаков начал делать записи, касающиеся некоторых проблем, из которых собирался составить отдельные очерки. Надо надеяться, что последние работы учителя, которые находятся у его семьи, вскоре будут опубликованы. [См. библиографию трудов Н. П. Кондакова. — *Прим. сост.*] Хочется пожелать, чтобы издание сохранило каждую строку Кондакова так, как она была написана, без всяких изменений и правок. Кондаков — классик русской археологической науки, и все будущие археологи должны узнать каждую строку Кондакова в том виде, как она была написана, ибо во многих из этих строк содержатся глубокие научные мысли и целые программы для будущих исследований. Посмертное издание произведений Монтелиуса могло бы послужить примером для издания литературного наследия Кондакова.

тем. Так, в течение некоторого времени он раз в неделю читал у себя дома лекции на французском языке для тех, кто не мог слушать его курс на русском. Аудиторию этих «privatissima» составляли американец м-р Джон Крэн и несколько чешских ученых. До самой своей смерти Н. П. Кондаков читал отдельно для м-ль Алисы Масариковой, дочери президента республики Чехословакии, лекции по истории народной вышивки.

Кроме того, он прочел две публичные лекции на французском языке в чешском кружке Друзей истории искусства (Kruh pro peštování dějin umění) в Праге: одну, 23 ноября 1923 г., о «скарамангии» (ездовом кафтане) византийских императоров, другую, 30 ноября 1923 г., об эволюции иконы (в ней Кондаков сопоставлял икону с египетским погребальным портретом).

Весной 1924 г. Кондаков принял участие в Первом международном конгрессе византинистов, который состоялся в Бухаресте. Он сделал на нем доклад о византийском костюме (в основном на тему того же скарамангия). На этом Конгрессе Кондакова приветствовали долгими овациями.

В июле 1924 Кондаков вместе с профессором Карлового университета г-ном Хитылем и его ассистентом г-ном Фриделем посетил Выший Брод (на юге Чехословакии) с целью изучения украшенного эмалью византийского креста.

В Праге Кондаков занимался также подготовкой к изданию некоторых своих научных работ. Так, он полностью закончил свою «Иконографию

Мадонны», которая должна была составить третий том его «Иконографии Богоматери». Незадолго до кончины он имел счастье узнать, что данный труд будет напечатан, так как его именно с этой целью приобрел папский престол. Ему пришлось отказаться от завершения полной истории русской иконы, потому что основная часть его записей и материалов осталась в России. Кондаков был вынужден удовлетвориться изложением результатов работы всей своей жизни в сокращенном очерке об истории русской иконы. Значение этого научного труда для археологии очевидно [171] .

Как и ранее, Н. П. Кондаков до конца жизни поддерживал в письмах или при личных встречах постоянную научную связь со многими учеными, в том числе и со специалистами в области естественных наук, в Чехословакии, России, Болгарии, Англии, Франции, Италии, Америке, Бельгии, Испании, Венгрии и др.

На склоне дней Н. П. Кондаков не пренебрегал тем, что всегда его привлекало вне любимых заня-

---

[171] В 1924 г. этот труд при посредничестве г-на Е. Ляцкого был приобретен издательством «Пламя» в Праге. К несчастью, он до сих пор не опубликован. В то же время м-р Э. Х. Миннз начал перевод очерка на английский язык для «Кларендон Пресс». М-р Миннз любезно сообщил нам, что, занимаясь этой работой, он не имел возможности почтить память Учителя статьей в данном сборнике. [The Russian Icon / E. H. Minns. Translator's Preface. Oxford, 1927; *Кондаков Н. П.* Русская икона. Прага, 1928. Т. I; 1929. Т. II; 1931. Т. III. Ч. 1; 1933. Т. IV. Ч. 2.]

тий и являлось одной из сторон его сложной личности. Он живо интересовался художественными и археологическими изысканиями окружающих.

В 1923 г. в Праге на открытии выставки русского народного искусства Кондаков произнес речь о роли орнамента в искусстве народных вышивок (особенно вышитых салфеток).

В 1924 г. специальная комиссия взяла за основу его авторитетное мнение, утверждая план постройки новой русской церкви на Ольшанском кладбище в Праге. Ее начали строить при жизни Кондакова, но после его смерти она была далеко еще не закончена, и в дальнейшем в первоначальный план внесли изменения.

Насколько ему позволяли слабеющие силы, Кондаков посвящал часть своей деятельности работе по организации русской науки за границей. В октябре 1922 г. он был избран почетным президентом II Съезда русских академических организаций за рубежом. Кроме того, он участвовал в работе Русской академической группы в Чехословакии, а также отделения словесности Русского колледжа в Праге, с юношеским жаром отстаивая свою точку зрения, когда ему казалось, что академические принципы соблюдаются не полностью. В 1924 г. Кондаков вместе с автором этих строк предпринял шаги для создания восточного отделения Русского колледжа в Праге. Для этого он вел переговоры с выдающимся чешским ученым, г-ном профессором Музилем, который горячо поддержал его идею. К сожалению, это проект не был реализован.

Еще при жизни, в день празднования своего 80-летнего юбилея, Н. П. Кондаков смог увидеть единодушное почтение и глубокую благодарность за его научные заслуги.

Именно так чествовали Кондакова на открытии третьего съезда русских академических организаций за границей [172]. Карлов университет в Праге отметил его юбилей на торжественном заседании 31 октября 1924 г. Кондакова провозгласили почетным доктором Карлова университета. После выступлений чешские ученые, принадлежавшие к различным научным организациям: русским, французским, итальянским, болгарским — принесли свои поздравления [173].

Смерть помешала Кондакову увидеть первый том нового международного журнала по византинистике, который был посвящен ему в связи с юбилеем. По трагической иронии судьбы первый том журнала «Byzantion» вышел в тот самый день, когда в Брюсселе получили известие о кончине Кондакова.

Благодаря заботе американских и русских друзей в последние годы Кондаков не страдал от бедности.

Однако сердце сжимается при мысли о том, что научный труд Кондакова не был завершен из-за недостатка средств.

---

[172] Прага, 25 сентября 1924 г. (Речь Г. В. Вернадского.) [См. наст. изд. — *Прим. сост.*]

[173] В 1923 г. Кондаков был избран членом-корреспондентом Académie français des Inscriptions et Belles-Lettres. В 1924 г. его избрали также членом Румынской академии наук.

Так, например, Кондаков мечтал поехать в Париж. В последние годы восточные отделения парижских музеев сильно пополнились и могли бы дать Кондакову новые и многочисленные материалы о влиянии Востока на искусство средневековой Европы. В частности, Кондаков придавал большое значение изучению китайского искусства для объяснения русских древностей. Он живо интересовался изысканиями М. И. Ростовцева в этом направлении. Когда летом 1924 г. его ученик Н. П. Толль осматривал с этой целью парижские музеи, Кондаков руководил им из Праги. Конечно, стоило только Кондакову выразить желание, и многие его друзья и почитатели сочли бы своим долгом предоставить ему необходимые суммы денег. Но Кондаков, крайне щепетильный, скромный и гордый одновременно, всегда осуждавший слишком предприимчивых людей, очень строго относился к самому себе и запрещал своим близким даже отдаленный намек на стесненное материальное положение.

Во время пребывания в Праге Кондаков жаловался на здоровье. Его угнетал холодный и сырой климат, он страдал от одышки и отеков ног. Стали думать о его переезде на юг, о возвращении в Болгарию или о поездке в Италию, пусть совсем ненадолго.

В декабре 1924 г. Никодим Павлович почувствовал себя плохо. Врачи запретили ему читать лекции и вообще любые умственные перегрузки.

Кондаков должен был отказаться от лекций. Но, естественно, он не мог решиться прекратить

всякую умственную работу и продолжал писать свои археологические очерки.

Смерть настигла его в разгаре работы. Вечером с 16 на 17 февраля 1925 г. он еще продолжал свой труд. Закончив намеченное, он почувствовал дурноту.

Успел сказать только: «Мне плохо». Он умер мгновенно, без страданий.

Кондаков похоронен на русском кладбище в Ольшанах в Праге[174]. Похороны, очень торжественные, состоялись 19 февраля 1925 г.

VI

Заключение

Общий обзор научного наследия Н. П. Кондакова

Предыдущий очерк показывает нам обширность и богатство научного творчества Н. П. Кондакова. Широта его научных интересов поражает. Кафедра Кондакова в русских университетах называлась обычно кафедрой истории и теории искусства. Но научная деятельность Кондакова далеко выходила за эти рамки. Разумеется, Н. П. Кондаков всегда занимался историей искусства. Он глу-

---

174 [Позднее гроб с телом ученого был помещен в одну из ниш в крипте кладбищенского храма Успения Богоматери. — *Прим. сост.*]

боко интересовался теорией искусства и эстетикой. Но эти проблемы не поглощали его всего.

Он специализировался в области целого ряда наук: византинистики, истории, истории религий, истории цивилизации, археологии. Он предпочитал эту последнюю, и многие его научные исследования касаются этой области.

Без сомнения, Кондаков является одновременно историком искусства, религии, цивилизации и историком Византии, но прежде всего он — археолог в том смысле, какой он вкладывал в это слово.

В науке следует различать предмет и метод. По мнению Кондакова, предмет археологии составляет история цивилизации в самом широком смысле слова. Метод археологии применяется к изучению материальных памятников человеческой цивилизации, рассматриваемых как символы, как посредники между сознанием исследователя и цивилизациями, которые он изучает.

Нечто всегда направляло его в научной работе — углубленное понимание исторических памятников, к которым он никогда не относился поверхностно. Может быть, никакой другой современный археолог не обладал такими глубокими и обширными знаниями, как Кондаков. Художественное восприятие памятников представляет собой одну из неизгладимых черт его творческой мысли.

Поэтому археологические экспедиции занимали такое большое место в развитии его научного творчества — экспедиции, во время которых Кон-

даков знакомился на месте с памятниками, изучение которых часто приводило его к открытию новых археологических фактов. Во время этих путешествий Кондаков изучал Западную и Восточную Европу. Он досконально изучил Италию и ее музеи, осмотрел самые значительные собрания византийских иллюстрированных рукописей (в Вене, Париже, Лондоне, Мадриде). Он путешествовал также по Ближнему Востоку. Н. П. Кондаков своими глазами видел Балканы, Афон, Палестину, Сирию, Синай, и все, что он наблюдал, запечатлевалось в его сознании и перерабатывалось его творческой мыслью.

Кондаков так же хорошо изучил и южную Россию, Черноморское побережье, Крым и Грузию.

Исследование музейных коллекций имело для формирования его научных идей не меньшее значение, чем путешествия. Так, его служба хранителя в Эрмитаже сыграла большую роль в развитии его личности ученого в целом.

Кондаков всегда стремился анализировать факты во всех аспектах и с самых различных сторон. Поэтому он изучал археологические памятники не только с точки зрения их стиля, но и в связи с их отношением к культу и к религиозным и магическим обрядам, а также к повседневной жизни в ее историческом развитии.

Помимо этого, он уделял большое внимание технике изготовления любых предметов и влиянию этой техники, как и избранного материала, на их стиль и форму. Здесь, возможно, наиболее значи-

тельными являются исследования Н. П. Кондакова в области истории византийских эмалей и истории икон, написанных восковыми красками.

Очень характерны и его изыскания по истории орнамента (растительный и зооморфный орнамент).

Склонность Кондакова углубляться в художественную технику объясняет его взгляды на историю архитектуры. Кондаков ни в коей мере не отрицал ее научного значения, как иногда говорили. Но он требовал от лиц, занимавшихся историей архитектуры, совершенного понимания строительной техники. В то же время эта техника казалась Кондакову слишком сложной, чтобы все историки искусств и археологи могли овладеть ею.

Он полагал, что только ученый архитектор может ею заниматься; утверждал, что в этом отношении образцовыми могут считаться научные работы, подобные трудам Покрышкина [175].

Археология, понимаемая подобным образом, приближается к естественным наукам, особенно описательным естественным наукам.

Поэтому не случайно Кондаков поддерживал личные отношения с учеными-естествоиспытателями, о чем говорилось выше.

Для объяснения старинного орнамента Кондаков искал прежде всего растительную или животную форму, которая могла послужить моделью,

---

175 С другой стороны, именно работы П. П. Покрышкина несут на себе отпечаток сильного влияния Н. П. Кондакова.

стремился выяснить причины, по каким той или иной форме придавался религиозный и художественный смысл [176].

*

Н. П. Кондаков не был склонен рассматривать развитие искусства как односторонний процесс. Он не думал, что европейская цивилизация представляет собой высшую фазу развития человечества, а все остальные цивилизации являлись всего лишь этапами достижения этой фазы. Идея прогресса в таком понимании была ему чужда. Он противопоставлял этой идее мысль о трансформации или эволюции, способной принимать различные направления: прогресса в чистом виде, упадка или просто бокового отклонения. Развитие цивилизации вообще не идет по одной восходящей линии, но одновременно по разным линиям в разных направлениях. Отсюда вытекают два следствия, которые кажутся нам крайне важными. С одной стороны, Н. П. Кондаков утверждает существование в различные, иногда очень отдаленные периоды, достижений, которые по своим методам и

---

176 См., например, его замечания о плоде и цветке граната в «Памятнике гарпий», с. 97–102. Для определения природы старинного пурпурного цвета Н. П. Кондаков обратился к И. И. Мечникову, чтобы тот дал ему сведения о ракушке, при помощи которой этот цвет получали в древности (этот факт упомянул сам Кондаков на одной из своих лекций в Карловом университете).

творческим процессам до сих пор не были превзойдены человечеством.

Другим следствием тех же предпосылок является признание великой ценности цивилизации и вместе с тем искусства народов и исторических эпох, к высоким достижениям которых обычно серьезно не относились. «... Быт кочевников в известную эпоху шел впереди быта земледельческого по усвоению культурных форм, хотя бы эти формы касались исключительно личных украшений, уборов, того, что называется доселе богатством в народе» [177] .

Термин «варварство», который европейская наука так легко употребляет по отношению ко многим племенам и народам, зачастую, по выражению Кондакова, должно «понимать не в смысле примитивной грубости, начальной, первой ступени цивилизации, но в том смысле, как этот термин принимали греки, называя древних персов варварами, т. е. в смысле особой, отличной от Запада, культуры восточного происхождения и характера, наиболее оригинально выражавшейся в быту кочевников» [178] .

*

В совокупности научные работы Н. П. Кондакова образуют почти полную историю европейского и ближневосточного искусства, начиная с класси-

---

[177] Русские древности, V, 25.

[178] Русские древности, V, 25.

ческой античности и кончая (в разработке отдельных проблем, например, проблемы иконы) современностью.

Очевидно, что Византия является краеугольным камнем всего творчества Кондакова. Кондаков рассматривал ее как средоточие развития всего средневекового искусства, ядро, с которым связаны все проблемы истории искусства с VI по VII вв. Византия — наследница античной цивилизации — раньше других европейских стран ассимилировала искусство кочевников и усовершенствовала его, чтобы передать Западу, где оно в свою очередь вдохновило местные творческие силы. Искусство Византии — это основа, на которой позднее было построено все средневековое искусство и Европы, и Ближнего Востока.

Таким образом, роль Византии вырисовывается как роль посредника между Европой и Востоком.

Потенциальные творческие силы идентичного характера и еще более мощные проявляются, по мнению Кондакова, в русском искусстве и во всей его истории.

Речь о проблемах истории русского искусства, которую Кондаков произнес на своей знаменитой лекции осенью 1899 г., представляется нам вдохновенной и пророческой. «На наших глазах разом выяснилось, какая крупная роль в среде древностей Европы принадлежит русской археологии, ибо одно предвидение этой роли вызвало в истекшее двадцатипятилетие блестящее развитие русских археологических съездов, организацию многочис-

ленных археологических комитетов и собраний и обширный ряд изданий по археологии Кавказа, Крыма и Новороссии, Средней Азии и Финляндии, северозападного края и прибалтийских губерний, об археологии Сибири и России вообще. Какое богатство художественных и бытовых типов и теперь представляет археология скифо-сарматского периода! Какое руководящее значение принадлежит древностям Сибири и южной России в эпоху переселения народов! Наш Кавказ представляет собою колоссальный некрополь древних народностей и разнообразных культур, склад изделий мастерских Малой Азии и Сирии и начала искусства и художественной промышленности средневековой Европы. Древняя Русь и Грузия были наиболее жизненными пересадками византийского искусства, пышно разросшимися на почве родственных влияний Востока. Пермский край и также Сибирь сохранили нам в серебряных блюдах, находимых на поле или в обиходе инородцев, неизвестное искусство Сассанидской Персии, а Средняя Азия его продолжение. Суздальская земля была некогда образцом живого роста народного искусства на почве усвоения самых разносторонних влияний.

Русская археология имеет, наконец, своею научною задачею изучение и объяснение московской старины в ее характерных, поразительных, но пока непонятных формах, и той же археологии в ближайшем будущем предстоит дело научной постановки исторической этнографии Российской империи. Работы над этими сложными, трудными, но

высокими и благородными задачами создадут и науке русской археологии свое собственное место в среде исторической европейской науки и, вместе с тем, покажут, что русское государство есть исторический наследник великих царств Востока и что русский народ объединил и сплотил вокруг русского центра Крым и Кавказ, Сибирь и Среднюю Азию собственным духовным развитием и своею историею» [179].

Эти слова Никодима Павловича Кондакова составляют целую программу...

179 См. Памятники древней письменности, вып. 132 (1899), с. 46–47.

Д. В. Айналов (Ленинград)

Академик Н. П. Кондаков как историк искусства и методолог [180]

Среди современного Олимпа ученых, западноевропейских и русских, личность Н. П. Кондакова, сильная и оригинальная в своей научной индивидуальности, является редкой и яркой. Его труды носят печать чрезвычайной самостоятельности, особенного склада мышления и изложения. Его способы видеть и наблюдать отличаются особой проницательностью, редкой у его современников.

Несомненно, что биографические данные имеют значение для выяснения научной карьеры. Но что сказать о том человеке, как Н. П. Кондаков, который, став виднейшим ученым, происходил от крепостного человека князей Трубецких, владельцев имений в Новооскольском уезде Курской губернии, отпущенного ими на свободу? Возможно, что благодаря именно своему крестьянскому происхождению он отличался физической крепостью и долговечно-

---

180 Доклад, читанный в Государственной академии истории материальной культуры 13 января 1925 года. Опубликован в: ССАВСК. Прага, 1928. Т. 2.

стью; но и особая самостоятельность научной мысли, ее свежесть и сила, несомненно, также восходят к каким-то родовым чертам. В самом деле, не этими ли качествами физической природы Н. П. Кондакова можно объяснять главнейшие черты его работ: они всегда новы, широко задуманы и отличаются углубленностью созерцания предмета, так что кажется, будто он стоит вне обычной научной традиционной преемственности. Во всех этих особенностях трудов Н. П. чуется присутствие внутренней силы, которую мы называем талантом, и особой напряженной работы мысли, вполне самостоятельной и даже обособленной.

Физическое рождение обусловливает, весьма возможно, только общие свойства работ Н. П.; но идеи, направления, поставленные и разрешенные задачи уже обусловливаются не физическим рождением, а рождением духовным, идейным, сферою интересов, веяний и велений эпохи. Н. П. ученик Ф. И. Буслаева. Этого деятеля нашего просвещения надо считать отцом Н. П. как ученого. До сих пор я не читал еще и не знаю такой оценки деятельности Ф. И. Буслаева, которая могла бы объяснить всю сложную деятельность этого замечательного разнообразного ученого и исследователя. Я укажу только на те основные черты Н. П. как ученого, которые развились, оформились в школе Буслаева.

Программа преподавания 70-х годов в университетах требовала изучения только классического искусства. Преподавание истории искусства эпохи средних веков, ренессанса стало робко проникать в

университетское преподавание лишь в 80-х годах. Н. П. воспитался в университете на классической программе, слушал Герца, интересовавшегося средневековой живописью и миниатюрой. На штудии классического искусства вырос Н. П. как профессор и как будущий научный методолог. В школе Ф. И. Буслаева также процветало изучение и любовь к классическому искусству. Кто не помнит восторженных описаний Буслаева Ниобид Флорентийских Уффициев? Кто не читал его характеристики Геракла Фарнезского и не усвоил из нее известной, тогда модной эстетики, еще винкельмановской, античной пластики — об античном спокойствии статуй? Кому, наконец, неизвестно, что строгановская бронзовая статуэтка Аполлона связана также с именем Буслаева и вошла в науку из круга Буслаева? Но школа Буслаева влияла и в других отношениях. Сам Буслаев был весь в средневековье Востока и Запада. Он был первый, поднявший на свои плечи тяжесть проповеди о необходимости изучения русского и византийского искусства. Из его рук вышли очерки древнерусского искусства, первые научные понятия о русской древней живописи. Он увлекался собором св. Марка в Венеции, равеннскими мозаиками и, однажды, встретив молодого Ж. П. Рихтера, рекомендовал ему и помог заняться равеннскими мозаиками. Это была первая вполне научная монография, посвященная Рихтером Буслаеву как своему учителю. Теперь это ветеран науки, трудящийся в Лондоне, издавший много трудов.

Буслаев первый в России применял в широкой мере сравнение форм русского искусства с византийскими и западными формами. Он был первый строгий методичный ученый в области изучения искусства, и его сочинения являются воспитательными для последующего времени, вплоть до настоящего дня. Вместе с тем, в своих работах Буслаев двоился. Это был не только историк искусства, но еще более историк литературы и русского языка, историческая хрестоматия которого не превзойдена до настоящего дня.

Н. П. унаследовал от Буслаева все особенности его направления. Некоторые стороны этого направления Н. П. углубил, другие совершенно не возделывал; но интересы школы остались у него навсегда. Как профессор университета, он шире и глубже изучал античное искусство; как ученик Буслаева он перешел от методологии, выработанной на изучении античного искусства, на византийское искусство и здесь проложил огромный путь; перешел к истории русского искусства, как бы исполняя веком поставленную задачу указать на связи русского искусства с византийским. Древнерусскую литературу Н. П. не возделывал, но литературные интересы в нем остались навсегда. По окончании университета он читал русскую литературу в гимназиях, а ставши академиком, писал критические статьи о литературных произведениях новых авторов нашего времени в изданиях Академии наук. Его знания по древнерусской литературе, по объяснению текстов разбросаны в его

трудах. Он переводил романы Флобера, и сам однажды написал рассказ «Сон археолога».

Равным образом средневековье Запада не осталось в стороне от научных интересов Н. П. Кондакова; он никогда не покидал почвы западного искусства, и в его портфеле лежит до сих пор не напечатанная работа по истории западноевропейской миниатюры, возникшая наряду с его знаменитой книгой по истории византийского искусства по миниатюрам рукописей.

Н. П. строго и неуклонно шел к специализации в области истории византийского искусства. Но и здесь ясно видно, что какие-то особые причины влекли его сначала к античному искусству, а затем уже к византийскому и русскому. Эти причины были веления времени, веления его эпохи. Для того, чтобы иметь силы подойти к научной работе в области византийского искусства, ему пришлось широко раздвинуть рамки изучения античного искусства; но он не стал специалистом его. Он глубже, чем другие для его времени, проник в историю антика и дал несколько выдающихся работ, заслуживших всеобщие похвалы и до сих пор с благодарностью вспоминаемых в специальной литературе. Таковы его диссертация о памятнике гарпий в Малой Азии, статья о мраморном рельефе из Пантикапея, о мелких древностях Кубанской и Терской области, наконец, книга «Греческие терракотовые статуэтки в их отношении к искусству, религии и быту».

Крайне важно отметить, что Н. П., выполняя свою работу о терракоттах во время заграничной

командировки, сам пишет о себе, что он одновременно занимается памятниками византийской миниатюры для будущего своего труда. Переход от терракот к византийской миниатюре мог бы показаться странным, если бы другие обстоятельства не освещали его. Конечно, не терракоты составили переход к византийской миниатюре, а общая штудия античного искусства. Всем известно, что Н. П., будучи профессором Новороссийского университета с 1870 года, преподавал античное искусство. Его вступительная лекция называлась: «Наука классической древности и теория искусства». Эта статья важна во многих отношениях. В ней с полной ясностью Н. П. высказывает тот взгляд, что во всех случаях для историка искусства нужна прежде всего историческая штудия классического искусства, в которой изучение истории стилей и школ доведено до замечательной научной высоты. Затем с полным сознанием указывается тот прием исследования, который только теперь применяется, как наиболее совершенный, именно «непосредственное изучение всякого памятника, так как памятник влияет на зрителя и передает ему сам то, что говорил он некогда художнику, его создавшему. Никакие предвзятые теории о прекрасном не должны смущать этого лицезрения и постижения древнего памятника искусства». К этому я должен прибавить мои собственные воспоминания: я слушал у Н. П. его курсы по античному искусству и на практике при разборе памятников он развивал, именно, положения своей вступительной лекции.

Он образовал в Одесском университете огромный музей слепков, пополнявшийся на моей памяти, и мне поручено было составить каталог его по описанию слепков Берлинского музея, сделанному Фридериксом. Это был первый в России, если не считать более или менее случайно подобранного музея слепков в Академии художеств, систематический музей слепков применительно к педагогическим целям, превзойденный только московским, но много позже.

Можно ли удивляться, что классик перешел на изучение византийского искусства? Такие случаи бывали и впоследствии, и я могу напомнить из общего житейского опыта, как, например, другой видный русский классик Д. Ф. Беляев перешел на изучение византийских текстов и большую часть своей жизни положил на изучение Придворного византийского устава. Мне кажется даже, что, по нашим условиям, переход от античного мира к средневековому, в особенности византийскому, вполне законен, естествен. Античное искусство было первой необходимой школой для Н. П.; здесь он выработал те научные приемы исследования стилей, анализа форм, выработал общие взгляды на изучение искусства, которые оживили научное изучение византийского и русского искусства и поставили его на европейскую высоту.

Есть еще одна черта в деятельности Н. П. Кондакова, крайне важная.

Несомненно, что, будучи послан заграницу для усовершенствования, он изучает античное искус-

ство наравне со средневековыми мозаиками, миниатюрами, рельефами, как «буслаевец», как ученик, вышедший из почти универсальной школы Буслаева; но еще важнее, что он вынес из школы Буслаева глубокий интерес к искусству итальянского Возрождения. Этот интерес выразился прежде всего в том, что он первый начал читать в университете курс по искусству итальянского Возрождения не как образованный эстет, а как ученый специалист. У него не было специальных работ в этой области, но зато Одесский музей обогатился несколькими отличными оригиналами итальянской, фламандской и старонемецкой живописи. Плоды же этого увлечения сказались, как увидим, много позже в изучении русской живописи XV столетия и ее западных источников.

Брошу взгляд на сказанное. Круг научных интересов Н. П. определяется школой Буслаева, из которой он вышел, но в них уже сказывается индивидуальный склад ученика. Его призвание — история искусства, а не история литературы; с другой стороны, его симпатии определяются русским и византийским средневековьем. В 1867 году, когда он уехал за границу, ему было всего 23 года, он был ученик Буслаева, того Буслаева, который с особенным глубоким чувством говорил о своей любви к Западу, затем к Византии, как бы не порочил ее Чаадаев, *«так как он знает ее высокое призвание в средние века в Европе»*. Буслаев, как ученый, не мог разделять крайностей славянофильства и западничества и остался объективным

ученым. Этот научный объективизм виден и в трудах Н. П. Кондакова. Он совершенно естественно переходит от антика к византийскому средневековью, к средневековью русскому, а отсюда к более поздним формам русского искусства, переходит как ученый методолог, а не как славянофил, но... здесь есть небольшое «но».

Уже в первых работах своих Н. П. ясно показал особенности своего научного миросозерцания, стоявшего в связи с категорическими императивами его эпохи. Так, изучая памятник гарпий, он, строго говоря, ставил вопрос о греческой общенародной символике, отразившейся на памятнике. В своей работе о терракотовых статуэтках он так определяет свой взгляд на них: «Эти мелкие, ремесленные произведения классического мира, каковы терракоты, исполнявшиеся в глине посредством оттиска с модели, и потому назначенные для распространения в народе, как наши лубочные картинки, назначены со временем дать нам, вместе с рисунками ваз, истинное понимание греческой религии в ее *общенародном* содержании и в *историческом* ее развитии».

Другая работа его, создавшая ему европейское имя, «История византийского искусства по миниатюрам», преследует те же цели: общенародность и связь с литературой и жизнью византийской миниатюры в течение многих веков ее существования. Такой взгляд, как он сам выражается, есть только у Буслаева и «разве только у нашего ученого есть исторический прием, который стремится объяснить

произведения искусства (в настоящем случае византийской миниатюры) в связи с идеальным настроением века и с содержанием литературы».

Критика в свое время отметила эту мысль в построении как «Истории византийского искусства», так и других работ Н. П. Кондакова. Это не была классификация памятников, а выяснение жизненных сторон культуры, идей в смене эпох. Связь с литературой, с общественной жизнью и религией ложилась в фундамент труда, и таким образом общенародные идеалы и интересы изучались в сфере художественных памятников. Вот почему «История византийского искусства» признана и у нас, и в Европе настоящим историческим трудом: в нем, как и в других упомянутых трудах, Н. П. заставляет смотреть на миниатюры и на терракоты, как на продукт цивилизации, и раскрывает связь этих предметов с умственным состоянием народа в течение веков. Общенародные идеалы, общенародные верования и культура — вот те общие положения, осветить которые Н. П. ставил своей целью, и признавал эту цель выполненной только его учителем Буслаевым. Здесь, несомненно, мы имеем дело с народничеством прошлого столетия, но преломленным в научном объективизме. Отличной иллюстрацией этого стремления смотреть на памятники искусства как на произведения народного духа служит большая статья Н. П. об архитектуре грузинских церквей. Эта статья ставит основное положение, что грузинская архитектура представляет одну из многочисленных

ветвей византийского искусства, на национальной основе выработавшую оригинальные типические особенности, которые и дают ей право на самостоятельное место в истории искусства, что в ней есть движение, история. Рассматривая планы церквей, их внешние украшения и строительную систему, Н. П. уже в 1876 году ввел в науку то положение, которое теперь разрослось до своих нормальных размеров, именно, что у византийского искусства есть разнообразная периферия. Эта периферия — национальные особенные проявления или изменения общего стиля, как, например, в Грузии. Н. П. есть отец этой великой и плодотворной мысли в области изучения византийского искусства; никто ранее его не смотрел так на историю византийского искусства. Нельзя не видеть, что и эта вторая общая мысль ложится рядом с первой — общенародным началом, и представляет первую попытку того разделения предмета на отделы, которые много лет спустя заставили его путешествовать в Царьград, в Сирию и Палестину, ехать на Афон и в славянские земли. Уже по его следам пошли многие другие и выполняют то дело изучения отдельных миров византийского круга, которое на Западе уже частью сделано для изучения стилей и свойств романского и готического искусства. Эти романо-готические стили различны по национальностям — от Испании до Германии и берегов Балтийского моря, но они все объединены одним художественным общим стилем. Грузия и ее архитектура принадлежат Византии — она оригинальное национальное образо-

вание византийского круга, но не западного — вот главное в упомянутой статье Н. П. Следует признать теперь, через 50 лет (статья вышла в 1876 г., но путешествие по Грузии совершено в 1873 г.), что Н. П. положил начало тому мощному движению в изучении византийской периферии, которое может вполне стать рядом с изучением романо-готических стилей; и, если когда-нибудь кто-либо пожелает узнать, что сделано у нас для определения отдельных византийских стилей, мы можем сказать, что эту работу мы начали уже 50 лет назад, что начал ее Н. П. Кондаков в то время, когда понимание романо-готических стилей еще не начиналось и когда Куражо во Франции едва начинал свое дело, указывая восточные элементы в романском искусстве Франции.

Во что выкристаллизовался этот первый шаг, показывают слова самого Н. П. Кондакова в его труде «Византийские церкви и памятники Константинополя». В предисловии к этому труду он указывает, что, если западная наука пришла к тому, что надо изучить средневековый Запад, «то русская наука должна поставить своей задачей и построить научный фундамент своего предмета на Византии... Мы считаем, что наука древностей и искусства Востока обязательна для русской археологической науки не только как среда ей близкая, родственная и потому понятная, но и как исторически унаследованная и потому представляющая в данное время единственный путь к утверждению в русской археологии научного сравнительного мето-

да». В этих словах заключается целая программа деятельности, выполненная частью самим Н. П., частью силами русской науки вообще, но эта программа вытекает не из личных симпатий или склонностей Н. П., а из безусловных непреоборимых условий жизни и требований науки. Едва ли где-либо можно найти у нас или на Западе так конкретно и ярко поставленную огромную задачу для русского научного движения в течение 80–90 гг. Она ставилась параллельно другой задаче, выполнявшейся европейской наукой, занятой и по сей день еще кропотливым изучением разветвления романо-готических стилей. В области научных движений XIX столетия можно усмотреть две великие задачи времени: изучение и определение доставшегося исторического наследия в области искусства и культуры. Это была научная оценка западной культуры в ее национальных образованиях, с одной стороны, и оценка восточной византийской цивилизации в ее национальных разветвлениях — с другой. Едва ли можно найти две большие по значению мысли в истории изучения европейского искусства, и одну из них выносил, сознал и частью выполнил наш ученый. Он выполнил ее систематически целым рядом больших трудов. Первый по времени — тот, о котором я еще не упоминал, — его книга: «Путешествие на Синай», в глухую провинцию древней Византии на крайнем Востоке, где он описал и впервые определил значение первостепенных памятников Синайского монастыря; второй — уже упомянутое сочинение «Константино-

польские церкви и памятники Константинополя», сочинение и до сих пор руководящее по археологии Царьграда. В 1889 г. Н. П. едет на Кавказ для описи древностей в различных монастырях Мингрелии, Имеретии, Грузии, в 1891 г. в Сирию и Палестину [181], в 1898 г. на Афон, в 1907 г. в Македонию [182]. Так выполнена была программно та огромная задача истории византийского искусства и круга его стилей, о которой я говорил только что.

Пока выполнялась эта задача, времена изменились. Вместе с изучением и опубликованием памятников византийского искусства назрели и новые вопросы научной методологии, в разрешении которых Н. П. принимал не только живейшее участие, но и сам был начинателем новой эры. Еще всюду слышались речи о народном искусстве, еще в 1884 году Н. П. в рецензии на труд своего учителя Буслаева писал о русской миниатюре, что она есть та самостоятельная, объективная «народная среда художественного и духовного творчества, которая ждет исследователя... и докажет ему, что существо движения заключалось именно в среде народного искусства... и удерживала цельный национальный тип». В этом приговоре слышен еще первый рассмотренный нами этап научной методологии; но пройдет еще 6 лет, и уже, не нарушая

---

181 Археологич. путешествие по Сирии и Палестине. (*Прим. ред. 1-го издания.*)

182 Македония. Археологич. путешествие (в 1909 г.). (*Прим. ред. 1-го издания.*)

силы первоначальной научной идеологии, мы услышим новую. Уже в своей истории византийского искусства Н. П. указывал на значение Востока для Византии, для византийского искусства, но тогда он еще не выходил из рамок общеевропейского понимания вопроса о роли Константинополя. Все говорили и знали, что основание Царьграда приблизило центр империи к Востоку, но вместе с тем создалась особая теория, что Царьград был очагом римской культуры и искусства. Только очень немногие данные были в руках историков искусства, говорившие о ясном влиянии Востока на столицу восточной империи. В своей «Истории византийского искусства» Н. П. Кондаков отмечает азиатские черты в одеждах, в знаках или орденах, в перерождении античного склада рисунка; но из такой постановки вопроса еще не вытекало все значение будущей и скорой его постановки в иной форме. Постановка вопроса оформилась уже после поездки на Синай, но приобрела новую и оригинальную силу обязательности для научного исследования только после поездки в Сирию и Палестину. «Древности Палестины и Сирии имеют первенствующее значение для истории христианского искусства от начала IV века (век основания Константинополя) до половины VII века. Восточный характер византийского искусства имеет свой источник столько же в малоазиатских центрах, сколько в Иерусалиме и Антиохии, где восточное искусство нашло себе после Персии новую родину и где оно было усвоено впервые самими арабами». Подходя

к изучению византийского искусства с точки зрения восточных влияний Малой Азии, Сирии и Палестины, Н. П. сам определил существо нового вопроса во втором своем докладе в Палестинском обществе в 1892 г.: «Можно считать особым счастьем, говорит он, что цель палестиноведения совпала вполне с важнейшею современной задачей христианской археологии — вопросом о происхождении византийского, или восточного христианского искусства». Действительно тогда, т. е. в 80–90 годах, стал и другой вопрос изучения византийского искусства, как вопрос, параллельный такому же, возникшему на Западе, об источниках романского и готического стилей. Он стал во весь свой колоссальный рост именно в России, именно под влиянием и при почине Н. П. В европейской науке мы имеем вторичные отзвуки решения вопроса, и Стржиговский, сначала говоривший о Риме и его значении для образования форм византийского искусства, переменил свои воззрения, и у него в виде памфлетов появились статьи: «Эллада в объятиях Востока» и «Рим или Восток?», представлявшие частью повторение русского методологического почина, частью доказательство верности его при посредстве новых материалов. На это движение русской науки и особенно на почин его со стороны Н. П. единодушно откликнулись ученые Запада, и теперь эта область уже не представляет поля для битвы, как раньше, когда защитники Рима и папского искусства вступали в жаркие споры со сторонниками нового веяния. Все улеглось теперь в

рамки строгой научности исследования форм на основе того сравнительная метода, о котором говорил Н. П. и к которому я еще возвращусь.

Два огромные шага, сделанные Н. П. в смысле постановки вопроса о периферии византийского влияния в культуре и искусстве и в вопросе о происхождении форм византийского искусства от соприкосновения с Сирией, Палестиной и Малой Азией, были шагами гигантского размера; но есть и третий шаг такого же размера, сделанный им и доселе пока не имевший такого значения для Запада, как первые два, но будущее которого совершенно ясно и определенно. Этот шаг состоит в новом изменении поля деятельности. Для научного изучения Византии он усвоил методы и приемы античного искусства, а изучивши византийское искусство и совершивши несколько поездок на Восток и в славянские земли и не теряя соприкосновения с искусством Италии, он перешел к изучению древнего русского искусства. Этот третий шаг есть лишь новый этап в достижениях методологического характера. Ему отвечает статья: «О научных задачах истории древнерусского искусства», 1899 года, в которой на первый план выдвинуты занятия Византией и византийским искусством для постижения древнейшего русского искусства, а затем при переходе к XV веку, такое же развитие мысли о необходимости познания эпохи Возрождения для изучения русской живописи XV века.

Последний переход к изучению русского искусства является не сразу, а постепенно. Первым яс-

ным шагом является статья о фресках лестниц Киево-Софийского собора. Эта небольшая, но замечательная статья 1888 года вся основана на приложении к русскому искусству византийских штудий. Объяснение загадочных фресок основано на византийских формах жизни и искусства. Вторым этапным путем были «Византийские эмали» (1892 г.), к которым приложена особая глава о русских эмалях, как ветви византийской художественной индустрии. Наконец, третьим трудом является книга «Русские клады». Это сочинение, явившееся в 1896 году, уже непосредственно занято русским материалом и кладет новый путь к пониманию древнейшего русского искусства и его восточных и византийских связей.

Постоянное соприкосновение с русской иконографией и труды, выполненные в этой области, привели Н. П. к принципиальной постановке вопроса о русской живописи XV века, и в результате явились две работы, трактующие о распространении на Руси оригиналов итальянского возрождения через посредство итало-критской живописи. Эти работы обратили на себя внимание не только в России, но и на Западе, так как они несли новый свет в темную область, которая теперь особенно интересует ученых Запада, в загадочную область русской иконы, т. е. русской станковой живописи, так поразившей Запад своими экзотическими формами, на самом же деле крайне родственной живописи возрождения на Западе. В этих работах весь интерес сосредоточен на параллельном изучении итальянской и русской живописи.

Эти работы в свою очередь нормально привели к новой постановке учения о русской станковой живописи и к пересмотру истории русского иконописания. Этот последний труд еще не появился в печати, но можно предугадывать, что многие страницы его внесут переворот в понимание истории русской живописи с древнейших ее времен [183] .

Таково же происхождение и другого большого труда Н. П. о так называемом «зверином стиле» в орнаменте. Разнообразные формы животного мира, вошедшие в состав средневекового орнамента и в нем принявшие такие изменения, которые поражают своей странностью, например, плетения из форм животных, змей и птиц, — целые басни, сказки и легенды о разных мифических зверях и птицах — все эти стороны средневековой орнаментики уже изучены для западного средневековья, романского и готического. Это был мир того уродливого и легендарного представления о природе, людях и зверях, который отразился в средневековом бестиарии и физиологе и представлял своеобразную средневековую науку о фауне и флоре. Для Востока такой работы не сделано. Мы не знаем, в какой мере связан восточный звериный орнамент с физиологом и восточной наукой о мире, не знаем его распространение,

---

[183] Пока этот труд напечатан в сокращенном изложении в Оксфорде: The Russian Icon by Nikodim Pawlovitsch Kondakov. Traslated by Ellis Minns etc. Oxford, MCMXXVII, и содержит много замечательных новых данных и открытий. (*Прим. ред. 1-го издания.*)

применение и развитие его форм. Надо думать, что Н. П. и здесь поставил на ноги эту интересную область средневекового восточного искусства, как параллель к западному звериному стилю.

Таким образом, в деятельности Н. П. как историка искусства прежде всего надо отметить мощный почин чисто методологического характера. Он врезывается в материал византийского и русского искусства, как современный деятель европейской науки, в уровень с европейским научным движением, вследствие чего его работы получили общее признание в науке. Он проводит в истории византийского искусства те же глубокие борозды, которыми взрыт материал западноевропейского искусства. Он имел полное право сказать, что он положил начало научному изучению византийского искусства и проложил дорогу к изучению его периферии и к источникам происхождения его стилей.

С другой стороны, конечно, никакая методология не принесла бы плодов, если бы Н. П. не обладал в высшей степени даром изучения форм и их сравнения. Эта сторона научной работы стоит в связи с усвоением античного искусства и сравнительным методом, в нем применявшимся, но вместе с тем она есть дар его природы. Никто так не смотрит на предметы, как Н. П., и никто не видит того, что видит он. Успех его работы, кроме строго научной постановки, зависел еще от силы и зоркости анализа. Конечно, только благодаря этому утонченному наблюдению и анализу он мог определить стиль пантикапейского рельефа с изобра-

жением богов Артемиды, Аполлона, Ермия и Афродиты, и это определение удержано, вопреки Фуртвенглеру и Гаузеру, и теперь, и рельеф считается произведением аттико-ионийской школы VI века до Р. Хр. Конечно, только благодаря тому же углубленному анализу стиля обязана своим происхождением и известная статья Н. П. о рельефах дверей церкви св. Сабины в Риме, которые он отнес к V–VI веку, вопреки обычным тогдашним датировкам XII–XIII века. Эта статья сделала свое дело и провела резкую и разрушительную трещину в западной научной аналитике средневековых памятников. Конечно, только благодаря этой особенности Н. П. мог так удивительно выделить античный элемент в византийских рукописях, так остро обозначить черты восточных влияний. В истории русских древностей углубленный аналитический взор его сумел разрушить силу монашеского смиренно-униженного взгляда на русское язычество у автора начальной летописи, и на основании кладов, могильных раскопок и других предметов представить картину реального быта Древней Руси, в которой нет ничего первобытного, а, напротив, существует живая, яркая и художественно выраженная жизнь: ремесла, искусство, связь с Западом, Востоком, Византией. Этот сильный аналитический прием исследования может быть пояснен на одном резком примере. Никто до Н. П. не смог прочитать странных надписей на некоторых сосудах так называемого клада Атиллы, потому, что никому и в голову не могло прийти, что эти над-

писи читаются наоборот и представляют обратную сторону скопированных с греческого надписей: «ἐποίησεν» такой-то — т. е. «сделал такой-то». Только Н. П. прочел эти надписи и сделал надлежащее выводы для клада. Но таких наблюдений у него множество, и особенно этими тонкими наблюдениями богато его замечательное сочинение об эмалях, сочинение, написанное уже тогда, когда круг наблюдений над Востоком, Византией, Россией и Западом был почти закончен. Это сочинение, по отзыву Вебера, особенно богато именно этими качествами. «Невозможно проследить все его заключения. Масса остроумных замечаний, наводящих взглядов вознаграждает того, кто со вниманием пройдет густой лес экзотических извилин его». «Это полная история византийской эмали, — говорит Диль, — ее начал, техники, ее долгих и славных судеб; нельзя в достаточной степени выразить похвалы поистине удивительной эрудиции, которая блестит на этих страницах, глубокому знанию памятников, гениальным, глубоким взглядам, которые бросаются иногда им мимоходом»...

В этом сочинении Н. П. уже занимает такую высоту научной мысли, которую западные авторы отметили надлежащим образом, но которая является и для западной науки, и для нашей как бы предвидением, знанием особого рода.

«Западная наука, — говорит он, — посвятила много труда на разработку вопроса касательно истории усвоения германо-галльскими народами римского предания от времен Тацита до XII века

включительно. Русской науке, в свою очередь, предстоит в будущем столь же обязательная, но еще более сложная и богатая задача — исследовать исторически переход различных промыслов и производств с Востока и из Византии на Русь и в юго-славянские земли»...

Но этого мало: Н. П. восстал против того научного положения на Западе, по которому «европейское народное искусство проявляет признаки своего существования лишь с конца X столетия и то лишь в некоторой переработке традиционных форм, главным образом римских, изредка византийских»... что полное народное творчество является в век Возрождения, т. е. в XIII в. Вот что говорит Н. П., нашедший, где надо искать это новое творчество: «Народное творчество установило свою полную типическую самобытность задолго до X века, тем более начала художественной промышленности выразились, прежде всего, не в церковной архитектуре и ее видах, но в обиходной жизни, в быту, костюмах, украшениях и пр. Народный быт развился в оригинальных формах уже в самую раннюю эпоху, ранее V века, когда были восприняты с особою силой культурные формы Византии и среднеазиатского Востока»...

Н. П. восстановил это народное творчество вопреки монашескому взгляду нашей летописи, вопреки незнанию, где его искать, западной науки. Он нашел это творчество в быту, в его роскошных одеждах и изделиях, в его значках, в его новом укладе жизни.

Надо прибавить к этому, что первичные формы того нового движения, которое в XIII веке известно под именем Возрождения, только наш отечественный ученый возвел к формам нового быта христианской Европы. Эта мысль еще не нашла выражения в западной науке, но ее силу и удивительную историческую обязательность хорошо сознали лишь у нас, в школе Н. П. Кондакова.

Вот как он сам выразил свою мысль в своей последней предсмертной работе: «Что касается меня, то я всегда был занят исследованием того, как мир античный, греко-римский, преобразовался в мир новый, европейский, и стремился показать, как главная роль в этом процессе превращения принадлежала Византии, восточному центру Европы» (Les costumes orientaux à la Cour Byzantine, I. p. 41–42). Многие формы бытового и художественного уклада европейских народов современности уходят на Восток, и попытка исследовать их образование была последнею методологической задачей Н. П. Кондакова.

23 июня 1928 г.

В. Н. Муромцева-Бунина
(Париж)

Н. П. Кондаков (К пятилетию со дня смерти) [184]

Высокий, плотный, с большой седой головой, с суровым, умным лицом, в тяжелой и очень добротного качества одежде, он при первом же знакомстве внушал уважение к себе, граничащее со страхом, даже не имевшим понятия об его научном значении. Говорил низким басом, резко, уверенно и отчетливо. Но когда бывал в хорошем расположении духа и улыбался, то все лицо его озарялось добротой и становилось очень привлекательным.

---

184 Статья переиздается впервые по тексту газеты «Последние новости» от 12 февраля 1930 г. (№ 3257. С. 4). Она подписана: В. Муромцева. Другие воспоминания автора и И. А. Бунина лишь частично перекликаются с публикуемым текстом, который является отдельным законченным произведением (см.: Устами Буниных: Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы / Ред. М. Грин. Франкфурт-на-Майне. 1981. Т. I; *Бунин И. А.* Из воспоминаний «Третий Толстой» / Он же. Собр. соч. в 9 т. М., 1967. С. 437–438; Он же. Окаянные дни: Воспоминания. Статьи / Сост. А. К. Бабореко. М., 1990. С. 321). — *Прим. сост.*

Во всем — в людях, вещах, еде — он прежде всего ценил доброкачественность. Под[д]елки не выносил, самая незначительная недобросовестность выводила его из себя. Будучи очень строг и почти придирчив к себе, он был строг и к другим. Всякое проявление слабости вызывало в нем чувство презрения, и он с редкой беспощадностью и прямотой высказывал его. Когда же встречал достоинства, то ценил их очень высоко. Как большинство людей, обладающих умом и чувством действительности, был большим пессимистом. Сурово относился к России, не верил в государственную способность русских людей.

Нет-с, русские люди ни на что не годны! — отчетливо и с раздражением говорил он порой. — Я алан по происхождению и очень рад, что во мне нет ни капли русской крови. Я так и начал свои мемуары...

Особенно не любил он Москвы, москвичей считал льстивым, лукавым, жестоким народом.

— Петербург несравнимо лучше, — утверждал он. — Там и работают лучше, чем в Москве.

Но несмотря на такую вражду ко всему русскому, он сам был глубоко русским человеком: взять хотя бы эту самую беспощадность ко всему родному, это вечное самообличение...

Познакомилась я с Кондаковым в Одессе, весной 19 года, когда мы попали под иго советской власти, которую он ненавидел острой ненавистью [185].

---

185 Автор ошибается. Согласно дневнику Н. П. Кондакова его встреча с И. А. Буниным в Одессе состоялась уже 11 сен-

Он занимал вместе с Е. Н. Яценко, своей ученицей и помощницей в научных работах, две комнаты в квартире профессора Лин[н]иченко, на тенистой Елизаветинской улице [186] . Благодаря энергии и преданности Е. Н., заботливости которой он вообще был многим обязан, он все лето хорошо питался, жил в чистоте. Но все же приходилось и ему стирать свое белье, так как он не мог допустить, чтобы «барышня возилась с этим»...

Недалеко от нас был один прелестный сад, скрытый с улицы зданиями и потому вскоре ставший местом встречи многих «подозрительных» людей. Туда приходил и он иногда.

тября 1918 г. Они поселились в самой непосредственной близости и общались практически ежедневно вплоть до расставания в Софии 31 марта 1920 г. Их знакомство состоялось давно, но никак не позже 1909 г., когда писатель стал почетным членом Академии наук. Ученый очень высоко оценивал творчество И. А. Бунина (см. подробнее: *Кызласова И. Л.* История отечественной науки об искусстве Византии и Древней Руси: 1920–1930 годы. По материалам архивов. М., 2000. С. 37. Прим. 68). — *Прим. сост.*

186 Е. Н. Яценко (1888 – после 1938), покинула Петроград вместе с учителем в 1917 г. и была рядом с ним до конца его дней; после 1928 г. жила в Ницце (см. подробнее: Там же. С. 27. Прим. 33 и др.). В одесский период жизни была очень дружна с В. Н. Муромцевой (см. фрагмент из воспоминаний Б. В. Варнеке в издании: *Тункина И. В.* Н. П. Кондаков: обзор личного фонда // Архивы русских византинистов в Санкт-Петербурге / Под ред. И. П. Медведева. СПб., 1995. С. 101). И. А. Линниченко, историк, профессор Новороссийского университета, давний приятель Н. П. Кондакова. — *Прим. сост.*

Дни были тревожные — по уезду шли восстания немцев-колонистов. И вот Н. П. со сдержанным волнением, тихо рассказывает, что у них в доме взяты заложники — немцы, имеющие родственников среди восставших. Высказываю надежду, что колонисты продержатся до прихода добровольцев, которые в ту пору, даже по советским сводкам, одерживали победу за победой.

— Нет, сударыня, я и в добровольцев плохо верю. Уж очень мало государственного смысла в русских людях, — отвечал со вздохом, своим низким басом Н. П. — Рад буду, если ошибусь на этот раз, но, каюсь, очень плохо верю...

После освобождения Одессы от большевиков Н. П. ожил, помолодел. Казалось, даже его вечному неверию пришел конец. Но не прошло и месяца, как снова — и все отчетливей — начал раздаваться его критический бас.

Все же, когда ему предложили стать вместе с И. А. Буниным руководителем добровольческой газеты «Южное слово», он тотчас согласился исполнять взятые на себя обязанности с удивительной добросовестностью.

В тревожные декабрьские-январские дни, перед деникинской эвакуацией, мы видались ежедневно: решили «бежать» вместе и хлопотали для этого везде, где можно, общими усилиями. Помогли нам французы, которые с необыкновенным почтением относились к Н. П. Они дали ему вместе с И. А. Буниным каюту и позволили грузиться на пароход заранее, накануне отхода его. Нам с Е. Н.

назначили места в общей дамской каюте, но не успели мы и оглянуться, как все места, равно как и в кают-компании, оказались занятыми, и нам пришлось уплотнить каюту Н. П. и И. А., хотя была она необыкновенно мала. Пароход наш был очень невелик, а народу тьма: все коридоры, все закоулки были заняты людьми, багажом. В первом классе каюты занимали богатые одесситы, швейцарская колония, французский консул; а в кают-компании, тоже переполненной, царствовала молодежь: две актрисы, баритон, юная композиторша, прибежавшая на пароход в одной котиковой шубке поверх капота, несколько «невест» французских офицеров, несколько студентов... Все они почему-то очень веселились: пению, шуму, крикам и смеху конца не было. И Н. П., который воспринимал людей художественно и который в те дни чаще всего был мрачен, то и дело повторял с крайним раздражением:

— Позор! Что только будут думать о нас все эти французы и швейцарцы! Ведь не пикник же это в самом деле!

Однако, порой, приготовляя кофий по какому-то своему собственному рецепту, делавшему его безвредным, сидя на своем коротком диванчике и как бы забывая все окружающее, он приходил в спокойное состояние духа. И тогда я старалась наводить его на рассказы о минувшей жизни. Рассказывал он очень хорошо, обстоятельно, но без лишних подробностей, умел в коротких словах определить человека так, что его сразу, бывало,

увидишь. Он много путешествовал и по Европе, и по Ближнему Востоку, сталкиваясь с людьми самых разнообразных званий, профессий и национальностей. С особенной нежностью всегда говорил он о своем ученике М. И. Ростовцеве[187]. Зато, повторяю, если речь заходила о человеке, которого он не уважал, то пощады тут уже не было. Особенно доставалось от него людям, «подававшим надежды» и не оправдавшим их. Зарытый в землю талант он считал не только грехом, а даже преступлением перед самим собой и обществом.

Константинополь встретил нас сурово: он был весь в снегу. Уже в Мраморном море, когда нас таскали неизвестно зачем в Тузлу, Н. П. простудился и стал кашлять, — вообще, несмотря на мощный облик, здоровье его всегда было невелико, легкие слабы, так что только самая строгая гигиена спасла его. И нас очень тревожила необходимая процедура при высадке — дезинфекция, которая могла кончится для Н. П. смертельной болезнью, ибо дезинфекция эта заключалась в том, что голых людей сгоняли в какой-то сарай на берегу Золотого Рога и заставляли стоять на каменном полу под

---

[187] О М. И. Ростовцеве речь шла, скорее всего, потому, что В. Н. Муромцева была близкой подругой юности с женой ученого, С. М. Ростовцевой (урожд. Кульчицкой) — см.: *Муромцева-Бунина В. Н.* Жизнь И. А. Бунина: Беседы с памятью. М., 1989. С. 152, 160; *Зуев В. Ю.* М. И. Ростовцев: Годы в России. Биографическая хроника // Скифский роман / Под. ред. Г. М. Бонгард-Левина. М., 1997. С. 65. — *Прим. сост.*

чуть теплым душем. Тут, однако, спасла находчивость И. А. Он в этом сарае стал вдруг кричать, что они с Н. П. «immortes», а Н. П. еще и кавалер ордена Почетного Легиона, что подвергать их опасности никто не имеет права. Как ни странно, это подействовало и на французского врача, и на турецкого чиновника, и наши «бессмертные» получили разрешение на выход в город, не проделав «дезинфекции».

Когда мы вышли на набережную, было уже поздно, наступил вечер. Н. П. очень сердился и волновался: с заходом солнца, по турецкому обычаю, нас могли не впустить в город. А ни носильщиков, ни подвод кругом не было, и мы, стоя перед грудой чемоданов, не знали, что предпринять, как вдруг с грохотом подкатывает откуда-то огромная фура-грузовик, из нее выскакивают турки и без разбору хватают все чемоданы и сундуки, лежащие на набережной. Мы едва успеваем подсадить Н. П. и вскочить сами, как уже куда-то мчимся.

Начинаем смотреть, куда нас мчат. Оказывается, летим мимо Айя-София, потом по каким-то узким стамбульским улочкам с жалкими деревянными домишками, потом куда-то к Мраморному морю. Наконец останавливаемся перед высоким красным домом, стоящим в глубине большого двора. Мигом турки выбрасывают весь багаж за ворота, и фура исчезает.

И. А. и Е. Н. идут на разведку, а я остаюсь с Н. П. сторожить багаж. — Ну и порядки! — возмущается он. — Хорошее начало эмиграции!

Дом оказывается пустой, огромный, с большими высокими комнатами; в некоторых навалены тюфяки, в некоторых стоят козлы с досками; и никого, кроме двух негров-великанов, не говорящих ни на одном европейском языке. Мы завладеваем одной из этих комнат, перетаскиваем туда все наши сумки и чемоданы. Кондаковские оказались невообразимо тяжелы — кожаные, с рукописями, фотографиями...

Было холодно, мы зябли, хотя все время подогревались коньяком, вывезенным из Одессы. Н. П. «чувствовал свое сердце», кашель его все усиливался, а из разбитого окна несло снегом, ветром.

Разместились мы кто на голых досках, кто прямо на полу, на тюфяках.

На следующее утро единогласно решили, что отсюда нужно убираться, как можно скорей — иначе, не успеешь и оглянуться, как окажешься на одном из Принцевых островов, на «обезьяньем мясе», которого мы и на пароходе не ели, предпочитая голодать. Дверь была без ключа. Нужно было кого-нибудь оставить с вещами. Решили, что останется Н. П. И как запечатлелся он в моей памяти в эту минуту — сидящий на чемодане у окна, с толстым костылем в руке, в широкополой, надвинутой на лоб шляпе, в допотопном пальто с пелериной из необыкновенно прочного драпа! От всей его массивной фигуры веяло безнадежно-покорным отчаянием.

После нескольких часов беготни по разным учреждениям нам неожиданно повезло. Наш бывший

консул, очень любезный человек, предложил нам переселиться к нему, предоставив в наше распоряжение две комнаты. Потом мы стали хлопотать о визах. Долго шли обсуждения, где опустить якорь. Решили ехать в Софию, — там в то время была французская оккупация, а Н. П. очень любил и ценил французов. Кроме того в Болгарии имя его пользовалось большим авторитетом.

Однако у французов произошло с ним большое и прискорбное недоразумение: чиновник, чего-то не поняв в наших паспортах, так накричал на Н. П., что с ним чуть удар не сделался. Конечно, потом чиновнику сильно досталось, к нам приезжали извиняться, но Н. П. уже не мог забыть этого оскорбления и как-то сразу изменился к французам. Может быть, отчасти от этого он отклонил предложение французского правительства переехать в Париж. Недаром не раз говорил он после этой истории:

— Нет-с, ноги моей никогда не будет во Франции!

В Софию он ехал в третьем классе, в страшной тесноте, без сна и покоя.

В Софии нас поместили в отеле, реквизированном французами, где жили и другие беженцы.

Жизнь наша была очень тяжела там. Н. П. был особенно хмур.

Я спросила его однажды: что же он, наконец, решает оставаться в Софии или ехать дальше?

— Не знаю, сударыня, — ответил он с необыкновенной печалью.

И стал перебирать страны, куда можно поехать. Оказалось, что одни он ненавидит, а другие презирает:

— Нет, тяжело жить, устал, пора умирать! — сказал он.

В иные минуты он мечтал об Италии, где было бы хорошо ему и «для здоровья, и для работы», и куда, как известно, он получил приглашение стать «гостем итальянского короля», — приглашение, уже не заставшее его в живых...

Наконец, болгары уже предложили ему кафедру с наивысшим окладом. Он, после некоторых колебаний, принял это предложение.

— Да, остаюсь, — сказал он, — устал от неопределенности, от бивуаков!

Довелось мне видеть его раз в Софии, в музее. Тут он опять сразу преобразился, засиял, стал подвижен, оживлен, — даже голос его зазвучал мягче. Он то и дело просил снять высоко повешенную картину, образ, чтобы рассмотреть их ближе, и, увлекаясь, начинал читать целые лекции.

После принятого решения он успокоился, стал опять на досуге, за чашкой чая, делиться впечатлениями, предаваться воспоминаниям. Я довольно часто заходила в его небольшой номерок, которому Е. Н. сумела сразу придать уютность и домовитость. И еще больше узнала из его рассказов о его прежней жизни. Узнала о Москве, где он начинал свою научную деятельность (и где два его приятеля, два молодых ученых, «взяли» с его письменного стола составленную им грамматику и издали

под своими именами) [188] , о его жизни в Петербурге, о его квартире, в которой было собрано много произведений искусства, об его многолюдных «субботах», о даче в Ялте, где он встречался с Чеховым, которого очень ценил и любил, о путешествиях в св. Землю...

Вот уже пять лет прошло со дня его кончины, и почти десять, как мы расстались. Я часто вспоминаю его и думаю о той великой горечи, которую он должен был унести с собой в могилу...

---

[188] Речь идет об А. И. Кирпичникове и Ф. А. Гилярове (последний был зятем Н. П. Кондакова). Ср. этот же эпизод описан в «Воспоминаниях и думах», но там говорится о заимствовании его идеи грамматики нового типа. — *Прим. сост.*

Библиография трудов Н. П. Кондакова [189]

1866

Древнехристианские храмы. Православное искусство в Сербии. Англо-саксонский крест VIII столетия // Сб., изданный Обществом древнерусского искусства при Московском Публичном музее. М., 1866. С. 4–19, 49–52, 60–62

1872

Наука классической археологии и теория искусства. Одесса, 1872 // ЗИНУ. Одесса, 1872. Т. VIII. С. 1–42

1874

Памятник гарпий из Малой Азии и символика греческого искусства. Опыт исторической характе-

---

189 В список включены упоминания докладов ученого в научных периодических изданиях. Мы не указываем количество иллюстраций, хотя в большинстве крупных трудов они имеют исключительно большое значение. В некоторых изданиях начала XX века (История русского искусства / Ред. Игоря Грабаря; Еврейская энциклопедия) упоминается об участии в них ученого — это не соответствует действительности.

ристики. Одесса, 1873. 234 с. Ил. (ЗИНУ. Одесса, 1874. Т. XII; другой вариант названия там же на с. 1: Памятник гарпий из Ксанфа в Ликии. Опыт исторической характеристики.)

Письмо к профессору К. К. Герцу: Из Керчи // Московские ведомости от 13 августа 1874 г. № 202. С. 3–4

Письмо к профессору К. К. Герцу: С кавказского побережья // Московские ведомости от 20 августа 1874 г. № 208. С. 5

1876

История византийского искусства и иконографии по миниатюрам греческих рукописей. Одесса, 1876. 276 с. Ил. (ЗИНУ. Одесса, 1876. Т. XXI.)

Древняя архитектура Грузии. Исследование. М., 1876. 60 с. Ил. (Древности. Труды ИМАО. М., 1876. Т. VI. Вып. 3.)

О некоторых мелких предметах древности, найденных в Аккермане в 1867 году // Труды II Петербургского Археологического съезда. СПб., 1876. Вып. I. Отд. III. С. 20–24

Отчет доцента Н. Кондакова о его занятиях за границей с 1-го марта по 1-е сентября 1875 г. // ЗИНУ. Одесса, 1876. Т. XVIII. Отд. отт. С. 1–7

1877

История византийского искусства и иконографии по миниатюрам греческих рукописей. XIV таблиц рисунков. Одесса, 1877

Мраморный рельеф из Пантикопеи // Записки Одесского Общества истории и древностей. Одесса. 1877. Вып. X. С. 16–25. Ил.

Отчеты доцента Н. Кондакова о его занятиях за границей с 1-го сентября 1875 г. по 1-е августа 1876 г. // ЗИНУ. Одесса, 1877. Т. XX. Отд. отт. С. 1–5; Т. XXI. Отд. отт. С. 1–10

Les sculptures de la porte de Sante Sabine à Rome // Revue archéologique. 1877. Vol. 33–34. P. 361–372. Il.

История христианского искусства. Лекции, читанные в 1877–78 академ. году профессором Кондаковым. Одесса, 1877. 246 с. Ил. (литографированное изд.)

История искусства в эпоху Возрождения. Б. м., б. г. 96 с. Ил. (литографированное изд.) [190]

[Курс истории древнего искусства и эстетической пропедевтики. Лекции]. Б. м., б. г. 114 с. (литографированное изд.) [191]

Эстетико-исторический очерк древнего искусства. Б. м., б. г., 153 с. Ил. (литографированное изд.) [192]

---

[190] Описано по экземпляру без обложки, приплетенному к предыдущему изд.

[191] Описано по экземпляру без обложки, приплетенному к предыдущему изд.

[192] Объем лекций был больше, т.к. в доступном нам экземпляре текст обрывается по средине фразы. Описано по экземпляру, приплетенному к предыдущему изд.

1878

Миниатюры греческой рукописи Псалтыри IX века из собрания А.И. Хлудова // Древности. Труды ИМАО. М., 1878. Т. VII. С. 162–183. Ил.

Мелкие древности Кубанской и Терской областей // Труды III Археологического съезда ИМАО в Киеве. Киев, 1878. Т. I. С. 139–146

1879

Древнехристианская патера из Керченских катакомб // Записки Одесского общества истории и древностей. Одесса, 1879. Т. XI. С. 67–73. Ил.

Греческие терракотовые статуэтки в их отношении к искусству, религии и быту. Одесса, 1879. 107 с. Ил. (Записки Одесского общества истории и древностей. Одесса, 1879. Т. XI)

1881

История византийского искусства и иконографии. II. Мозаики. Мозаики мечети Кахрие Джамиси –μουή τῆς χώρας– в Константинополе. Одесса, 1881. 39 с. Ил. (ЗИНУ. Одесса, 1880. Т. XXXI)

Vues et antiquités du Sinaï par M. le professeur Kandakoff et photographe J. Raoult [Odessa, 1881] (фотографии) [193]

---

193 Описано С. О. Вяловой по неполному экземпляру из ОР РНБ (полных экземпляров нет). Данный атлас сам ученый

Путешествие на Синай в 1881 году. Из путевых впечатлений. Древности Синайского монастыря. Одесса, 1882. 160 с. Ил. (ЗИНУ. Одесса, 1882. Т. XXXIII.)

Замечания по поводу реферата Прохорова на II Археологическом съезде // Труды II Археологического съезда в Петербурге. СПб., 1881. Вып. 2. С. 42

Несколько соображений о византийских мозаиках и миниатюре, изображающей Софию Премудрость Божию и принадлежащей Обществу псалтыри 1397 г. (доклад читан в 1880 г. в ОЛДП) // ЖМНП. 1881. Июль. «Современная летопись». С. 3

1883

О современном состоянии отделов византийской археологии // Древности. Труды ИМАО. 1883. Т. IX. Вып. 2–3. Протоколы. С. 73–74

О научных потребностях в современном изучении византийской археологии // Приложение к программе VI Археологического съезда в Одессе. Одесса, 1883. Отд. IX. С. 3

1884

Какая возможна в современной науке археологии постановка вопроса о влиянии в области искусства вообще и византийского искусства в частно-

включал в список своих трудов. По аналогии мы указываем и атлас афонской экспедиции (см. ниже).

сти // Бюллетень VI Археологического съезда ИМАО в Одессе. Одесса, 1884. № 4. С. 11

1885

Древности Константинополя // Новь. 1885. Т. IV. № 16. С. 470–486. Ил.; Т. V. № 17. С. 1–15. Ил.

Рец.: Ф. И. Буслаев. «Русский лицевой Апокалипсис. Свод изображений из лицевых Апокалипсисов по русским рукописям с XVI по XIX век». М., 1884 // ЖМНП. 1885. Июль. С. 110–142

1886

Византийские церкви и памятники Константинополя. Одесса, 1886. I–VI, 229, I–Vc. Ил. (Труды VI Археологического съезда в Одессе. Одесса, 1887. Т. III)

Histoire de l'art byzantin considéré prencipalement dans les miniatures / Préface de M. A. Springer. Paris; Londres, 1886. Vol. I. 202 p. Il.; Paris, 1891. Vol. II. 184 p. Il.

Сообщние о некоторых крымских церквях // ЗИРАО. СПб., 1886. Т. III. С. XXIX

1887

Очерк истории греческого искусства, читанный в Имп. Новороссийском университете в 1887/8 академическом году. Одесса, 1887. 232 с. Ил.

1888

О фресках лестницы Киево-Софийского собора // ЗИРАО. СПб., 1888. Т. III. Вып. 3–4. С. 287–306. Ил.

Сообщение о памятниках византийской древности в г. Феодосии и о старинных русских образках (доклад читан 14 января 1887 г.) // ЗИРАО. СПб., 1888. Т. III. Вып. 3–4. С. CII–CIII

(В соавторстве с И.И. Толстым)[194] Русские древности в памятниках искусства. СПб., 1889. Вып. I. Классические древности южной России. 117 с., Ил.; 1889. Вып. II. Древности скифо-сарматские. 176 с. Ил.; 1890. Вып. III. Древности времен переселения народов. 158 с. Ил.; 1892. Вып. IV. Христианские древности Крыма, Кавказа и Киева. 176 с. Ил.; 1897. Вып. V. Курганные древности и клады домонгольского периода. 163 с. Ил.; 1899. Вып. VI. Памятники Владимира, Новгорода и Пскова. 186 с. Ил.

1889

Рец.: В. В. Стасов «Образцы славянского и восточного орнамента по рукописям» // ЗИРАО. СПб., 1889. Т. IV. Вып. 2. С. XXIII–XXVI

Альбом рисунков к лекциям по греческому искусству работы студента Д. Айналова. Одесса, 1889. 42 рис.

---

194 Текст написан Н. П. Кондаковым.

1890

(В соавторстве с Д. Бакрадзе) Опись памятников древности в некоторых храмах и монастырях Грузии, составленная по Высочайшему повелению. СПб., 1890. 174 с. Ил.

1891

Доклад о действиях Имп. Археологической комиссии за 1882 год // Отчет ИАК за 1882–1888 годы. СПб., 1891. С. III–XII, XXX–XXXIII, LXXXI–LXXXIV, CCVI–CCXIII

Значение византийской эпохи в истории Святой Земли для общей науки христианской археологии (доклад читан 11 декабря 1890 г.) // Седьмой отчет Императорского православного Палестинского общества за 1888–1890 годы. СПб., 1891. Приложение 16. С. 63–77

Императорский Эрмитаж. Указатель Отделения Средних веков и эпохи Возрождения. СПб., 1891. 369 с. Ил.

(В соавторстве с I. Tolstoï, S. Reinach) Antiquités de la Russie méridionale. Édision française de Rousskija drevnosti. Paris; Leroux, 1891–1893. VIII, 555 p. Il.

1892

Византийские эмали. Собрание А. В. Звенигородского. История и памятники византийской эмали. СПб., 1892. VIII, 394 с. Ил.

Émaux Byzantins. Collection A. V. Zwenigoroskoï. Histoire et monuments des émaux byzantins. Francfor sur Mein, 1892. XI, 412 p. Il.

Byzanntinische Zellen-Email-Sammlung A. W. Swenigorodskoi. Geschichte und Denkmäler des byzantinischen Emails. Franfurt/Main, 1892. XI, 412 p. Il.

Доклад о восточно-палестино-сирийском происхождении византийского искусства (читан 13 марта 1892 г.) // Сообщения ИППО. 1892. Т. III. Вып. 2. С. 144–160

Заметка по поводу отчета о диспуте г. Павловского // ЖМНП. 1892. Апрель. С. 438–440

Рец.: В. К. Мальмберг. «Метопы древнегреческих храмов. Исследование в области декоративной скульптуры». Дерпт, 1892 // ЖМНП. 1892. Июнь. С. 339–353

1893

Рец.: А. Л. Бертье-Делагард. «Древности древней России. Раскопки Херсонеса». СПб., 1893 // ЖМНП. 1893. Декабрь. С. 388–396

Рец.: Н. В. Покровский. «Стенные росписи в древних храмах греческих и русских. М., 1890» // ЗИРАО. 1893. Т. VI. Вып. 3–4. С. L–LV

(В соавторстве с В. Г. Васильевским) Рец.: Д. Ф. Беляев. «Систематический обзор главных частей Большого дворца византийских царей» // ЗИРАО. 1893. Т. VI. Вып. 3–4. С. XLVI–L

1884

Рец.: Д. Ф. Беляев. «Byzantina. Очерки, материалы и заметки по византийским древностям».

Книга I. «Обзор главных частей Большого дворца византийских царей». Приложение: «Материалы и заметки по истории византийских чинов». 1891; Книга II. «Ежедневные и воскресные приемы византийских царей и праздничные выходы в храм Св. Софии в IX–X в.» 1893 // ВВ. 1894. Т. I. С. 173–180

1895

П. И. Савваитов (некролог) // ЖМНП. 1895. Сентябрь. С. 26–31

1896

Русские клады. Исследование древностей великокняжеского периода. СПб., 1896. Т. I. 213 с. Ил.

1898

Альбом афонской экспедиции. 1898 (фотографии см. СПб. ФА РАН. Ф. 115)

Дворец в имении «Дюльбер» на южном берегу // Искусство и художественная промышленность. 1899. № 9–10. С. 731–734. Ил.

1899

О научных задачах истории древнерусского искусства. СПб., 1899. (ПДП. Т. CXXXII. Вып. 1). 47 с. Ил.

Греческое искусство. Литографированный курс лекций, читанный в Санкт-Петербургском университете. [СПб., б. г.]. 589 с. (литографированное изд.)

1901

Предисловие // А. А. Титов. Финифтяники в городе Ростове Ярославской губернии. СПб., 1901 (ПДП. Т. CXLII). С. III–X

Современное положение русской народной иконописи. СПб., 1901 (ПДП. Т. CXXXIX). 67 с.

Погодин как археолог // Сб. ОРЯС ИАН. 1901. Т. LXXI. № 4. С. 3–8

1902

Памятники христианского искусства на Афоне. СПб., 1902. II, 312 с. Ил.

Иконы синайской и афонской коллекций преосв. Порфирия, издаваемые в лично им изготовленных 23 таблицах. СПб., 1902. 25 с. Ил.

Мнение Н. П. Кондакова по вопросу об издании Лицевого иконописного подлинника // Известия высочайше учрежденного Комитета попечительства о русской иконописи. СПб., 1902. Вып. 1. Приложение 3. С. 48–54

Отчет управляющего делами Комитета академика Н. П. Кондакова о поездке его летом 1901 г. в иконописные села Владимирской губернии // Там же. Приложение 6. С. 83–90

Записка управляющего делами Комитета академика Н. П. Кондакова о положении дела иконописа-

ния в юго-западных губерниях России и мерах к поднятию оного // Там же. Приложение. 10. С. 106–108

Заметка о миниатюрах Кенингсбергского списка начальной летописи. К изданию летописи ОЛДП. СПб., 1902 (ОЛДП. Т. CXVIII). С. 115–127

1903

Зооморфические инициалы греческих и глаголических рукописей X-го – XI-го стол. в библиотеке Синайского монастыря СПб., 1903 С. I–VIII. Ил. (ОЛДП. Т. CXXI)

1904

Археологическое путешествие по Сирии и Палестине. СПб., 1904. 308 с. Ил.

1905

Лицевой иконописный подлинник. Иконография Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа. Исторический иконографический очерк. СПб., 1905. Т. I. 97 с. Ил.; 2-е изд. М., 2001.

Иерусалим христианский: исторический очерк и памятники // Православная Богословская энциклопедия. СПб., [1905]. Т. V. Стлб. 483–570. Ил.

Отчет о присуждении Ломоносовских премий в 1903 году, читанный в торжественном заседании ИАН 29 декабря 1903 года. СПб., 1905. Т. LXXXI. № 2. С. 1–42

1906

Изображения русской княжеской семьи в миниатюрах XI века. СПб., 1906. 123 с. Ил.

Рец.: Е. М. Милицина «Рассказы». 1905 / 16-е присуждение премий им. А. С. Пушкина // Сб. ОРЯС ИАН. СПб., 1906. Т. LXXXI. С. 9–1, 80–81

Рец.: Гампель. «Древности Венгрии». 1905 // Известия ОРЯС ИАН. СПб., 1906. Т. XI. Кн. 4. С. 446–466

1907

Рец.: Н. П. Лихачев. «Материалы для истории русского иконописания. Атлас снимков». СПб., 1906. Ч. I–II // ЖМНП. 1907. Апрель. С. 416–431

В. В. Стасов (некролог) // ЖМНП. 1907. Январь. С. 51–72

Владимир Васильевич Стасов. 1824–1906 (Некролог) // Изв. ИАН. Серия VI. СПб., 1907. № 10. С. 271–276

Отчет о деятельности ОРЯС за 1906 год (читан 29 декабря 1906 г.) // Сб. ОРЯС ИАН. СПб., 1907. Т. LXXXII. С. 1–26

Отчет о присуждении премий им. гр. Д. А. Толстого (читан 29 декабря 1906 г.) // Сб. ОРЯС ИАН. СПб., 1907. Т. LXXXII. С. 1–122

Рец.: Ан. Муньос. «Византийское искусство на выставке в Гротта-Феррата». Рим, 1906 // ЖМНП. 1907. Февраль. С. 408–414

1908

Отчет о деятельности ОРЯС ИАН за 1907 год (читан 29 декабря 1906 г.) // Сб. ОРЯС ИАН. СПб., 1908. Т. LXXXIV. С. 1–24

Рец.: Е. М. Милицина. «Рассказы». 1906–1907 / 17-е присуждение премий им. А. С. Пушкина // Сб. ОРЯС ИАН. СПб., 1908. Т. LXXXIV. С. 14–16, 103–108

Рец.: на книги А. А. Павловского «Атлас истории древнего искусства» (1907) и «Курс истории древнего искусства» (1905) // ЖМНП. 1908. Апрель. С. 430–433

Предисловие в кн.: Буслаев Ф. И. Сочинения по археологии и истории искусства. СПб., 1908. Т. I. С. I–IV

1909

Отчет о деятельности ОРЯС за 1908 год (читан 29 декабря 1908 г.) // Сб. ОРЯС ИАН. СПб., 1909. Т. LXXXVI. С. 1–26

Македония. Археологическое путешествие. СПб., 1909. 300 с. Ил.

Заметка о некоторых сюжетах и характере Спаса-Нередицкой росписи // Церковь Спаса Нередицы близ Новгорода. СПб., 1909. (ПДП. Вып. 2). С. 3–5

Доклад академика Н. П. Кондакова об издании II тома Лицевого иконописного подлинника // Ико-

нописный сборник высочайше учрежденного Комитета попечительства о русской иконописи. СПб., 1909. Вып. III. С. 95–107

1910

Отчет о деятельности ОРЯС за 1909 год (читан 29 декабря 1909 г.) // Сб. ОРЯС ИАН. СПб., 1910. Т. LXXXVII. С. 1–22

Иконография Богоматери. Связи греческой и русской иконописи с итальянскою живописью раннего Возрождения. СПб., 1911 (Иконописный сборник высочайше учрежденного Комитета попечительства о русской иконописи. СПб., 1910. Вып. IV). 216 с. Ил.; 2-е репринтное изд. М., 1999. 223 с. Ил.

Рец.: Айхенвальд Ю. И. «Силуэты русских писателей». Вып. 1 и 2. М., 1908 // Сб. ОРЯС ИАН. СПб., 1910. Т. XXXIX. № 6. С. 66–72

Новая ватиканская пинакотека // Старые годы. 1911. № 3. С. 3–10. Ил.

1913

О подготовке издания «Историческая иконография Богоматери» (доклад читан 6 октября 1912 г.) // Известия ИАН. СПб., 1913. Серия VI. Т. VII. № 4. С. 202–203

Рец.: С. В. Троицкий. «Диаякониссы в православной церкви». 1912 // ЖМНП. 1913. Январь. С. 162–167

1914

Иконография Богоматери. СПб., 1914. Т. I. 387 с. Ил.; Пг., 1915. Т. II. 452 с. Ил.; 2-е репринтное изд. М., 1998. Т. I. 382 с. Ил.; Т. II. 462 с. Ил.

Мнение академика Н. П. Кондакова, представленное им в Кабинет Его Величества // Врангель Н. Н. «Мадонна Бенуа» Леонардо да Винчи. СПб., 1914. С. 27–29

1915

Древности Константинополя // Светильник. 1915. № 5–8. С. 1–50. Ил.

Рец.: И. Е. Забелин. «Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы» (доклад читан 2 мая 1903 г.) // Протоколы общих собраний ИРАО за 1899–1908 годы. Пг., 1915. С. 143–145

Рец.: В. Т. Георгиевский. «Фрески Ферапонтова монастыря». 1911 // Отчет о пятьдесят пятом присуждении наград гр. А. С. Уварова. Пг., 1915. С. 47–54

1917

Греческие изображения первых русских князей // Сб. в память Святого равноапостольного князя Владимира. СПб., 1917 (ОЛДП). Т. I. С. 10–20. Ил.

От редакции // Буслаев Ф. И. Исторические очерки по русскому орнаменту в рукописях. Пг., 1917. С. III–IV

1921

Мифическая сума с земною тягою // Списание на Българската академия на наукитъ. София, 1921. Кн. XXII. С. 53–66

Ал. Ал. Шахматов // Славянски календарь за 1921 год. София, XI. С. 69–70; 2 изд. в кн.: «Мир Кондакова» (в печати)

1924

Les costumes orientaux à la Cour Byzantine // Byzantion. 1924. Vol. I. P. 7–49. Il.

Un détail des harnachement byzantins // Mélanges offerts à M. Gustave Schlumberger à l'occasion du quatrevingtième anniversaire de sa naissance. Paris, 1924. P. 399–407. Il.

Предисловие // Нидерле Л. Быт и культура древних славян. Прага, 1924. С. 7–8

Введение в археологию варваров: лекции, читанные в 1924 учебном году на Философском факультете Карлова университета в Праге [Прага, 1924] 59 с. Машинопись [195]

1925

[Объяснения к таблицам в кн.:] Памятники Синая археологические и палеографические. Л., 1925. Вып. I. С. 3–13, 16–54. Ил.

---

[195] Описано по кн.: Práce ruské, ukrainské a běloruské emigrace vydané v Československu 1918–1945 (Bibliografie s biografickými údaji o autorech). Praha, 1996. Dí l I, sv. 1. S. 337. N 1557.

1926

Русская школа Николаевской эпохи. По воспоминаниям академика Н. П. Кондакова (К годовщине смерти) // Русская школа за рубежом. Прага, 1926. С. 81–89

1927

О манихействе и богумилах (отрывки) // ССАВСК. Прага, 1927. Т. I. С. 289–301

The Russian Icon / E. H. Minns. Translator's Preface. Oxford, 1927. IX, 226 p. Il.

Воспоминания и думы / Вступит. статья С. Н. Кондакова. Прага, 1927. 79 с.; 2-е изд. см. настоящий сб.

1928

Русская икона. Прага, 1928. Т. I / А. Калитинский. Предисловие. XIV с. 65 ил.; 1929. Т. II / Н. Беляев. Описание таблиц [14 с.]. 136 ил.; 1931. Т. III. Ч. 1 / Л. Нидерле. Предисловие; [От редакции]. VII–VIII, IX–X. 192 с., 17 ил.; 1933. Т. IV. Ч. 2. 421 с., 26 ил.

1929

Очерки и заметки по истории средневекового искусства и культуры / Л. Нидерле. Предисловие. Прага, 1929. III, 455 с. Ил.

1930

(В соавторстве с Chytil K., Friedl A., Slavík F.) Kříž zvaný Závišov v pokladu kláštera ve Vyššim Brodie v Čechách. Praha, 1930. 88 s. Il.

Чтения по истории античного быта и культуры // ССАВСК. Прага, 1931. Т. IV. С. 3–32

1976

[Отзыв о научной деятеятельности Н. Л. Окунева, прикомандированного к Академии наук, 1915 г.] // Вздорнов Г. И. Материалы для биографии Н. Л. Окунева // Зборник за ликовне уметности. Нови Сад, 1976. № 12. С. 314–316

Барельефы (V–VI стол. по Р. Х.) деревянные двери базилики Св. Сабины, что на Авентинском холме в Риме (1877) // Мир Кондакова (в печати)

Сост. И. Л. Кызласовой

Список изданий,

упомянутых в тексте воспоминаний о Н. П. Кондакове и историографических статьях и не вошедших в авторские примечания

Буслаев Ф. И. Общие понятия о русской иконописи // Сб. Вестник Общества древнерусского искусства при Московском Публичном музее, изд. под ред. Г. Д. Филимонова. М., 1866 (тоже: *Буслаев Ф. И.* Сочинения по археологии и истории искусства. СПб., 1908. Т. I).

Вестник Общества древнерусского искусства при Московском Публичном музее, изд. под ред. Г. Д. Филимонова. М., 1874-1876. № 1–12.

Георгиевский В. Т. Фрески Панселина в Протате на Афоне. [СПб.,] 1914.

Герц К. К. Археологическая топография Таманского полуострова. М., 1870.

Жебелев С. А. Введение в археологию: История археологического знания. Пг., 1923. Ч. 1.

Стасов В. В. Собрание соч. СПб., 1894. Т. I.

Стасов В. В. Некоторые миниатюры рукописей византийских, болгарских, русских, джагатайских и персидских [СПб.,] 1902.

Редин Е. Проф. Никодим Павлович Кондаков: К тридцатилетней годовщине его учено-педагогиче-

ской деятельности // Записки ИРАО. Новая серия. СПб., 1897 Т. IX. Кн. 2.

Помяловский И. В. Рец.: Н. П. Кондаков. Греческие статуэтки // Известия ИРАО. СПб., 1884. Т. X. Вып. 3–6.

Пресняков А. Е. Образование великорусского государства: Очерки по истории XIII–XV ст. Пг., 1918.

Ростовцев М. И. Эллинство и иранство на юге Россию. Пг., 1918.

Beneševič V. Sur la date de la mosaïque de la Transfiguration au Mont Sinaï // Byzation. 1924. Vol. I.

Darcel A., Basilewsky A. La collection Basilewsky. Catalogue raisonné. Paris, 1874.

Hampel J. Alterthümer des frühen vittelalters in Ungarn. Braunschweig Vieweg, 1905.

Labarte J. Histoire des arts industriels. Paris, 1864–1865. Bd. 1–3.

Labarte J. Le Grand Palais de Constantinopole et le livre «De cérémonies». Paris, 1865.

Minns E. Scythians and Greeks. Cambridge, 1913.

Rostovseff M. I. Iranians ad Greeks in South Russia. Oxford, 1922.

Список сокращений

А ИИИ АН ЧР	Архив Института истории искусства Академии наук Чешской республики (Ústav dějin umění AV ČR)
АН	Академия наук
ГЭ	Государственный Эрмитаж
ЖМНП	Журнал министерства народного просвещения
ЗИНУ	Записки Императорского Новороссийского университета
ЗИРАО	Записки Императорского Русского археологического общества
ИАК	Императорская археологическая комиссия
ИАН	Императорская Академия наук
ИИИ	Институт истории искусств в Петрограде
ИППО	Императорское Православное Палестинское общество
ЛАПНП	Литературный архив Памятник национальной письменности в Праге (Литературный архив Музея национальной письменности — Literární Archiv Památníku národního písmnictví)

МАО	Московское археологическое общество
ОИДР	общество истории и древностей российских
ОЛДП	Общество любителей древней письменности
ОРЯС ИАН	Отделение Русского языка и словесности Императорской Академии наук
ПДП	Памятники древней письменности, изд. Обществом любителей древней письменности
РАИК	Русский археологический институт в Константинополе
РАИМК-ГАИМК	Российская (государственная) академия истории материальной культуры
РАО	Русское археологическое общество
РЮФ	Русский юридический факультет в Праге
СПб. ФА РАН	Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук
ССАВСК	Сборник статей по археологии и византиноведению, издаваемый Семинариумом им. Н.П. Кондакова
KI	Kondakovův institut

Именной указатель

Научное издание

Кондаков Н. П.
Воспоминания и думы

Составление, подготовка текста и примечания
И. Л. Кызласовой

Издательство «Индрик»
тел. (095) 938-01-00 тел./факс 938-57-15

ЛР № 070644, выдан 19 декабря 1997 г.
Формат 70×100 $^1/_{32}$. Гарнитура «Школьная». Печать офсетная.
13 п. л. Тираж 2500 экз. Заказ № 5428

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6